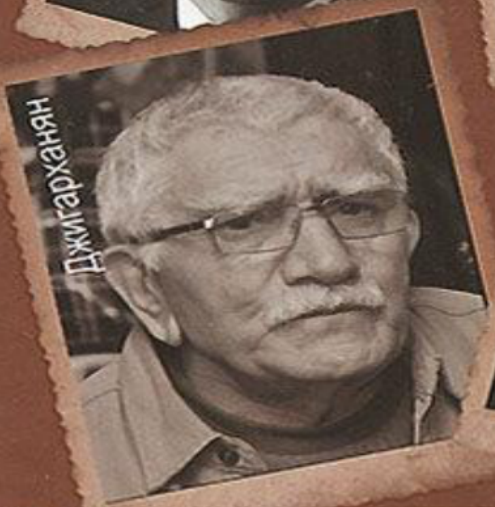
Сенсационный

ПРОЕКТ ИГОРЯ ОБОЛЕНСКОГО



# Четыре друга эпохи

## Мемуары на фоне столетия

**Джигарханян, Любимов, Даль, Маяковский, Есенин и другие...**

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Это необычная книга. История века — в откровенных рассказах его главных героев. Они давали интервью, кто-то из них даже оставил воспоминания. Но никогда они не были столь открыты, как в общении с Игорем Оболенским.

Секреты долголетия и общения с сильными мира сего от патриарха танца Игоря Моисеева, уроки житейской мудрости от режиссера Юрия Любимова, путеводитель успеха от историка моды Александра Васильева, неожиданные грани судеб великих Михаила Ульянова, Чингиза Айтматова, Армена Джигарханяна и Виталия Вульфа. Впервые публикуемые на страницах книги воспоминания родных и близких легендарного хореографа Жоржа Баланчина и художника Нико Пиросмани делают книгу уникальной.

На страницах книги — ответы на вопросы, которые до этого принято было считать «слишком личными»: почему ушел из жизни Владимир Маяковский, кого любил Рудольф Нуриев, чего не выдержал Олег Даль, что стало приговором для Фрунзика Мкртчана и многое другое. Эпоха в лицах, история в воспоминаниях, линия жизни в откровениях.


- Игорь Оболенский
  - В поисках названия
  - Часть первая. Эпоха живых легенд
    - Как Кант. Основатель Театра на Таганке режиссер Юрий Любимов
    - Сочинитель. Писатель Даниил Гранин
    - Философ из Еревана. Актер Армен Джигарханян
    - Всегда в моде. Историк моды Александр Васильев
  - Часть вторая. Эпоха утраченных гениев
    - Тени забытых предков. Актер Рамаз Чхиквадзе
    - Народный маршал. Актер Михаил Ульянов
    - Стать Баланчиным. Братья Андрей и Георгий Баланчивадзе
    - Шахматист. Основатель ансамбля народного танца, хореограф Игорь Моисеев
  - Часть третья. Лица советской эпохи
    - Человек, а не легенда. Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев
    - Проклятие Тамерлана. Кинооператор Малик Каюмов

- Путь солдата. Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
- Дон Кихот из Сололаки. Актер Кахи Кавсадзе

○ Часть четвертая. Эпоха соучастников
- Украсть Пиросмани. Братья Кирилл и Илья Зданевичи
- Мудрец. Историк, искусствовед Виталий Вульф
- Свидетель. Актер Федор Чеханков
- Счастливый классик. Писатель Чингиз Айтматов

○ Часть пятая. Эпоха непонятых
- Изгнанник в муфте. Композитор Сергей Рахманинов
- Игра с судьбой. Певец Марк Бернес
- Герой не своего времени. Актер Олег Даль
- Космонавт номер два. Танцовщик Рудольф Нуриев

○ Часть шестая. Эпоха комет
- Бабочка и хулиган. Поэт Сергей Есенин
- Одинокий влюбленный. Поэт Владимир Маяковский
- Смерть на двоих. Актер Евгений Урбанский
- Грустное солнце. Актер Фрунзик Мкртчян

# Игорь Оболенский
# Четыре друга эпохи. Мемуары на фоне столетия

# В поисках названия

Я долго не знал, как назвать эту книгу.

На ее страницах собраны записи встреч с великими людьми ушедшего века. Но это не сборник интервью, так как наши беседы, как правило, выходили из привычного формата «вопрос-ответ».

Кто-то из моих собеседников продолжает творить, а кто-то уже покинул этот мир.

Но я помню их всех, и не раз те или иные высказывания моих визави приходят в нужную минуту на помощь.

Есть среди героев этой книги и такие, с которыми я не мог быть знаком хотя бы в силу возраста. Но их судьбы столь ярки, а роль в истории столь значима, что не заинтересоваться ими я не мог.

На помощь пришли архивные документы, мемуарная литература, на основе которых и родились очерки о каждом из них.

По сути эта книга создавалась почти семнадцать лет — в 1996 году состоялась первая беседа с Игорем Моисеевым. Тогда я был совсем юным журналистом. И, понимая, что встреча с великим хореографом, да и просто выдающимся человеком не пройдет бесследно, все же не предполагал, что Игорь Моисеев когда-нибудь станет героем одной из моих книг.

Зато приехав в Тбилиси и познакомившись с Джарджи Баланчивадзе, сыном знаменитого грузинского композитора Андрея Баланчивадзе и единственным племянником великого хореографа Жоржа Баланчина, урожденного Георгия Баланчивадзе, наоборот, отдавал себе отчет, что эта встреча, как никакая другая, станет по меньшей мере главой книги.

Равно как и записи бесед с дочерью легендарного художника Кирилла Зданевича, первооткрывателя, друга и главного биографа Пиросмани. Тем более что ни Баланчин, ни Пиросмани, ни Зданевич воспоминаний о своей жизни не оставили.

Были встречи и с другими яркими и талантливыми людьми ушедшего века. Да и не только ушедшего. Одним из героев стал историк моды, писатель и телеведущий Александр Васильев, беседу с которым я записал уже в 2012 году.

Столь непохожие, порой противоречивые герои; такое разное время, изменившееся так стремительно, что мы сами иногда напоминаем себе эмигрантов, оказавшихся в другой стране.

Подумать только, я начинал работу, собирая материалы о своих героях в читальном зале театральной библиотеки, а уже

заканчивал, просто вбивая их имена в поисковую систему интернет-ресурсов.

В течение этих лет что-то из записей наших бесед публиковалось в газетах и журналах, очерки тоже видели свет. Но идея объединить своих героев в одну книгу, дополнив публикации о встречах дневниковыми записями и архивными материалами, возникла совсем недавно.

И вот, работа закончена. Дело оставалось за малым — придумать название.

Как ярко озаглавил свои рассказы об удивительных встречах с легендами прошлого Василий Катанян — «Прикосновение к идолам», использовав высказывание Флобера «Не прикасайтесь к идолам — позолота остается на пальцах».

Хотя даже оставайся это название свободным, к книге, которую вы держите в руках, оно вряд ли подошло. После многочисленных встреч на моих руках никакой позолоты не оставалось. Что, впрочем, не означает, будто каждый раз у меня были одинаково восторженные впечатления…

Под одной обложкой оказалось двадцать четыре истории, двадцать четыре судьбы. Возникали даже сомнения: а правильно ли делать «соседями» столь противоположных, казалось бы, персонажей, как режиссер Юрий Любимов и маршал Дмитрий Язов, или, скажем, актер Михаил Ульянов и летчик Алексей Маресьев.

Но потом я решил, что как раз это и будет правильно. Да, они разные — по возрасту, профессиям и, главное, своим жизненным позициям. Но именно это в итоге и показалось мне самым интересным — время одно, а судьбы разные.

Мои собеседники были чрезвычайно открыты. Их откровения были столь пронзительны, порою неожиданны и даже провокационны, что я понимал — это книга.

Каждый из героев повлиял на меня, открыв собственный секрет отношения к жизни и понимания ее смысла. И возможно, знакомство с их историями окажется любопытным и для других.

А может, даже и в чем-то полезным. В конце концов, не мною открыто, что лучший способ понять жизнь — сделать это на опыте других. Тем более столь значительных и знаковых персонажей, оказавших влияние не только на свой круг, но и на всю эпоху. Потому, собственно, в итоге и родилось название — «Мемуары героев эпохи».

# Часть первая. Эпоха живых легенд

# Как Кант. Основатель Театра на Таганке режиссер Юрий Любимов

30 сентября 2012 года Юрий Любимов встретил свой 95-й день рождения. Аплодисменты он принимал со сцены Театра имени Вахтангова — после конфликта с труппой созданного им Театра на Таганке в родных стенах он не появляется.

А через несколько дней после юбилея Любимов попал в больницу. Газеты наперебой сообщали, что легендарный режиссер впал в кому и никаких гарантий его выздоровления врачи не дают. Кто-то даже произнес: «Началась кода».

А Любимов и здесь вышел победителем. Во всех смыслах вышел — из комы и больницы, а затем, весной 2013 года, — на сцену Большого театра, где возобновил репетиции оперы «Князь Игорь».

В первый день репетиций его встречал полный зал — не только артисты и руководство Большого, но и десятки журналистов. Подступающий к 96-му дню рождения, Любимов появился на сцене, явив прекрасную форму. Много рассказывал о своем видении оперы, как обычно, активно жестикулируя. Руки у него красивые, музыкальные, словно дирижерские.

А зал внимал, обращая внимание конечно же и на весьма элегантный наряд режиссера — кремовый пиджак, яркий шарф. Репетиции шли каждый день, продолжаясь по шесть часов. Но артисты были готовы работать и больше. Все же понимали, что перед ними Любимов. Тот самый.

Я наблюдал за Юрием Петровичем и вспоминал наши с ним встречи, которые проходили в его знаменитом кабинете Театра на Таганке. Пусть все это уже и осталось в прошлом.

Любимов-то по-прежнему находился на сцене. А значит, наши беседы — не такие уж «преданья старины глубокой», а просто факты биографии, о которых мне и хочется вспомнить.

Как я гордился знакомством с Любимовым! Свои рассказы о беседах с этим уникальным человеком я предварял фактом: художественный руководитель Московского театра на Таганке Юрий Любимов на один месяц старше (!!!) Октябрьской революции 1917 года…

На стенах тоже вошедшего в историю кабинета Любимова расписались все самые великие люди прошлого столетия, начиная от Юрия Гагарина и Фиделя Кастро и заканчивая Марчелло Мастрояни и Александром Солженицыным. Мне довелось побывать там. И не один раз.

Когда я впервые переступил порог этого заповедного места, то настолько увлекся изучением настенных росписей, что даже не сразу заметил хозяина кабинета, очутившегося за моей спиной.

— Изучайте-изучайте, — произнес после приветствия Юрий Петрович. — Знаете, кто первым расписался на этих стенах? Андрей Андреевич Вознесенский. Видите, чуть ли не на четверть стены начертал: «Все богини — как поганки перед бабами Таганки». Истинный поэт. А вот автограф Александра Исаевича Солженицына — он скромно поставил свою подпись, и все.

Помню, как в этот кабинет пришел первый секретарь Московского горкома партии Гришин, мрачный, как всегда. Посмотрел на подписи, увидел японские иероглифы и спросил: «Китайцы?» Нет, отвечаю, японцы. «Сделать переводы», — отдал он распоряжение и ушел. Мы, естественно, ничего менять не стали.

Я тогда сказал, что пока этот кабинет мой, все будет так, как есть. А если уволят, то я за свой счет покрашу стены белой краской. Сейчас, конечно, об этом речь не идет. Хотя, глядя на автограф того же Бориса Березовского, думаю порой: заклеить, что ли?

Но о месте нужно судить не по кабинету начальника, как у нас привыкли.

— А по чему, Юрий Петрович?

— По туалету! Вы были в нашем туалете? Зайдите-зайдите. Полный порядок и чистота. А знаете историю, как приехали к нам в Думу сенаторы американские? Открыли дверцу сортира, а там бумаги нет. И тут же ее и закрыли. Ну кто они тогда такие, наши депутаты, если у них бумаги в туалете нет? Что они, газетой подтираются? Все сразу становится ясно. Вы сортир вначале наладьте, а потом вякайте!

Я как-то в Кремль попал, опять-таки в качестве гарнира. Там же любят, чтоб артисты рядом были. Пошел в туалет, смотрю — валяется розовое мыло на рукомойнике, пополам рукой разломанное, неровно так. Я стал ржать. А стоит какой-то охранник: «Чего вы?» Я его спрашиваю, зачем мыло ломают, что, целого куска жалко? И он мне без юмора, прямо отвечает: «Воруют!» В Кремле!

— Вы думаете, там знают, как народ живет?

— Нет. Статистику, может, знают. Но ведь и ее часто искажают. Как раньше — плохому гонцу голову отрубали. Дело, видимо, в действительной свободе личности. Если личность свободна, она скажет то, что думает. А у нас никто не говорит. Хотя умному правителю выгодно иметь в своей стране именно такую личность. Хватит только о себе думать. Как Гете говорил:

«Правитель умный недоспит, чтоб был народ одет и сыт».

Обо всем этом мы говорили стоя. «Давайте, может, чаю выпьем?» — предложил Юрий Петрович. И приглашающе указал на стул рядом со своим рабочим столом. Меня очень удивил размер стола — совсем не начальнический, а маленький, какой-то узенький, так что на нем едва помещались бумаги и чашка с чаем. «Вы какой чай будете? Я — зеленый.

Часто бываю в Японии и привык уже».

Сделав пару глотков, Любимов характерным жестом — раскрытой ладонью с отведенным в сторону большим пальцем — указал на бюст китайца, почему-то облаченного в буденовку. «А вот это — что вас ждет. Меня-то уже нет.

А вас — точно. Как говорят американцы, это — следующий этап мира».

— Мы договорились встретиться с вами в два часа. Вы как часы, Юрий Петрович.

— Нет, я как Кант. По этому великому философу можно было проверять время. Если на улице появлялся Кант, значит, на часах было девять утра.

— Интересно.

— Да никому это не надо. Сейчас витает вирус глупости и многие им заражены. Это болезнь мира. Происходит такое оглупление людское. Во всем мире налицо странное давление техники на человека и одновременное одичание. Появился Интернет — и тут же болезненная зависимость от него.

А ведь есть же и другие миры, кроме компьютеров и детективов. Есть мир Кафки и Джойса. Мне лично интересно это. А другим…

Произошло онуление людей. Именно так, не оглупление, а онуление. Многие ведь уже и не знают, кто такой Высоцкий. Молодежь в театр и на «Онегина» приходит смотреть только затем, чтобы сдать экзамен, не читая книги.

— Это трагедия?

— Такова жизнь.

— А сами актеры сегодня дорожат театром? Или кино победило?

— Да они всегда бегали сниматься. Отчего они знаменитые-то? Володя Высоцкий, бедный, и то стал сниматься. Мы как-то столкнулись с ним после отпуска, я ему говорю: «Володя, тебя за фильм в „Правде” похвалили». А он отвечает: «Юрий Петрович, а что делать? Приходится». А как его ловили все время? Заплатит ему профсоюз 500 рублей за концерт, а на следующий день следователь появляется. Меня как соучастника допрашивали.

— Посадить могли?

— Могли. Если бы им нужно было. Да и сейчас могут обвинить, что дал, например, кому-то в долг, а проценты не заплатил. Было бы желание, а статья всегда найдется. Человека шутя можно посадить. У нас любой, даже самый законопослушный, всегда находится на крючке.

— Юрий Петрович, о вас ходит так много легенд, что, пожалуйста, не судите строго, если некоторые мои вопросы будут начинаться с банального «а правда ли, что». Итак, правда ли, что вы в свое время не приняли в труппу детей Юрия Андропова?

— А я и не знал, что это его дети. Да если бы и знал, то все равно бы не принял. Они же пришли сразу после десятилетки. Мол, тоже хотим в актеры. Девочка и мальчик. Я им говорю: институт закончите вначале. А они рыдают. Но папа, как потом оказалось, тоже не хотел, чтобы дети становились актерами. Андропов тогда был секретарем ЦК.

После того случая он захотел со мной повидаться и серьезно поговорить. «Вы, — спрашивает, — хотите режиссурой заниматься?» Я отвечаю, что да, с прежней-то, актерской профессией я покончил. «Ну, тогда, — говорит Андропов, — вам надо научиться быть дипломатом. А то надолго вас не хватит. — Помолчал немного и добавил: — А вы не знали, что это мои дети? Нет? Зачем же тогда час на них потратили?» Да жалко, отвечаю, их было. Пришли, плакали. «А я вас благодарю. Вы были правы. Сумели сурово, но доступно объяснить им, что первым делом надо учиться». И обнял меня, как отец.

Вообще, взаимоотношения Любимова с власть имущими — особая тема, которую Юрий Петрович не обошел вниманием в своей книге «Я. Рассказы старого трепача».

Он с юмором вспоминает, как на премьеру спектакля «Мастер и Маргарита» в театр пришел заместитель министра внутренних дел СССР. Как водится, после спектакля зашел в кабинет режиссера. И принялся допытываться, кто дал разрешение на постановку. Юрий Петрович ответил, что это и так всем известно. Уточнить генерал постеснялся. Тем более что его явно волновало что-то еще. Голая женщина на сцене, догадался Любимов.

Милицейский чиновник прямо ответить опять засмущался. В отличие от своей супруги, которая была, казалось, в негодовании.

Но закончилось все мирно. Потом Любимову еще и специальный пропуск дали, чтобы гаишники на дороге не останавливали.

— Юрий Петрович, замечательная книга у вас получилась. Спасибо вам за нее.

— Да бог с ней. Для меня-то было главным другое. Я же старый был, когда писал ее, 62 года исполнилось. Хотел сыну

оставить о себе память. Не думал, что так долго заживусь на этом свете.

В тетради писем, адресованных маленькому сыну, Любимов так опишет день, когда он узнал о лишении гражданства: «1984 г., 16 июля. В этот день, Петя, стал я человеком без гражданства. Пришла итальянская полиция. Сообщила, что звонил советский консул Турина, настойчиво просил позвонить. Сухо, твердо довел до моего сведения указ о лишении гражданства СССР. Потребовал встречи и сдачи паспорта. Оставлю как сувенир, а потом посмотрим, что будет через год-два. Спросил, кем же вы меня сделали: грузином, таджиком, французом. Я как был русским, так и остался. Совсем распоясались после смерти Андропова. „В России нет закона, есть столб, а на столбе корона. А. С. Пушкин". Так и закончилась 20-летняя борьба с обалдевшим советским правительством».

— У вас сын ведь совсем молодой. И как вы, язык общий легко находите?

— С ним нахожу. А вот с более молодыми… Но и ему уже тяжело общаться с 17-летними. Хотя у него другая ситуация — Петр воспитывался за границей, знает пять языков.

— Вы с ним часто видитесь?

— Он пока здесь работает. Но ему трудно. Говорит: «Папа, у вас все сложно, я лучше уеду». Устал парень от бессмысленности.

— Если он у вас спросит, где лучше жить, что скажете?

— Как сам решит. Ему жить. Я могу ему насчет женитьбы посоветовать. А так — нет.

— Юрий Петрович, а это правда, что вы помните похороны Ленина?

— Ну а почему нет? Меня на них брат повел. Он был комсомолец, идейный, хотя папа у нас был буржуй. Мы же были лишенцами — почти получеловеками. Лишенца могли и в десятилетку не взять. И тогда мама, она была учительницей, посоветовалась с подругами, и те сказали, что если Юра хочет спокойно жить в этой стране, то должен идти в рабочие. Ия в 14 лет пошел.

— А потом и брата вашего оправдали? Он написал письмо Сталину, и его восстановили в правах.

— Так это все для видимости делалось. Им в тот момент надо было показать, что справедливость существует. Сталин тогда как раз произнес: «Сын за отца не отвечает». Хотя потом вскоре сказал, что «яблоко от яблони недалеко падает». Он же фигляр был страшный. Но демон.

Его боялись. Он так всех запугал! Известна же история, когда он приехал в МХАТ и пригласил в ложу Станиславского. «Что-то

скучно у вас.» — начал Сталин. И вся свита немедленно принялась укорять Константина Сергеевича, как, мол, он смеет такие скучные спектакли ставить. А Сталин помолчал и закончил: «.в антракте». И все тут же принялись хвалить побледневшего Станиславского.

— Вы учились в училище при Мосэнерго. Были бы лучшим экспертом по вопросам энергетики. У нас же непонятно что творится. За сто километров от Москвы ведь не только света, но и воды часто нет. Получается, страна наша не вперед движется, а, наоборот, разрушается.

— Пока нашу необъятную страну терзают — да. Раньше коммунистическая партия терзала и унижала людей, а теперь бюрократы. У нас в спектакле «Шарашка» висит карта страны, вся испещренная лагерями, как оспой на лице господина Сталина — диктатора и самодержца.

Мы ведь не так давно от крепостного права освободились. Мой дед был крепостным. Правда, был грамотным и старостой в церкви. Ему было 86 лет, когда толпа выбросила его в снег, и ему пришлось ехать в Москву. Не забуду, как я мальчиком встречал его на Ярославском вокзале.

А потом и до папы добрались, посадили. Не за политику, а из-за денег — он был богатым до революции, потом все, конечно, отняли. Но он остался в России. Потому что верил, как и люди его круга, что новая власть с ее террором настолько некомпетентна, что вот-вот развалится. Стал работать и во время нэпа опять стал богатым. И опять у него все отобрали. И преследовали.

Я говорил уже, что был сыном лишенца и потому пошел в ФЗУ (фабрично-заводское училище. — И. О.), чтобы начинать свою биографию. У меня был диплом монтера. А потом поступил в артисты во 2-й МХАТ, но его закрыли… Но мы же не о моей биографии говорить будем.

— Почему? Ваша биография — это и биография страны. Возьмем историю вашего отца. Получается, у нас всегда быть богатым — небезопасно.

— Видимо, традиции остались. У нас очень любят колесить по старым колеям. У Высоцкого есть песня хорошая «Колея». Вспомним его, уж коли вы находитесь в театре, где он до смерти работал. Вон гитара его на стене висит.

А поскольку у нас любят ездить по старой колее, то только месят грязь, а порядка нет и нет. Как всегда говорили про Россию.

— Так будет порядок, Юрий Петрович?

— Нет!

— Никогда?

— Не знаю, как насчет «никогда». Но пока будет столь неопределенное положение, странные, непонятные людям реформы и такая власть у бюрократии, прокуратуры и суда, о порядке говорить не приходится.

Большинство людей им не верит. Власти надо возвращать доверие людей. А его нет. Идет игра в прятки, взаимная. Как дети играют — попробуй найди. Они будут искать, а люди прятаться. У нас пока все по анекдотам идет — вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем. А иногда уже и платят вроде ничего, а люди все равно плохо работают. И такие у нас страсти глупые, такая карамазовщина идет беспредельная.

Потому и порядка нет.

Вы посмотрите, как паркуют машины, черт-те что творится на улице. Наше непослушание вызвано полнейшим неуважением к человеку. Если такое сделали с детьми и стариками, то что вы хотите? Ведут себя, как звери, — только сила в цене, только кулаком привыкли решать все проблемы.

Но это же нельзя делать. Человек — как сосуд, ударишь — он и разобьется. А жизнь-то ему не правители давали. Они ведь живут за наш счет, а не мы за их. А такое впечатление складывается, что наша жизнь — это их вотчина. И когда у власти сознание переменится и она поймет наконец, что надо быть вежливыми и отвечать за свои действия?

— Нынешняя власть сильно отличается от власти советской?

— Да нет. Вроде сейчас цензуры в театрах нет. А ТВ захирело. Одни неуемные сатирики и шоумены. Я поэтому в основном спорт смотрю, ответственные матчи. Сын мой — спортсмен, он футбол любит, вот мы с ним и смотрим.

— У вас много закольцованных вещей в жизни: и учились на Таганке, и работаете здесь.

— Судьба, милый мой. Что называется, Его Величество Случай. Сначала было училище техническое, потом МХАТ, потом, после его закрытия Сталиным, пошел в Вахтанговский театр. От армии меня обещал на год освободить Борис Щукин. Но в день, когда мне надо было идти в военкомат, он умер. Замечательный был человек. Играл в «Человеке с ружьем» роль Ленина. Когда его спросили, что помогло ему так хорошо воплотить образ вождя, он ответил: «Тарталья из „Принцессы Турандот”». Начальство было шокировано — клоун ему помог сыграть Ленина! Распорядились: «Нельзя такие вещи говорить!»

Он в шинели с фронта пришел к Вахтангову, и тот его взял в театр. Я потом тоже к Борису Васильевичу ходил на квартиру, брал уроки. Тогда все было по-другому, более семейно, что ли.

— Вы были знакомы и с Борисом Пастернаком. Что думаете о

его судьбе? В жизни всегда приходится идти на компромиссы?

— Когда он написал такое полупокаянное письмо Хрущеву, то мой друг драматург Николай Эрдман сказал мне: «Юра, зря вы о нем плохо думаете. К нему же все в Переделкино бегают, о детях подумать предлагают». Он и написал, чтобы от него отвязались.

Я к нему пришел в разгар травли. У меня тогда и театра не было, я просто играл спектакль в его переводе. Пастернак, увидев меня через забор, а я был довольно прилично одет, видимо, подумал, что явился очередной иностранный корреспондент. Сам Борис Леонидович был в пижаме и ботинках «Скороход» без шнурков. Он приказал домработнице сказать, что его нет. Я услышал это и крикнул: «Борис Леонидович, это Любимов!» И он меня пригласил, мы долго сидели с ним на скамейке в саду.

Ему ведь и окна били, и чего только не говорили о нем.

А он ни словом об этом не обмолвился. Говорил о творчестве. «Хочу написать что-нибудь такое, знаете, как „Дворянское гнездо”. О семье, которая пережила все напасти и все выдержала».

Никаких жалоб я от него не услышал. А его ведь и дачи хотели лишить, писатели дрались за нее.

Я потом и к Солженицыну ездил. Встретил писателя Бориса Можаева, а тот говорит: «Поедем к А. П.». Это он так Александра Исаевича называл. Солженицын тогда у Лидии Корнеевны Чуковской жил. Мы съездили к нему, а на следующий день его арестовали.

О чем говорили? Да мы с ним много-то не поговорили. Он же своеобразный господин. Мне, говорит, работать надо. Ну, мы и уехали.

— Вы кому-нибудь когда-нибудь завидовали?

— Наверное, пороки и мне свойственны, я же не идеальный. А с другой стороны, чего мне завидовать? Мне надо было работать, некогда было разжигать в себе зависть к кому-то. Хотя пускали слухи. Даже такой умный человек, как писатель Зиновьев, говорил, будто я работаю в КГБ. Когда мы с ним потом встретились за границей, я ему сказал: что ж вы так, видите — мы с вами оба за границей. Как он на это отреагировал? Мы посмеялись да выпили по рюмке. Мне врачи разрешают по рюмке водки в день.

— А можно глобальный вопрос, Юрий Петрович? Вам удалось понять смысл жизни?

— Да не найдете вы его. Ведь жизнь дана не вами, и вы сами не знаете, кто вы.

— И как жить?

— Свое дело делать и иногда проявлять толерантность. Это

не лучшее свойство, но мир так устроен, что надо уметь маневрировать, дабы избежать удара кулаком. Но если уж бьют — надо уметь отвечать.

Жизнь — штука сложная. В муках человек рождается и почитает за счастье, если удается спокойно отойти в мир иной. Для меня, старика, главное на сегодня — не продержаться в театре в должности худрука. Я сам уйду, если почувствую, что не контролирую и не врубаюсь в ситуацию. Главное для меня — не быть в тягость.

Мое главное разочарование в жизни? Хороший вопрос. Люди, которых я близко знал и которые обо мне незаслуженно плохо говорили. И самое ужасное, что при этом они на меня смотрели невинными глазами. Таких я называю: «продукт с клеймом „совок”». Он злобен, агрессивен, и ему все как с гуся вода. Все божья роса.

— Однако вы все это спокойно переживаете. Или нет?

— Могу матюгнуться, но так, про себя. При дамах и при сыне стараюсь не выражаться.

Надо брать пример с крокодила! У моего друга академика Пети Капицы в кабинете его чучело. Знаете, как ведет себя крокодил? Всегда смотрит только вперед, а врагов отбивает хвостом. По-моему, мудро.

— Высоцкий действительно бросил в зал кинжал на репетиции «Гамлета»?

— Я этого не помню. У нас с ним были хорошие отношения. Он никогда бы не посмел меня ударить. Он мог кричать, когда я насильно вез его в больницу. Родители-то его не помогали. И я понял, что надо Володю спасать. Посадил его в машину и повез. А он был в состоянии, извините, глубокого опьянения. Отбивался ногами.

— А так получился бы еще один круг судьбы — ваша шпага во время репетиции, когда вы сами были актером, отлетела в кресло Пастернака, а шпага Высоцкого — в ваше.

— У меня нечаянно получилось, что конец шпаги отлетел. У меня в театре такого бы никогда не было. Я почему из Вахтанговского-то ушел? Потому что мне театр с этим постоянными боями не нравился. Кстати, спектакль «Добрый человек из Сезуана», который я поставил со своими студентами, рубила не советская власть, а преподаватели с кафедры в училище. Свои же. Но все решила пресса. В «Правде» Константин Симонов написал, какой это хороший спектакль и неплохо было бы его сохранить. И мне неожиданно дали этот театр. Рядом с тюрягой. На Таганке же тюрьма была. И я выплачивал государству долг, который числился за этим захиревшим театром, — 70 тысяч

рублей. Играли по 500 спектаклей в год!

— Высоцкий бы себя сегодня нашел?

— А почему нет? Он же намного сильнее и выше теперешних актеров. Не хочу сказать, что он классик. Но — поэт.

Володя умным был. Очень любознательный и чувствительный. Ощущал, что происходит в стране. Как губка впитывал в себя все, что не знал. Как радар все слышал. У него же очень богатый словарный запас. Очень одаренный человек. Но после смерти его слишком вознесли. Он словно предвидел — в его «Монументе» есть на это ответ. В последние годы он больше с бумагой работал, а не с гитарой.

Его ведь не печатали, на радио с трудом записывали.

Я его как-то спрашиваю: «Зачем тебе такую вульгарную аранжировку-то сделали?» Это в первой его записи было.

«А без этого они бы не записали», — отвечает.

Высоцкий не был обеспеченным. Его «Мерседес»? Это Марина Влади что-то придумала. А он всю жизнь мечтал свой домик построить, но так и не сумел. В театре получал гроши. У нас ведь всегда было стыдно называть иностранцам свою зарплату. Высоцкий поначалу получал 120 рублей, потом 150. А в троллейбусе висело объявление: «Водителям — бесплатное общежитие и 300 рублей в месяц». Мы не умеем определять и ценить таланты.

— Вы согласны, что талант всегда должен быть бедным и голодным?

— Ну, сейчас-то это не так. На Западе, если ты популярен и даже не очень талантлив, ты богат. А вообще все зависит от того, как судьба складывается.

О деньгах я вам так скажу. Не надо устраивать никакой истерии вокруг того, добро это или зло. Деньги — это просто способ жить при капитализме. И проблема одна — сделать так, чтобы бедных было меньше. Потому что, если много бедных, жди народных волнений. Начнутся волнения — будет насилие, кровь польется. А этого допускать нельзя.

— Но правда в конце концов торжествует?

— Нет. Да и что такое правда? Надуманное понятие. Лозунг французской революции «Свобода, равенство, братство» оказался блефом. Кого на самом деле из Бастилии-то освободили? Убийц и маркиза де Сада.

Да и вообще, зачем быть победителем? Чтобы мир оценил? Что мы все о других думаем? Ты себя образуй, создай семью, роди детей, посади дерево, сделай так, чтобы тебя близкие ценили, — вот и будешь победителем.

Мы все время ищем врагов. А он у всех нас один остался —

терроризм. А нас настраивают, что, мол, Америка наш враг. Да какой она враг? Американцы нам помогали, Второй фронт открыли. Я проходил это и знаю.

На «Виллисе» ездил? Ездил. Тушенку, которую они поставляли, жрал? Жрал. Чего ж я их буду ругать? «Виллис» — хорошая машина, и тушенка неплохая. Без нее вообще бы ноги протянули. Президент Рейган в свое время назвал нас империей зла. И, в общем, прав был. Но потом-то они стали с нами общий язык искать…

— У нашего времени, на ваш взгляд, есть герой?

— А зачем вам это знать? Герои ходят по улицам, они среди нас. Или вы хотите знать их в лицо и подражать им? Но вы же не мартышка, которая копирует дрессировщика.

И не попугай, которого можно обучить ругаться матом. Это мы и без попугая умеем.

Но в моем возрасте не об этом надо думать. Я к другому миру готовлюсь. Если бы я об этом не думал, то был бы полным дураком. Я, как Сомерсет Моэм, подвожу итоги. Понимаю, что должен уйти так, чтобы меня не проклинали: «Что ж ты все развалил?»

— Вы с улыбкой воспринимаете происходящее вокруг?

— А что мне делать в моем возрасте? Плакать, что ли?

У меня в жизни всякое бывало.

За надписи на стенах ругали. «Что у вас за кабинет, как сортир!» Читают мне морали, а я смотрю на часы и спрашиваю: «Я вас не задерживаю?» Они терялись: «Мы вам скажем, если будете задерживать!» А я думаю: «Хоть бы они в сортир, что ли, пошли». Нет, все морали читают.

А с каким боем принимали спектакль «Вечно живые», где я на сцене зажег вечный огонь, еще до того, как он появился у Кремлевской стены! Заставляли убрать огонь, чуть ли не сами затаптывать хотели. Но потом поняли, что мы с артистами им просто морды набьем, и отступили. Потом заставляли заменить спектакль.

«Хорошо, — сказал я, — я тогда выйду и скажу залу, что в виду приказа спектакль отменяется». — «Ну вы же так не скажете?» — спрашивали меня. «Нет, — отвечаю. — Вы меня плохо знаете. Именно так и скажу». Тогда последовало зловещее: «Ну ладно, играйте!» И после этого началось, конечно! Но это все ерунда. Крови нам стоило немало, но главное, что я умел бороться…

Если мне сейчас скажут: «Мы не будем продлевать с вами контракт», — я отвечу: пожалуйста. И уеду. У меня есть другая работа. Я спокойно к этому отношусь. Как Немирович-Данченко

говорил: «Мы все равно когда-нибудь уйдем. И театр изменится. Или вовсе перестанет существовать. Ничего не поделаешь».

Так и надо ко всему относиться — философски. Но пока я тренер, я должен тренировать команду. И выиграть матч, иначе к нам в театр никто не придет и мы проиграем.

— Спасибо вам за разговор, Юрий Петрович. Будьте здоровы.

— И вам тоже здоровья. И успехов. А самое главное — спокойно ко всему относитесь.

Мы несколько лет не виделись с Любимовым. А потом я пришел в его театр, и администратор совершенно неожиданно предложил пройти в кабинет художественного руководителя.

В этот вечер у Любимова собралось, кажется, пол-Москвы — Белла Ахмадулина с Борисом Мессерером, Георгий Данелия, кто-то еще. На столе — вкуснейший сулугуни, зелень, вино. Разговор был очень интересен. Да и могло ли быть иначе? И еще было как-то легко, что ли.

А потом все вместе пошли смотреть спектакль. Любимов, как обычно, сел за режиссерский столик, когда погас свет, включил фонарик и, взмахнув им, дал актерам знак начинать представление. В том, что все пройдет хорошо, он не сомневался. Ведь главное — относиться ко всему спокойно. Я это запомнил.

# Сочинитель. Писатель Даниил Гранин

Эта история случилась благодаря американскому миллиардеру Джорджу Соросу. С ним я столкнулся нос к носу в мадридском музее Тиссена-Борнемиса. Кивнул, как давнему знакомому. Он ответил. Хотя и не знал, что перед ним человек, совершивший на его деньги увлекательное путешествие.

Году в девяносто девятом теперь уже, как принято писать, прошлого века меня пригласили принять участие в поездке по Северу России, которую организовывало российское отделение фонда Джорджа Сороса. Нас тогда собралась целая делегация. Ездили, разумеется, не ради удовольствия — Сорос оплачивал покупку книг и журналов для отдаленных библиотек, которые мы посещали, и спонсировал восстановление древних церквей, тоже не оставшихся без нашего внимания. Впечатлений я тогда насобирал массу.

А еще успел поговорить с писателем Даниилом Граниным. Мы с ним оказались в соседних купе поезда Москва — Воркута. Правда, пункт назначения нашего путешествия был значительно ближе Воркуты — мы ехали в Вологду. Этот город был первым в нашей программе.

Затем побывали в Каргополе, где в сталинские годы располагался один из самых страшных лагерей. В бывших бараках до сих пор живут люди.

А потом на несколько часов слетали на Соловки, где, собственно, я поближе и познакомился с Даниилом Александровичем.

Соловецкий остров — место, безусловно, красивое. Но восторг был разбавлен ужасом. От одной мысли о том, ЧТО происходило там во времена существования СЛОНа — Соловецкого лагеря особого назначения — становилось не по себе.

Гид рассказывал, как в старинном Соловецком соборе, переделанном чекистами в тюремный барак, ночевали осужденные. Наиболее строптивым заключенным под ночлег отводили место на самых верхних ярусах, почти под самым куполом храма. Ночью они, якобы во сне, падали со своих нар и разбивались насмерть.

Незаметно мы с Даниилом Александровичем отстали от нашей группы. Зашли в какую-то чайную, заказали по два стакана обжигающе горячего напитка. И пока он немного остывал, разговорились.

Я находился под таким впечатлением от увиденного, что

задал писателю вопрос: возможно ли повторение ГУЛАГа?

— Вряд ли, — произнес Даниил Александрович, облокотившись на высокий столик и бросая в стакан с чаем куски сахара. — Для того чтобы лагеря вновь возродились, нужна не только тоталитарная система, нужна идеология. А нынешняя идеология все-таки довольно демократична. Усилия демократов, какие бы ошибки они ни допустили, не пропали даром.

Человеческая психика так устроена, что мы не умеем сопоставлять себя с теми, какими были лет двадцать назад. Мы живем только будущим. Недостаток нашей истории в том, что она должна состоять не только из политических и экономических событий, но и из чувствований и настроений. Именно чувствования и настроения и определяют очень многое.

Возможен ли фашизм? Вот он возможен. Пусть и другого рода. Возможны разные варианты. Например, распад России. Сейчас сильно возросли центробежные силы. Раньше существовало понятие «советский человек», которое скрепляло людей. Не было понятия «башкир» или «эстонец». А теперь они появились.

У всех краев и республик разное экономическое положение. Обнажилась разница экономических интересов. И они стали разносить Россию. Что скрепляет ее? Трудно сказать. Но уж никак не рубль. Ведь вместо рубля можно ввести новую единицу. Тем более есть области, где людям не платят денег. Вот мы сейчас с вами ехали в поезде и видели, как народ пытался продать хрусталь. Потому что ему дают зарплату в форме хрусталя.

Сегодня, когда я готовил расшифровку разговоров с Граниным к печати, за окном уже, конечно, совсем другие времена. Многое изменилось. Но я решил оставить записи наших бесед без купюр, ибо слова писателя — уже история, которая, может быть, поможет кому-то лучше понять наше прошлое.

Ну а тогда все происходящее было в настоящем. Возвращаясь из соловецкой чайной, мы нагнали группу и вниманием Гранина завладели другие. Но и я отступать от него не собирался. Поговорить мы решили уже в Архангельске, посещение которого было финальной точкой нашей поездки. Когда все члены делегации отправились гулять по городу, я постучал в дверь гостиничного номера Гранина.

Первым делом решил спросить про писательство. С кем же говорить про это, как не с маститым Граниным, которого давно принято считать классиком советской литературы?

Судя по всему, первый вопрос был задан правильно. Ибо, начав отвечать на него, Гранин прочел мне целую лекцию о том, что такое писательство и жизнь человека вообще.

— Я всегда хотел быть писателем. И всегда знал, что им стану и буду очень известным. Это было такое внутреннее, тайное ощущение, которого я стыдился. Сейчас могу сказать об этом открыто. У меня было немало неудач, я в литературу входил трудно. Но уверенность в том, что все будет хорошо, присутствовала всегда.

У меня ведь было большое преимущество: я имел свою тему, которая в литературе почти не присутствовала, — наука, научное творчество, романтика ученых. Мои друзья в основном — это физики, биологи. Люди, которые живут в будущем и знают то, чего пока не знает никто. Они — владельцы тайны. Я их, конечно, идеализировал, обожествлял. И чувствовал себя в этом первопроходцем.

У меня нет писательского образования. Я ведь окончил Политехнический институт. И от этого иногда ощущал себя белой вороной. Но чувствовал в себе призвание писать. Когда пришел с войны, то первое время скрывал от всех, что пишу по ночам романы. Да что там, я до сих пор сомневаюсь, есть ли у меня писательский талант.

Я по-прежнему боюсь белого листа. А как же! Твардовский как-то мне сказал, что тоже боится чистого листа и поэтому пишет на бумаге, обратная сторона которой исписана. Интересное предложение, да? Я к нему прислушался. С тех пор как стал членом президентского совета, мне стали присылать всевозможные бумаги — аннотации, информацию. После того как я все это просмотрю, раскрепляю скрепки, держащие бумаги. И можно писать.

Почерк у меня неважный, но жена разбирает. Она у меня вроде секретаря. Я пробовал работать на компьютере, но он мне немного мешал. Когда я пишу от руки, то чувствую слово. Я как-то был в доме Пушкина в Михайловском, и директор музея Гейченко дал мне пописать гусиным пером. О, это особое состояние! Когда ты страстен, получается жирный шрифт. Когда испытываешь другое настроение, он получается тонким. Поэтому, читая Пушкина, легко понять, в каком состоянии пребывал поэт. Если, например, написано жирным шрифтом, я сразу понимаю, что в тот момент в нем все клокотало.

Существует ли вдохновение или все решает трудолюбие? Бывает по-всякому. Но чаще всего приходится просто вкалывать. У Толстого, когда он писал «Воскресение», существовало 20 вариантов внешности Катюши Масловой. 40 страниц!

У Хемингуэя в «Прощай, оружие!» было больше 20 вариантов конца. А я убедился, что сам смогу переписать свои работы только 6 раз. Не потому, что у меня не хватит работоспособности.

А потому, что я больше не вижу вариантов.

Вообще, история творится людьми. Звезды, конечно, могут оказывать какое-то влияние на психику людей, но конечный ход истории определяет человек. Его воля, его сознание, его понимание жизни.

Сегодня я понимаю, что то, как сложилась моя жизнь, во многом зависело именно от меня. Не все, конечно, но многое. То, что началась война — зависело не от меня. Но то, что я на нее пошел — от меня. И это определило ход войны.

Я вам сейчас скажу вещь, о которой у нас не говорят. Красная армия войну проиграла. Войну выиграл народ. Армия показала, что не готова к войне. После первых тяжелых боев она потерпела поражение и начала отступать. Армия ведь была без настоящих командиров, не была обеспечена с воздуха, связь была на уровне времен Первой мировой войны. Мы были не готовы к войне, несмотря на все наши пропагандистские песни, Ворошилова, Буденного и лозунги Сталина о том, что ни одной пяди земли не отдадим.

По всем военным показателям мы должны были проиграть. А немцы выиграть — у них были совершенно правильные расчеты. У них были такие танки! Я ведь сам танкист и видел, с какими машинами начинали войну мы и с какими — они.

Почему мы выиграли? Потому что с самого начала, с самого первого дня были в этом уверены. Чисто абсурдистское сознание — проигрывать сражение за сражением, отступать каждый день и все равно верить в свою победу.

Часть, в которой воевал я, отступала каждый день. Мы подошли вплотную к Ленинграду и были уверены, что город захватят. В середине сентября 41 — го он был совершенно беззащитен. И при этом подсознательно чувствовали, что этого не случится. Была какая-то психологическая заданность. При этом никакие политработники с нами не беседовали.

Уверенность шла от справедливости нашей войны. Это была вера в справедливость жизни, мироустройства, истории. Называйте, как хотите. Мы должны были разгромить фашизм, потому что фашизм — это несправедливо! Мы защищались.

Всякая война — это гнусность и грязь, и с нашей стороны их тоже было достаточно. Но по высшему счету наша война была справедливой. Потому что мы защищали свою землю, свой народ. А вот сознания того, что мы защищаем советский строй, не было. Мы не строй защищали, мы защищали страну. А это разные вещи. И поэтому мы победили.

Сегодня говорят о 50 миллионах погибших. Я не думаю, что эта цифра справедлива. Достаточно и 20 миллионов. Конечно,

было огромное количество пленных с первого же дня. Я помню, как нас окружали, как гибли ополченцы, не умеющие воевать. Мы останавливали врага своим мясом. Но говорить об этом было нельзя.

Когда я работал над «Блокадной книгой» о блокаде Ленинграда, у нас было 65 цензурных изъятий. Не разрешали писать о людоедстве, о мародерстве. О том, что Жданов, который был руководителем Ленинграда, ни разу не выезжал на фронт, а Смольный жил недопустимо сыто. Нам не разрешили опубликовать подлинную цифру погибших в блокаде — 1 миллион человек. Официально погибло 660 тысяч.

Не разрешали публиковать рассказы блокадников о том, как они жили. Например, в Ленинграде в бане работало только одно отделение, которое было легче протопить. И мужчины мылись вместе с женщинами. А секретарь ЦК по идеологии Михаил Суслов счел это порнографией. Хотя все было очень целомудренно и очень бережно по отношению друг к другу. Эти истощенные дистрофики были бесполыми существами, а не мужчинами и женщинами.

Почему нам запрещали публиковать это? Не думаю, что дело в какой-то особой психологии русского человека. Неверно искать в этом какие-то национальные особенности. Русский мало чем отличается от француза или немца. Дело в идеологии, которая существовала у нас во времена железного занавеса, когда нас уверяли, что Россия имеет особую миссию: мы строим коммунизм, в котором будут жить все народы, а значит, мы — миссионеры. Этот абсурд поддерживался закрытостью нашего общества. Но та идеология помогала нам терпеть. Люди ведь жили очень плохо, мы сейчас забыли об этом. Жили в коммунальных квартирах, общежитиях. И я так жил, а как же?

У меня всегда была конкуренция между желанием писать и желанием жить. Не могу сказать, что это взаимоисключающие понятия. Но мешающие друг другу — точно. Одно время у меня был такой лозунг: нельзя работать за счет жизни. Но потом я убеждался, что нельзя жить за счет работы. Поэтому многим приходилось жертвовать.

Ну, представьте себе: хорошая погода, лето, друзья зовут за город, а надо сидеть за столом. Но с другой стороны, поддашься их уговорам, а потом вернешься к рукописи — а она уже не та, чувствуешь, что что-то ты потерял.

Писательством я занимаюсь с 1955 года, после того, как ушел из политеха, где преподавал. С тех пор я — свободный художник. Но имейте в виду, что эта свобода очень опасна.

Я очень плохо себя знаю, потому что редко могу побыть один

на один с самим собой. Я все время со своими мыслями, со своими героями. Многие не умеют жить в одиночестве, боятся его. А для меня это потребность. Одиночество для меня — не изоляция, а возможность изучить себя. Это не просто.

Вот Лев Толстой был большим научно-исследовательским институтом изучения себя. У нас раньше это не приветствовалось. Как это, мол, так: рефлексия, самоанализ, что это такое и кому это надо. А кто мне должен быть интересен, как не я сам? Мы же чаще всего живем, не понимая себя. И от этого не можем понять других.

Мы и великих людей мало знаем. Вот вы, например, знаете, что Толстой в поисках себя занялся переводом Библии? И перевел ее. Вариант Толстого сильно отличается от канонического. Интересное получилось чтение, хотя в этом Лев Николаевич потерпел поражение.

Смог ли Толстой ответить на вопрос, зачем он живет? Не надо все сводить к примитивным вещам. Он всю жизнь бился над этим вопросом. А дело и не в ответе, который можно написать на доске. Дело в процессе познания. И никто не может говорить об итоге этого процесса. Потому что он непрерывен.

Я в последние годы, не знаю, к счастью или сожалению, почти не читаю художественной литературы. Мне неинтересно. Потому что как только я открываю книгу, то сразу понимаю, что будет дальше. Для меня сегодня интереснее книги исторические, философские.

Меня всегда мало интересовало, что обо мне говорят критики. У меня ведь были разные периоды — и взлеты после «Искателей», «Иду на грозу», «Зубра». Мне в этом смысле везло. Но были времена, когда меня громили. За рассказ «Собственное мнение» хотели исключить из партии.

Я написал этот рассказ за одну ночь и принес Константину Симонову. Ему рассказ очень понравился. «Превосходно. Будем печатать. В следующем же номере», — распорядился он. А когда рассказ был опубликован, нас вызвал Хрущев и такой разнос устроил! И Симонов, который был главным редактором «Нового мира», вышел бледный на трибуну и стал оправдываться, что допустил ошибку.

Предал нас с Дудинцевым (его роман «Не хлебом единым» был опубликован в том же номере), не моргнув и глазом.

Я долго не мог ему этого простить. Меня потом полтора года не печатали. Но для меня это не стало трагедией.

На что я жил? Так ведь жена работала. Да и я всегда мог вернуться в институт. Я ведь по специальности инженер-электрик, так что с голода бы не умер.

Меня никто никогда не мог убедить, что я поступил ошибочно. Я всегда делал то, что считал нужным. Конечно, мне за многое стыдно. Но я не собираюсь заголяться. У каждого человека есть какие-то интимные вещи, в которых он никогда не признается. Нет человека, который способен на такое мужество. Да и нужно ли это делать?

В католической церкви во время исповеди лицо исповедующегося отделено перегородкой. Не только для того, чтобы облегчить ему возможность раскрыться. В этом есть определенное целомудрие.

Сейчас много говорят о покаянии. При этом почти никто не видит разницы между покаянием и раскаянием. Раскаяние может быть публичным, а покаяние, наоборот, очень интимно. У нас нет культуры покаяния.

Я не жалею о том, что был в свое время народным депутатом России. Хотя не рвался в Верховный Совет. Как не рвались и Борис Васильев, Фазиль Искандер, Алесь Адамович. Мы шли туда воодушевленные возможностью изменить и преобразить нашу жизнь. Радовались, что можем что-то сделать. Так что я не стыжусь этого. Тогда мне казалось, что это нужно. Тогда ведь было очень романтичное время. Время надежд.

Но потом я понял, что писатель не должен идти во власть. Это безнадежно. Но и не думаю, что художник должен непременно находиться в оппозиции к власти. Когда я пишу, у меня с властью нет никаких взаимоотношений. Для меня важны взаимоотношения с моими героями.

Есть знаменитое письмо Льва Толстого писателю Боборыкину. Боборыкин призывал Льва Николаевича написать о земском движении. На что Толстой категорически возразил: «Я и часа не потрачу на это. Но готов потратить всю свою жизнь, чтобы писать о любви, о жизни и смерти».

Нас тоже власти все время призывали писать на злободневные темы — о коллективизации, о строительстве метро, об экономических катастрофах, о фермерстве. Нам все время заявляли, что мы в долгу — перед шахтерами, электриками, врачами. На самом же деле писатель никому ничего не должен.

Почему считается, что он должен быть ближе к жизни? Может, наоборот, лучше быть подальше от реальной жизни и поближе к сочинительству. Любое вмешательство в творчество людей, не только писателей, — это абсурд. Художник никому ничего не должен.

Раньше был такой термин — «сочинитель». Писатель ведь сочиняет жизнь. Это очень важное понятие, которое у нас осталось разве что в сочетании «собрание сочинений».

Кто такой Кафка? Сочинитель, чьи фантазии гораздо лучше объясняли жизнь, чем самые реалистичные рассказы.

Мой собеседник устал. Я это заметил по паузам, которые он делал в своей речи. В какой-то момент пауза в монологе стала чуть длиннее, и Даниил Александрович обратился ко мне с вопросом: «Зачем мы столько говорим? Это же никто никогда не напечатает».

«Не хочет больше тратить на меня время», — решил я. А Гранин накинул на себя плащ и, словно читая мои мысли, произнес: «Мы поговорим еще. Только давайте это сделаем во время прогулки. Сходите к себе, тоже накиньте что-нибудь».

Я сбегал в номер, оделся. И мы еще пару часов бродили по набережной Северной Двины. И вновь говорил в основном он.

— Никогда не забуду свою первую поездку за границу. Это было году в 1956-м.

Назывался рейс «Победа» — большая писательская группа: Константин Паустовский, Расул Гамзатов, дочь тогдашнего председателя Совета министров Косыгина. Всего было человек 400.

Для нас все было откровением. В Болгарии еще ничего себя ощущали, но когда приехали в Париж!.. А уж когда попали в Рим и Афины, то и вовсе испытали шок. Ошарашенно смотрели друг на друга и не могли понять: где же тот самый прогнивший Запад, где человек человеку волк? Как мы прозревали и страдали, не понимали и терялись, пытаясь сохранить хорошее лицо. С каким наслаждением мы выискивали всякие безобразия.

Боже, какая была радость, когда увидели какого-то нищего! «Где у вас трущобы?» — спрашивали мы. Потому что искали, в чем же все-таки преимущества нашего строя, о которых нам без конца твердили дома. Искали их и не могли найти.

Обиды победителей на побежденных еще не было, она появилась позже, когда мы приехали в Германию. Пока это было растерянностью советских людей, которых вдруг выпустили из клетки на свободу.

Алесь Адамович рассказывал мне, как однажды шел по деревне, и собака, привязанная к забору, стала наскакивать на него и лаять. И вдруг веревка оборвалась. Он остановился, а собака испугалась. И побежала назад в свою будку. Смелость ей придавала веревка. Так и у нас, когда мы попали за границу, веревка оборвалась. И мы побежали в свою будку, чтобы убедиться, что у нас не все так плохо.

Какие-то идиотки из нашей делегации, когда на Капри два старика стали петь нам неаполитанские песни и мы слушали их с удовольствием, принялись критиковать: «Да что вы их слушаете,

наши певцы поют лучше!» Мы ответили, что певцы, может, и лучше, но эти старики никакие не певцы. «Зато наши мужчины лучшие любовники, чем итальянцы», — не сдавались они. За что-то им надо было держаться!

Когда мы потом рассказывали дома, что видели, нам не верили. Да мы и сами пытались оправдать поразившую нас разницу и защитить нашу жизнь. Не так-то было легко признать, что мы жили хуже всей Европы. Что Красная площадь — не самая красивая площадь мира и что есть площади покрасивей. Нам надо было хоть как-то защитить наше сознание. Ведь оказалось, что мы идиоты.

Не знаю, можно ли считать года моим богатством. Конечно, есть кое-какой опыт. Хотя порой совершаешь те же ошибки, что и в молодости. И новые умудряешься совершать, что самое обидное.

Человек не обретает особой мудрости. Ее, наверное, вообще нет, этой мудрости. Ведь знания нельзя считать мудростью. Но зато есть опыт. В чем он заключается? В осторожности, в терпимости, с которыми ты начинаешь относиться к людям. Убеждаешься, что у всех есть свои причины, чтобы поступать так или иначе.

Я понял важную вещь: надо придерживаться принципа сочувствия. Попробовать понять точку зрения своего противника. Это вообще чисто писательское дело — перешагнуть через баррикаду, разделяющую тебя с другим человеком, и взглянуть на мир его глазами. Это трудно, мне не всегда удается. Так что не могу сказать, что в совершенстве овладел этой наукой. Но учусь.

Умею ли я властвовать собой? Умею. Не думаю, что это большая мудрость. Это, скорее, умение стареть. Не жаловаться, не рассказывать о болезнях, не навязывать советы и не щеголять своим жизненным опытом.

Мне уже много лет. Или мало? Физически я иногда ощущаю свой возраст. А душой я по-прежнему молод.

Если бы я сейчас встретился с 23-летним лейтенантом Граниным, то вряд ли нашел с ним общий язык. Если бы встретился с собой 30-летним, то стал бы с этим человеком врагом. Но если бы я встретился с собой ребенком, когда я, например, жил с отцом на лесопилке, то с этим мальчиком мы стали бы друзьями.

Так что человек — это не только то, что он собой представляет сегодня. Это еще множество людей, о которых он забыл и которые ему подчас совсем не знакомы. Причем эти люди ему вовсе не родственны, а, наоборот, враждебны.

После той северной поездки я Даниила Александровича не

видел. Хотя несколько раз получал от него приветы, который он передавал мне со знакомыми журналистами, бравшими у него интервью.

А Гранину я всегда буду благодарен за ту лекцию, прочитанную мне на Русском Севере. Кстати, пишу я теперь тоже от руки и на обратной стороне исписанной бумаги.

# Философ из Еревана. Актер Армен Джигарханян

Армен Джигарханян не только самый народный артист бывшего Советского Союза. Он еще и настоящий мастер сюрпризов.

Поводом для первой встречи с актером, состоявшейся летом 1997 года, стало открытие театра, которым Армен Борисович собирался руководить. Логично, что местом для разговора он выбрал свой рабочий кабинет.

Новорожденный театр располагался тогда в небольшом двухэтажном здании возле станции метро «Спортивная». Кабинет художественного руководителя показался мне солидным. Как и положено в официальных учреждениях, напротив письменного стола хозяина апартаментов располагались два кресла для посетителей.

Едва переступив порог кабинета, я тут же поймал себя на мысли, что уже где-то видел подобную обстановку. И все время, пока ждал Джигарханяна, ломал голову где.

Но стоило Армену Борисовичу, одетому в строгий костюм, чем-то по крою напоминающим военный френч, войти в свой кабинет, как я вспомнил — точно такой же кабинет, правда, более солидного размера, был у Сталина.

Джигарханян снял пиджак, повесил его на спинку кресла, сел за стол, закурил сигарету и, не произнеся ни слова, посмотрел на меня. Какое-то время мы молчали — каждый ждал, кто первым заговорит. Победил артист: не зря же говорят, что умение держать паузу — особый талант.

— Армен Борисович, ваш кабинет чем-то напоминает сталинские апартаменты в Кремле.

— Я даже не знаю, как воспринимать ваши слова — как комплимент или как порицание. Вот верите, мне кабинет этот непривычен. Честное слово, я уже не в том возрасте, чтобы фарисействовать. Я пока «молодой специалист» в кресле руководителя.

— Среди театралов ваш театр часто называют «театром имени Джигарханяна». Вас это радует?

— Смотря что под это подкладывают. Если «театр имени меня», то это очень плохо. Мне этот театр не нужен. У меня нет амбиций. Меня волнует судьба моих молодых коллег.

И знаете, я себя несколько уязвимо чувствую, выходя с ними на одну сцену. Мне хочется, чтобы мои бывшие студенты не

смотрели на меня только как на своего учителя.

Я всегда говорю им: «Ну кричи на меня! Не бойся!»

— Как руководителю, вам наверняка приходится принимать жесткие решения. Актеры обижаются?

— Думаю, что обижаются. И меня это волнует. Раньше я отвечал только за себя, а теперь в ответе за всю труппу.

Я всегда был достаточно самостоятельным и независимым человеком, лидера играл только на сцене. В общественной жизни никогда не участвовал. Просто так старался устроить свою жизнь. И она мне нравилась. А сегодня все поменялось — и я, конечно, иногда принимаю непопулярные решения.

— А вас самого легко обидеть?

— Очень. Более того, у меня в одну секунду может упасть настроение. И в другую секунду оно может подняться. Например, я не могу найти коробок спичек, начинаю расстраиваться. А потом — раз, нашел! Сразу на душе становится веселее, и я думаю: «И зачем я из-за этого пустяка расстраивался?»

— Я слышал, вы в скором времени переезжаете из этого помещения. По-моему, вашему театру отдали какой-то кинотеатр. Кажется, «Форум», да?

— Не совсем так. Мне это напоминает анекдот об армянском радио. Помните, армянское радио спрашивают:

«А правда, что гражданин Григорян выиграл сто тысяч рублей?» Армянское радио отвечает: «Правда. Только не гражданин Григорян, а гражданин Петросян. И не сто тысяч рублей, а сто рублей. И не выиграл, а проиграл».

Мы получили кинотеатр «Прогресс», что на Ломоносовском проспекте. Но это долгая история.

Я наконец почувствовал себя свободно — разговор вроде пошел. Армен Борисович все чаще и чаще стал улыбаться. Правда, разглядеть улыбку в седых усах актера, которые он то и дело оглаживал ладонью, было нелегко.

Разговор со мной был для Джигарханяна, наверное, тысячной встречей с журналистом.

И все равно, в самом начале беседы он тоже, как мне показалось, чувствовал себя несколько скованно.

После рассказанного анекдота расслабился и сам хозяин. Даже жена Армена Борисовича, то и дело заходящая в кабинет мужа за бумагами, почувствовала разницу — на ее лице мелькала улыбка, а под конец интервью Татьяна Сергеевна и вовсе присоединилась к нашей компании.

— На афише вашего театра я увидел имя Степана Джигарханяна. Это была ваша идея — взять сына Татьяны Сергеевны в свой театр?

— Нет, инициатива принадлежит исключительно Степану. Он пробовал заниматься многими профессиями — окончил факультет журналистики МГУ, пытался стать бизнесменом. А вот теперь пришел в театр.

— Наверное, тяжело работать на одной сцене с близким человеком?

— Тяжело. Ведь театр — это. Извините за сравнение, но театр — это как баня, в которой все голые и все равны.

И психологически выдержать работу в одном коллективе с сыном непросто. Слава богу, я замечаю, что он здесь не держится как мой сын. Не только потому, что он называет меня Арменом Борисовичем. Он просто умный парень и правильно себя ведет. Я им доволен.

— Театр для вас, насколько я понимаю, это семейное дело. Ваша жена ведь тоже работает с вами?

— Да, она тоже в моей команде. Я не знаю, какие мысли мы подкладываем под слово «клан», но думаю, что это очень сильная вещь. И в моем представлении (возможно, американисты забросают меня камнями) одна из самых сильных сторон Америки — это именно клан.

У меня должен быть крепкий тыл. Прежде это каралось и называлось «семейственностью». Ведь жена работает вместе со мной уже не один год. Раньше она помогала мне во ВГИКе. Так вот, совсем недавно меня упрекнула одна женщина в институте, сказав, что я «привел свою жену». «Я ведь своего мужа не привела», — высказала она свой главный аргумент. Я даже не стал с ней спорить.

Это психологически очень важная вещь. Работать вместе — не значит уносить две зарплаты. Я должен, говоря футбольным языком, играть в одно касание. Должен спиной чувствовать партнера. Мне уже приходилось пройти путь предательства и несовместимости.

— Вас легко переубедить?

— Я стараюсь быть, как это сказать… восприимчивым. Нас всегда преследует самодурство. Особенно если ты чего-то добился и тебя похвалили, то сразу нос задирается кверху и появляется огромное самомнение.

Я всегда стараюсь выслушивать советы окружающих. Конечно, отстаиваю и свои идеи. Хотя кому-то, возможно, это может показаться, как мое нежелание выслушать чужое мнение. Уметь слышать — очень важно. Иначе человек будет только излагать. А это очень опасное заболевание. Особенно если ты народный артист и у тебя за плечами множество хороших отзывов.

— Вам этой опасности удается избегать?

— Ну, яже — человек. Иногда удается, а иногда мне только кажется, что удается. Мне подчас просто не хватает терпения выслушать собеседника и вникнуть в то, что он говорит.

— Откройте некоторые хитрости усмирения своих недоброжелателей.

— А у меня их просто нет.

— Хитростей или недоброжелателей?

— Врагов-то полно. Но если я живу с человеком или, допустим, просто вынужден находиться рядом с ним, то просто не хочу знать о том, собирается ли он мне подсыпать цианистый калий. Но если это вдруг в наших взаимоотношениях становится главным, то никаких разборок и выяснения отношений я не допускаю. Я предпочитаю такие отношения сразу прекратить. Раз и навсегда.

В моей жизни, к сожалению, не раз случались эпизоды, когда я был вынужден порвать с человеком. Я отворачивался и навсегда уходил. Поэтому и зла долго не помню. В моих правилах так: отрезал — и все!

— А как вам сегодняшнее время? Вы раньше себя уютнее чувствовали?

— Если честно, то нет. И тогда, и сейчас трачу массу усилий, чтобы не потерять себя. Думаю, что принципиально мало что изменилось. Да, сейчас я могу заработать гораздо больше, чем раньше. Но вы ведь понимаете, что это дается непросто — просиживание в аэропортах, проживание в неудобных гостиницах. Мне уже не 18 лет, и это все подрывает здоровье.

А вообще, повторюсь, принципиально мало что изменилось. Если не добавить к этому, что слишком много дурного выплыло наружу. Возьмем тот же аэропорт. Понятие «накопитель» сохранилось. Меня опять загоняют в накопитель и с двух сторон запирают.

— Неужели вас, народного и всеми любимого артиста, заставляют ждать самолет в пресловутом накопителе?

— Всех! При чем здесь я?! Это вообще уродство, когда кому-то одному хорошо, а всем вокруг плохо. Тогда я даже не знаю, как и назвать то, в чем мы с вами живем. Как может быть в банке сортир хорошим, а в больнице плохим?! Значит, мы — уроды!

Я отношусь к жизни трезво. У меня нет никаких иллюзий ни в отношении человека, ни в отношении всего общества. Так вот, я постоянно думаю: если мы знаем, что, допустим, вот это — хорошо, то почему это не становится общепринятым порядком?

В этот момент супруга Джигарханяна Татьяна Сергеевна попросила нас прерваться — мужу надо было перекусить. В одно

мгновение рабочее место художественного руководителя превратилось в накрытый стол — хлеб, сыр, зелень. Армен Борисович пригласил присоединиться к его трапезе, во время которой интервью продолжилось.

— Вы вообще любите застолья?

— Нет. Наоборот, очень устаю от общества. У меня такая профессия — все время быть на виду. Поэтому дома мне нужна тишина. Надо отключиться от всего.

— Как расслабляетесь?

— Книжку читаю, телевизор смотрю. Для меня важно, чтобы на меня никто не смотрел. Главное — побыть с самим собой.

— По телевизору следите за политикой?

— Эти люди мне интересны. Но если по другому телеканалу будет идти, скажем, футбол, то я обязательно переключу. Я ведь болельщик со стажем, традиционный спартаковец.

Но, правда, сам спортом серьезно никогда не занимался.

— А сожалений о неисполненных желаниях, загаданных в детстве, у вас нет? Вообще, часто вспоминаете детство?

— Очень часто. А насчет неисполненных желаний. Как-то никогда об этом не задумывался. Вроде все нормально. Такого, чтобы воскликнуть: «Эх, стать бы мне высоким и голубоглазым!» — у меня нет.

— Вы верите в справедливость судьбы?

— Я убежден, что мы всегда — и человек, и общество — имеем то, что заслуживаем. Ко мне судьба была настолько справедлива, насколько я сам это заслужил. Все в нас — и Бог, и дьявол. Поэтому сетовать и отправлять куда-то свои претензии не вижу смысла. Говорю ответственно и серьезно — я имею то, что заслужил.

— Чья это фотография стоит на вашем столе? Хотя я, наверное, смогу угадать — на ней ваш сиамский любимец Фил?

— Конечно, он. Я Фила просто обожаю. Мое золото! Ему недавно исполнилось девять лет. У моего друга в Петербурге тоже есть кот, зовут Маркиз. Так ему уже девятнадцать лет. И наши коты друг с другом дружат. Фил — такой умница, у него невероятное ощущение правды. Он никогда не врет.

— Вы, наверное, его любимец?

— Нет, он жену любит. У них совершенно дичайший роман. Фил даже спит с нами. И каждый день — это уже стало ритуалом — он ложится жене на грудь и минут тридцать обнимает ее, хитро поглядывая на меня.

— В заключение позвольте весьма банальный вопрос. Чего в вашей жизни было больше — приятного или все же грустного?

— Всякое бывало. Я опять хочу повторить: все в нас. Как

говорил Сенека: «Мир справедлив высшей справедливостью». Есть какой-то дух, какая-то аура и сила, которые нас ведут.

После того разговора прошло десять лет, прежде чем мы снова встретились с Арменом Борисовичем. Все эти годы наши с ним отношения — актера и зрителя — были идеальными: мы находились по разные стороны экрана и сцены.

Вряд ли назову сейчас фильм последнего десятилетия, роль Джигарханяна в котором потрясла бы меня. А вот в театре такая роль у него была в спектакле «Город миллионеров» в Лейкоме у Марка Захарова. Я смотрел эту постановку несколько раз и неизменно выходил из зрительного зала с пониманием: только что я видел действительно великого артиста.

Когда Джигарханян перестал играть эту роль, а затем и вовсе ушел из Лейкома, я удивился. И расстроился, конечно. Тем более что вскоре узнал — артист не просто ушел из спектакля, а решил вообще больше никогда не выходить на театральную сцену.

Чем не сюрприз? Хотя, увы, и неприятный.

Свое решение Армен Борисович прокомментировал довольно сухо — стал уставать, а халтурить и обманывать своего зрителя он не привык. Правда, от съемок в кино отказываться не собирается. И эту причину объяснил буквально в трех словах: там больше платят.

Ну а третьей неожиданностью стал 70-летний юбилей Джигарханяна. Точнее, его отказ праздновать свой день рождения. Тут уж ограничиться односложным объяснением ему не удалось — памятуя о давнем знакомстве, я уговорил артиста на встречу.

В этот раз разговор должен был состояться в новом здании театра. В том самом кинотеатре, о котором мы говорили с ним летом 97-го.

Кабинет с табличкой «Художественный руководитель театра народный артист СССР» я отыскал быстро — он находится прямо в «зрительской» части театра, на лестничной площадке перед входом в зрительный зал.

Ничего «сталинского» в новой обстановке я не нашел. Наоборот, все было очень уютно. Да и сам хозяин вел себя по-домашнему: когда я вошел, он сидел на диване и смотрел хоккей.

«Входи-входи, — поприветствовал меня Джигарханян. — Сейчас только досмотрим, ладно? И я обо всем тебе расскажу».

Я согласился. И Армен Борисович свое слово сдержал.

— Юбилей-шмугилей. Не буду отмечать. Зачем? Мне говорят, чтобы подарки получить, машину. Я бы хотел получить машину. Но мучиться и устраивать шумные торжества. Лечение не должно быть мучительнее болезни. Все-таки 70 лет — это вам не шутки. Я

прекрасно понимаю свои возможности. Сколько смогу пробежать и сколько после этого мне надо посидеть.

Фраза «Старик с молодой душой» — ерунда. Все равно существует великий закон природы, и наши попытки объединить яблоко со сливой обречены. Я должен реально понимать, сколько мне лет. Девять лет назад бросил курить, вообще не пью, у меня все расфокусируется сразу. Ну разве что немножко виски могу, грамм 70-100.

— Не жалеете, что не выходите больше на сцену?

— Для меня нет разделения понятий — кино и театр. Есть роды образа, а они происходят одинаково. А кино. Буду предельно циничен — там лучше платят. А сейчас для меня это важно. Хотя работать и в кино стало трудно.

Не зря же умные люди высчитали, что рабочая смена должна длиться 8 часов. А в кино бывает теперь и по 12, а то и вовсе с утра и до утра. Потому что надо сегодня сериал закончить, а завтра уже выпустить на экран. Мы, к сожалению, становимся свидетелями печального эксперимента, что из этого выходит. Опять-таки есть закон природы — надо сперва зачать, затем выносить и только потом родить. А если клизмами поторопить процесс, то и ребенок уродом родится. Но не мне судить.

— Вы снялись в 300 фильмах. Получается, у вас 300 детей. Есть любимый?

— Я вам не скажу. Потому что сам не знаю. Иногда забываю даже о существовании какой-то роли. Включаю телевизор, там идет фильм, а я и забыл, что в нем снимался.

Чего я вам буду рассказывать. В случае моего откровения вы или удивитесь, или тактично спросите: «А почему?» И мне дня не хватит, чтоб вам все объяснить.

Я 50 лет проработал в театре — это неприлично много.

И за это время понял главное: настоящее (в искусстве, я имею в виду) — выше быта, выше добра и зла. Это некое подаренное человеку Господом Богом душевное состояние. Радуга. Уж извините, что так красиво получается.

Настоящее нельзя объяснить. «Я люблю тебя, потому что.» — это наука. А просто «Я люблю тебя» — это искусство.

Как и десять лет назад, интервью пришлось прервать. Правда, в этот раз в кабинет заглянула не жена Армена Борисовича — она сейчас живет в американском Далласе, где теперь дом Джигарханянов. И не обед стал причиной перерыва. Теперь актер обедает исключительно в театральном буфете, где, как мне рассказали в театре, предпочитает винегрет и куриную лапшу.

Просто к народному артисту заявились телевизионщики, уговорившие его накануне грядущего юбилея ответить на

несколько вопросов.

— Вам трудно быть откровенным?

— Я счастливый, потому что могу пооткровенничать с вами от имени персонажа. И вы никогда не догадаетесь, что думаю об этом я сам. Могу петь, а когда меня начинают оценивать, отвечаю, что это не я, а мой герой поет. Поэтому и говорю, что я — клоун. Это самое точное определение. Никто же не знает, когда и от имени какого персонажа я говорю.

— А от имени какого персонажа вы говорите сейчас?

— Вы хотите разоблачить все мои 70 лет и чтобы я вам рассказал, когда я пил пирамидон, а когда цианистый калий? Я этого и сам не знаю. Уже не боюсь говорить, что я — счастливый человек. Потому что мне довелось пережить мгновения восторга. Это чисто физиологическое состояние.

— Чем вы живете сегодня?

— У Данте есть такая фраза: «Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу». Тогда половиной жизни было 35 лет, следовательно, полная жизнь — это 70. Данте говорит, что это время праведника. А дальше — самое страшное. Дальше — пустыня. Вот этим живет Армен Джигарханян. Все — суета.

— Ваше главное занятие сейчас — ваш театр?

— Да. Задумали сейчас делать Шекспира.

— Думаете, классика не надоела?

— Важно, как ее делать. Существует на свете человек, который не знает сюжет «Отелло»? Ну, хотя бы то, что он в конце ее задушит за этот сопливый платок? А все равно идут и смотрят. Потому что у каждого из нас есть своя проблема, хотя мы даже можем и не подозревать о ее существовании.

И всего две вещи способны на эту проблему воздействовать — церковь и театр.

Бывает же, что все вроде в порядке — денег заработал, с друзьями хорошо посидел, домой пришел. А на душе что-то не так! И врачи тут не помогут. А театр и церковь — да.

Мне вот очень жаль, что я не могу идти в театр как в церковь, потому что это моя работа. Хотя все равно часто хожу в театр. Сам не играю, но мне интересно смотреть на других. Не казните меня за то, что я сейчас скажу. Но тот театр, который мы имеем, обладает лишь семью процентами тех возможностей, которые ему присущи. А вообще они у него невероятны.

И та масса, которую мы называем зрителями, тоже несовершенна. В зале есть 3–4 человека, которых бормашина со сцены задела. Остальные просто не хотят подключаться.

Я очень люблю смеяться, люблю дурачиться. Мне вчера друг

из Америки звонил, анекдот рассказал. «У меня два брата, у обоих имя начинается на Ш — один Шашик (Сашик), а другой — Шерош (Сережа)».

А нас сейчас так смешат, что я смотрю и не понимаю, над чем надо смеяться, что там смешного. А знаете, почему? Потому что бездарно. И сейчас подавляющее большинство из происходящего — бездарно. Антон Павлович Чехов сказал, почему это происходит. Потому что мы — навоз.

— На родине в Ереване часто бываете? Скучаете?

— Бываю часто, но скуки никакой нет. Пока, по крайней мере. Наверное, я — человек одинокий. Мои радости — кот Фил, я в нем нуждаюсь. В моей жене нуждаюсь. Не стану сейчас объясняться в любви. Я-то знаю, что это так. А по Еревану слез нет. Хотя мне и говорят: «Подожди-подожди, придет время и будешь обливаться слезами». Не знаю, может и придет такое время.

— Вашим первым выходом на сцену была роль всего с четырьмя словами. Помните их?

— Конечно. «Товарищ капитан, вам телефонограмма».

— И с тех пор фамилия Джигарханян не сходила с театральных афиш. Кстати, вы знаете, что она означает?

— Джигяр — дословно «печенка». То ли арабское, то ли турецкое слово. Но там есть еще окончание «хан», которое означает «хозяин».

На востоке очень любят говорить про душу. Грузины произносят «джигаро», то есть душевный человек. Так что фамилию можно переводить как нам выгодно. Или я — хозяин печеночной, или — хозяин души.

— Что для вас сегодня является наивысшим счастьем?

— Не скажу. Потому что не знаю. Самые, наверное, примитивные вещи. Здоровье. Чтобы все, кто мне очень дорог, были со мной. Я боюсь их потерять. У Тете есть гениальная фраза про старость: «Все, что было близко, — отдаляется».

Я этого боюсь. Могу точно сказать — боюсь. Даже не подпускаю мысли, что моего Фила не будет. Переживу, наверное, выпью-закушу. Но пустыни не хочу.

Любимого кота Джигарханяна не стало год спустя. Все, кто знал Армена Борисовича, ждали, что он будет сильно переживать из-за смерти своего любимца.

Он и переживал. Но только делал это так, что никто из его знакомых этого не чувствовал. Догадались, что на самом деле творится у него в душе, только после того, как стали свидетелями, как на репетиции одна из молодых актрис, не зная, куда пристроить котят от своей кошки, взяла и предложила

одного из них художественному руководителю.

Что стало с Джигарханяном! Но он сдержал себя. «Ты думаешь о том, что говоришь? — еле слышным голосом произнес он. — Нет? Я бы объяснил тебе. Если бы ты была чуточку умнее».

— Вы вынесли какой-то урок из прожитой жизни?

— Нет, урока нет. И врал, и совершал нехорошие поступки. Но я за них несу ответственность. Сам. Ни от чего не отрекаюсь. Там, далеко, буду об этом думать. Что-то смогу исправить, а что-то останется моей болью.

— А что вы сделали зря?

— Такое же количество поступков, как и не зря. Это мои проблемы. Я должен разобраться в них. А может, и не надо их трогать вообще.

— Есть кто-то, кого вы презираете?

— Никого не имею права судить. Если это люди из моей жизни, то я должен принять решение не отвечать злом на зло. И просто себе сказать, что этого человека больше в моей жизни нет.

— Многих так исключили из своей жизни?

— Есть такие, есть.

— Научились не переживать из-за этого?

— Такое не бывает без переживаний. Тем более если связь была глубокой. Но пережил, слава богу.

Мне один человек, имея в виду мои работы в кино, сказал: «Ты очень мощное животное». Мне это очень понравилось. Лучший комплимент. Значит, нюх у меня есть.

Хотя не могу сказать, что не ошибаюсь в людях. Я же снялся в 300 фильмах. Значит, имел как минимум 600 партнеров, 300 режиссеров, 300 операторов. Столько людей прошло. Конечно, не у всех получались хорошие работы, уроды выходили. И что мне теперь, за ними с винтовкой бежать? Спокойней надо ко всему относиться.

Вообще мы всегда очень субъективны. Более того, скажу вам честно, мы очень глупы. Если хотите узнать, спрашивать надо у Него.

Станиславский говорил, что люди делятся на тех, кто любит себя в искусстве, и тех, кто любит искусство в себе. Большинство из тех, кого я встречал, любили себя в искусстве. Они ни кота не любят, никого, главное — они сами. Но я не имею права сказать, кто лучше. Их же тоже природа создала. Значит, не просто так.

— Можете назвать вашу самую отличительную черту?

— Нет. Я же меняюсь. Стал, например, сентиментальным, плачу иногда. Очень ненавижу себя за это. Вижу ребенка плачущего, собаку бездомную — и плачу. Помочь-то ничем не могу, к сожалению.

Нетерпимым вот стал. В лицо человеку говорю, что он глупый. Раньше мог высмеять, за нос потрогать, но не обижать. А сейчас прямо спрашиваю: «Почему ты такой глупый?» Это нехорошо. А если он мне ответит и начнется свара?

Мы же все равно с вами живем по законам среднеарифметическим. У меня вот есть музыка — Моцарт, Вагнер, книги, в которые никто не смеет вторгаться. А так.

Я ведь должен уметь понравиться — партнеру, режиссеру. Приходится подстраиваться. Есть же правила уличного движения, законы морали.

— Что вам помогло состояться в жизни?

— Господь Бог.

— Не судьба?

— Замените это словом «Судьба». Я думаю, что все вообще имеет одно название: «Вдруг». Все решает случай. Я же большую жизнь прожил, интересную.

— Когда поняли, что счастье не в деньгах?

— В деньгах тоже. Я хочу, чтобы моя жена и мой мальчик, мой Фил, жили хорошо. Должен зарабатывать для них деньги. Когда уезжаю из Америки, говорю им: «Поеду вам косточек привезу».

— Вы советский человек?

— Если говорить об уродстве, то да. Во мне не воспитали чувства достоинства. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», — написал поэт. А меня учили, что нескромно начинать предложение со слова «Я».

Но я думаю, что каждый человек имеет то, что он заслуживает. Если мы будем жестокими во имя истины, то увидим, что и Солженицын имеет то, что он заслуживает. И Андрей Сахаров имел то, что заслуживал.

Я недавно узнал потрясающую вещь. Вы знаете, что на кресте (а это были кресты для преступников), на котором был распят Христос, было написано: «Он умер по своей вине»? Вдумайтесь в это.

Если мы с вами не будем обливаться слезами и соплями, а посмотрим трезво, то поймем, что Сахаров — Гений! — сам пошел на смерть и умер по своей вине. Зачем ему нужен был этот Верховный Совет?

— Вы думаете про смерть?

— И думаю, и не думаю. Не готовлюсь к ней. Прошу своего Бога, чтобы он не оставил меня. Я не хожу в церковь, он во мне и со мной.

— Вам часто бывает страшно?

— Неспокойно бывает. Иногда даже не могу понять, в чем

проблема. Страх всегда есть. Всегда про своих в Америке думаю. Просыпаюсь, про них первым делом вспоминаю. Боюсь потерять. Потому что знаю, чем все кончится.

Я не знал, как вывести Армена Борисовича на разговор об Америке. А поговорить на эту тему хотелось. Ибо, несмотря на все перечисленные выше сюрпризы, на которые артист большой мастер, главной неожиданностью стал его отъезд в США.

Говорили об этом чуть ли не шепотом: «Джигарханян эмигрировал». Потом началась волна опровержений: как, мол, не стыдно такие сплетни про любимца публики распускать. Истина же находится, как это часто бывает, посередине.

Семья артиста действительно жила на тот момент в Штатах. А сам он уезжал туда только на лето и рождественские каникулы. Потому что мудрый человек и понимал: его зритель — в России.

— Когда бываете в Америке, чем занимаетесь?

— Смотрю передачи про животных, про природу и спорт. И читаю много, в Америке делать же нечего. Сейчас все перечитываю по второму-третьему разу. Булгакова, Чехова. Маркеса обожаю. Меня потрясло, когда он сказал, что переписал бы «Сто лет одиночества», если бы у него была такая возможность.

— Вы по-английски говорите?

— Нет. Но американцы меня понимают. Потому что хотят понять. Мое общение — магазин, заправочная станция. Если что-то более серьезное, жена помогает, она хорошо знает язык.

Но я и сам могу пойти в ресторан. Беру меню с изображенными на картинках блюдами и говорю: «Мэн, йе?!»

И официант кивает, если это есть. Потом показываю ему перекрещенные пальцы, и он понимает, что мне нужно половину порции. А потом еще и принесет показать, верно ли меня понял. Не то, что «иди к такой-то матери».

— Как у нас часто бывает.

— Про «у нас» будем молчать.

— Вы когда летите в Америку, домой едете? Как сами себе говорите?

— Домой — это когда я уйду отсюда. А так приеду в Даллас, увижу моего мальчика, понюхаю его. Я нуждаюсь в этом. Но понимаю, конечно, что это я все себе придумал.

17 лет он живет с нами. Сейчас для меня нет ничего дороже него. При этом осознаю, разумеется, что он кот. Я терял в своей жизни дорогих людей. Знаю, что нет царства теней. Но хочу, чтобы оно было. Потому что надеюсь, что там их увижу. Хотя умом понимаю, что ничего нет.

Самое интересное для меня — это мое прошлое. Будущего боюсь. Так что зачем мне загадывать? Вот говорят: «Через 20 лет

мы построим то-то». А я буду через эти 20 лет? Зачем мне это надо? Суета сует и томление духа.

— У вас на подставке к календарю написано: «Армен Джигарханян. Элита России». Не обидно, что в Америке вам такого никто не подарит?

— Это счастье. Счастье! Потому что привилегии — плохая вещь. Вы дайте мне деньги, и я куплю себе лучшее место в салоне самолета. А когда у меня билет в эконом-класс, и мне из-за известности предлагают перейти в бизнес-класс, я отказываюсь, говоря, что люблю эконом. Хотя это глупость, конечно. Дайте мне заработать, и я весь самолет себе куплю!

Знаете, какое было мое первое потрясение в Америке?

Я туда летел, честно говоря, со страхом: языка-то не знаю.

И товарищ, который меня провожал, написал на билете: «Не владеет английским языком». Так меня как президента страны провели из одного самолета в другой (мне там пересадку надо было делать). И не надо никакого «народный артист, народный депутат». Ерунда все это!

— Американцы, значит, не так глупы, как принято считать?

— Они — очень великий народ, очень! Многое меня потрясает в Америке.

Я сдавал там права водительские, имея 30-летний стаж. Увидел вопросы и подумал:

«Это же стыдно такие элементарные вещи спрашивать». А потом понял, что все придумано для самого низкого, примитивного уровня. А те, кто находится на более высоком уровне развития, до остального сами дойдут.

Наши же эмигранты смеются и называют американцев дебилами. Но они не дураки и все рассчитали правильно: умный все сам поймет, а объяснять надо не очень умным.

А у нас выступает министр чего-то и говорит такое, что я не понимаю. Скажи мне понятно! А он: «индоксикация, префарация, мурарация». Ия начинаю подозревать, что он и сам ничего не понимает.

— Что надо сделать, чтобы у нас наконец все изменилось?

— У вас? — Джигарханян засмеялся. — Да ничего не сделаешь. Ничего не изменится. Опять-таки есть закон природы. Не надо его нарушать. Можно не любить шакала, но он — явление природы, любит падаль есть. И глупо ему давать свежее мясо. Зачем? Надо уметь слушать природу.

Когда я собрался уходить, Джиграханян тоже поднялся из-за своего стола. «Хочу посмотреть, как там репетиция», — сказал он. Из кабинета мы вышли вместе и, пока спускались по лестнице, продолжили разговор.

— У вас какая пенсия, Армен Борисович? Тысячи две рублей?

— Нет, я же работающий пенсионер, у меня 1900, кажется. Вот когда брошу работать, мне 50 рублей прибавят. Так что все нормально. — Джигарханян, как и десять лет назад, выдержал паузу, а потом в сердцах произнес: — Если хотите правду, яв 300 картинах снялся. Сейчас элементарно был бы миллиардером. А у меня пенсия 1900 рублей! Вот и весь разговор!

# Всегда в моде. Историк моды Александр Васильев

Удивительное дело: Александр Васильев — не артист, не политик, не музыкант, но его знают все. И при этом не путают со знаменитыми однофамильцами. Завидная участь человека, чья профессия по сей день звучит довольно экзотично — историк моды.

Впрочем, дело, наверное, не в роде занятий, а в настроении, с которым он им отдается. И в страсти, с которой говорит обо всем на свете — начиная от рецепта приготовления брокколи (витиеватое название овоща из уст Васильева с его неподражаемой интонацией звучит, как песня) до перспектив развития отечественной моды.

А еще он с удовольствием рассуждает о белой эмиграции, остатки которой застал в Париже, о великих балеринах, чьими судьбами занимается с профессионализмом увенчанного званиями искусствоведа, о выдающихся людях, с которыми его сводила жизнь и знакомством с которыми он и гордится, и в тоже время не хочет бравировать.

Даже о стоящем перед нами на столе чае Васильев умудряется рассказать какую-то историю, вызвав восторг не только официантов, но и сидящих за соседними столиками посетителей ресторана. Они, разумеется, уже узнали моего собеседника и только делают вид, что изучают меню. Невольно наша беседа превращается в творческий вечер Александра Васильева. Для полноты ощущений не хватает только записок из зала. И вопросов публики.

Хотя нет, с последним все в порядке — в середине разговора к Васильеву подходит облаченная в норковую шубку и разноцветные атласные варежки дама и на полурусском-полуанглийском языке напоминает о том, как они виделись в Париже и «месье Алекзандер» выразил желание посмотреть старинные наряды, которые хранятся у дамы. Так вот, она специально прилетела в Россию, чтобы встретиться с «месье Васильефф», и «вот надо же, какая неожиданная встреча» и так далее и тому подобное. Приходится сделать получасовой перерыв.

— Никогда не думал, что историк моды может быть таким популярным.

— Я, честно говоря, тоже.

— А как вообще появилось это словосочетание? Не припомню

никого, кто, кроме вас, называл бы себя «историк моды».

— А до меня в России такой профессии и не существовало. Все называли себя «историками костюма». Пока я жил в Советском Союзе — а прошло уже больше тридцати лет, как я эмигрировал, — этой темой занимались две дамы. В 50-60-е годы они были главными специалистами в этой области.

Мария Николаевна Мерцалова была родовитой дворянкой, которая водила знакомство еще с самой Надеждой Ламановой, единственной из создательниц моды, не оставившей Россию после революции. Ламанова одевала актрис и высший свет, включая императорскую фамилию.

Другая русская специалистка — Раиса Владимировна Захаржевская, тоже знатная дама польских кровей. Она много работала в Художественном театре, а потом долгие годы преподавала историю костюма в Текстильном институте и МГУ. Ее учеником был, например, Вячеслав Зайцев.

Между собой эти дамы, разумеется, не общались. А как вы думали, они же были конкурентками! Вспомните Шанель и Скьяпарелли, которые даже думать не хотели о существовании друг друга.

С историками моды я познакомился, когда уехал во Францию. Там была такая профессия. Мода и костюм — разные вещи. Мода — это одновременно вид искусства и вид коммерции, очень взаимосвязанные между собой. Когда меня спрашивают, что важнее в моде — деньги или талант, я отвечаю, что важно все, 50 на 50.

Сегодня моду хотят сделать чуть ли не алгеброй и геометрией, то есть точной наукой. Не думаю, что это хорошо. Еще никому и никогда не удавалось предугадать тенденции в моде надолго. Будь это возможно, мы бы никогда не расставались со своими вещами. Потому что знали бы, когда тот или иной костюм снова войдет в моду.

— Если вы скажете, что мечтали о профессии историка моды с детства, я вам не поверю. Вы родились-то в стране, которая вовсю строила коммунизм.

— О, об этом я никогда даже не думал. Я родился в семье знаменитого театрального художника и актрисы. Обе семьи — и папина, и мамина — имели глубокие корни в дореволюционной России. Впрочем, все семьи имеют такие корни, только не все о них знают. Просто дворяне хранят воспоминания о своих предках, а другие — нет. И в результате даже не знают, где похоронен их прадедушка и что у него на могиле — крест или плита.

Так вот, с самого детства меня интересовало все, что связано с искусством. Я на помойках собирал всевозможные антикварные

вещи, которые за ненадобностью выбрасывались из домов. Тогда ведь в Москве было всего три антикварных магазина.

Я всегда знал, что уеду из Советского Союза. С 10 лет был уверен, что буду жить элегантной жизнью. Поверьте, лучшей жизни, чем эмиграция, не существует. Только оказавшись в чужой стране, ты можешь абстрагироваться и оказаться в ситуации, когда тебя будут оценивать не по связям и деньгам, которые ты имеешь, а по тому, что ты из себя на самом деле представляешь.

Все, чего я добился в своей жизни, я сделал именно в эмиграции — в Европе, Австралии, Японии, Южной Америке. Я единственный русский театральный художник, который работал в 30 странах мира.

Когда мне вновь позволили приехать в Россию — а это произошло лишь в начале 90-х, — я не был востребован русскими театрами. Многие воспринимали меня лишь как историка моды или создателя интерьеров для состоятельных людей. Почему? Здесь своих художников хватает, и обращаться к ним, видимо, дешевле.

— А как ваши родители относились к желанию сына уехать из страны? Или вы от них свои планы скрывали?

— Зачем? Они все знали. Нормально относились, потому что знали разницу между жизнью в СССР и в других странах.

Папа часто ездил за границу, ав те годы это было настоящим событием. Привозил мне красивую одежду. Я всегда был большим модником, одевался лучше всех своих одноклассников. А учился я в английской спецшколе.

— Специально занимались языками?

— Испанский и итальянский выучил уже за границей, когда начал работать в местных театрах. А здесь учил английский и французский. Часто ходил во французское посольство, где устраивали киносеансы. Перед зданием стоял бравый советский милиционер, который внимательно осматривал входящих и требовал документы. У всех, кроме меня. «Бонжур, месье», — обращался он ко мне, будучи уверен, что я — ребенок кого-то из сотрудников посольства.

Меня вообще почему-то всегда принимают за иностранца. Хотя я русский и горжусь этим. И никогда не строю из себя иностранца. Даже когда перебрался во Францию, не стал менять фамилию. Хотя французы мудро предлагали мне это сделать.

Я отказался и сейчас об этом жалею. Поменяй я фамилию, мог бы значительно больше работать во Франции. Дело в том, что там долгие годы существовала квота — только 8 процентов иностранцев могут работать в сфере культуры. Чтобы этого избежать, необходимо, что называется, офранцузиться. Ради этого

знаменитый французский режиссер Вадим Племянников стал Роже Вадимом, а Марина Байдарова-Полякова стала Мариной Влади. Французы не слишком любят иностранные фамилии.

— Уехав из Союза, вы сразу нашли работу во Франции?

— Ровно через два месяца. Мне удалось уехать, так как я женился на француженке. Тогда это был единственный способ.

Франция приняла меня довольно благосклонно. Два месяца я отдыхал — купался в океане, путешествовал по Бордо. Мне не пришлось на себе испытать, что такое безработица.

Я ведь из СССР уехал не просто 23-летним молодым человеком. Я был здесь художником по костюмам Театра на Малой Бронной, где одевал звезд — Ольгу Остроумову, например. И снимался в кино.

— Вы имеете в виду художественные фильмы?

— Да. Я в детстве вообще был настоящей звездой. Вел на телевидении детские передачи «Колокольчик» и «Будильник» с Надеждой Румянцевой. Играл в фильме «Кто спасет парня» роль сына героя Соломина, в «Скорпионовых ягодах» — роль внука героини Гоголевой. Но это все телефильмы 60-х годов, которые сегодня мало кто помнит.

— Это вас, благодаря известным родителям, приглашали?

— Ну конечно. В возрасте восьми лет я прошел первые пробы на ТВ, где был нужен ребенок. Мама играла в фильме «Женька-Наоборот», и артистам предложили привести своих детей. Я оказался одним из немногих, кто пробы прошел, так как не боялся камеры и быстро учил текст. А потом мне предложили вести передачи, в том числе «Спокойной ночи, малыши!».

— На улицах узнавали?

— Не то слово! Я не мог ездить в метро. На телевидение мне присылали мешки писем. Писали просто: «Москва, ТВ, Сане Васильеву». Авторами были, разумеется, дети. Мама заставляла меня на все отвечать — писала своим почерком адрес, а я надписывал «Привет из Москвы». Первый автограф дал в 5 лет.

— Почему же не пошли в театральный институт после школы?

— А я и хотел. Но не сложилось. И сегодня счастлив, что не стал актером. Потому что в таком случае не имел бы никакой работы на Западе. Только во время немого кино русские актеры могли сделать хорошую карьеру. А как только появился звук, они сразу перешли на вторые роли — шпионов, таксистов и так далее.

— Приехав четверть века назад в Париж, вы наверняка застали там представителей русского дворянства, эмигрировавших после революции.

— Всю эмиграцию можно было застать в 20-30-х годах. А я

застал остатки, общался со многими русскими балеринами. Лично знал Бориса Кохно, Сержа Лифаря.

— Вы были знакомы с великим Лифарем, любимым танцовщиком Сергея Дягилева?

— Я бы не сказал, что очень хорошо знал его. Зачем Лифарю было общаться с юношей 23 лет? Но мы были знакомы, нас представила друг другу Майя Плисецкая, которая танцевала в его балете «Федра».

Мы встретились в Лионе, и он, разумеется, произвел на меня мифическое впечатление. Когда ко мне сегодня боятся подойти, считая меня мифическим персонажем, мне становится смешно. Потому что для меня таковыми являлись совсем другие люди.

Каким был Лифарь? Очень моложавым, гладко выбритым, с крашеными волосами. По-русски говорил, как мы с вами.

Я очень дружил с его вдовой, шведской графиней Лилиан Алефельдт. Они никогда не были венчаны, но долгие годы жили вместе. Графиня помогла Сержу, когда он переживал не самые легкие времена.

Вы же знаете, Лифарь после войны был с позором выгнан из Гранд-опера за то, что показывал ее Гитлеру и, по слухам, летал на его личном самолете в Киев повидаться с родственниками. Потеряв место, Лифарь познакомился со шведской графиней — молодой, красивой, которая только что вернулась из Индии и Непала и была покрыта дарами магараджи — изумрудами и бриллиантами.

Вообще-то Лилиан имела виды на Вову Романова, сына Матильды Кшесинской и великого князя Владимира Романова. Но Вова-младший ездил на велосипеде, пил вино и женитьбой не интересовался. А вот Лифарь произвел на нее впечатление. Он тогда жил в комнате для прислуги, где была свалена его коллекция рукописей Дягилева, миниатюр пушкинской эпохи, писем Пушкина жене.

Почему он не продал все это? А тогда не было особого интереса к Дягилеву, все началось лишь в конце 60-х, когда с аукциона «Сотбис» были проданы костюмы и эскизы к его балетам.

Графиня сняла Лифарю очаровательную квартиру на площади Мексики и, пока он был в Финляндии, перевезла туда все, что у него было. «Вместе с пылью», — как она мне сказала. Включая простоявшую два года не разобранной рождественскую елку. Это очень тронуло

Сержа, и они стали жить вместе.

После его смерти графиня Лилиан пыталась завести новую семью. Она тогда была «молода», ей было всего около 83 лет.

Вскоре она вышла замуж за русского гитариста и прожила с ним в браке более 10 лет. Расстались супруги из-за того, что муж нерегулярно исполнял супружеский долг. Ему, кстати, тогда было около 40 лет.

Иногда графиня звонила мне и говорила: «Александр, вы могли бы прийти ко мне в отель? Часа в два ночи. Это будет самое удобное время». Она принимала меня в пеньюаре и говорила: «Мне нужны ваши услуги переводчика». Протягивала письмо Баланчина к Лифарю, написанное в довольно скабрезных выражениях. Баланчин писал о том, чтобы Лифарь поближе познакомился с балериной Алисией Никитиной, женские качества которой произвели на него впечатление во время последнего визита в Монте-Карло.

Письмо было написано в довольно вульгарной форме, ия не решался дословно перевести его графине. Решил пунктиром обрисовать содержание письма: «Здесь речь идет о балерине Никитиной и связи Сережи (так мы между собой называли Лифаря) с ней».

Графиня рассмеялась: «А я ведь знала, о чем письмо. Просто мне хотелось проверить, насколько вы невинны». На этом мы раскланивались. Хотя, возможно, графиня и хотела, чтобы я остался. Что, впрочем, впоследствии с успехом и сделал русский эмигрант.

— Каково было ваше возвращение в Россию?

— Я приехал в Москву в 90 году, до этого меня не впускали. Приехал, чтобы повидаться с отцом, который уже болел и вскоре скончался.

Меня сразу же окружила вниманием русская пресса. Хотя приблизительно до 93 года я даже не предполагал, что могу читать здесь лекции. В результате я занял место, которое принадлежит мне и сейчас. Разумеется, это разозлило многих моих коллег. Они ведь тоже хотели внимания. В мой адрес стали раздаваться всевозможные колкости.

Как я реагировал? Поначалу переживал. А потом включил французскую волну. Французы ведь равнодушны к переживаниям других людей. А русские люди, наоборот, очень душевны и любят сопереживать.

Когда я понял, что вызываю ревность и зависть, то перестал на это реагировать. Как говорится, на каждый роток не накинешь платок.

Почему мои книги становятся бестселлерами и именно меня хотят слушать? Не знаю. Се ля ви! Я ниу кого не воровал славы. Теперь я предоставляю своим завистникам и недоброжелателям возможность раздражаться и злиться в своем стакане с лимоном.

У меня на это просто нет времени. Я постоянно в поиске. Каждый день сижу в Интернете и покупаю платья. У меня собрано больше десяти тысяч предметов, огромная коллекция.

Хотите, расскажу, что купил этой ночью? Оперное манто нефритового цвета из панбархата, отделанное белым песцом, 1926 года, с рукавами «летучая мышь», которое в тон подходит одному бисерному платью из моей коллекции.

Нефритовый цвет довольно редко встречается. Ядо 4 утра торговался. И в результате упустил красное муслиновое платье 1935 года, разница в цене была всего три доллара.

Мне несколько раз доводилось стать свидетелем походов Александра Васильева на «блошиные рынки», где он умудряется отыскивать настоящие сокровища по вполне разумным ценам. При этом в любой стране продавцы встречают его, как долгожданного гостя.

В Тбилиси при виде Васильева на лицах торговцев появляется счастливая улыбка и каждый норовит завлечь «генацвале Сандро» именно к своему прилавку; в Венеции Александр безошибочно находит среди сплетения узких улочек укромную площадь, на которой в это воскресенье выставлены старинные украшения, фотографии и костюмы, и столь виртуозно торгуется, что за этой сценкой с улыбкой начинают наблюдать не только проходящие туристы, но и венецианцы.

Вообще, сюжет «Александр Васильев на блошином рынке» способен стать прекрасной темой для кино, причем не только документального…

— Вы довольно трепетно относитесь к костюмам. А сами как одеваетесь?

— Так, как мне удобно. Будучи центром всеобщего внимания, я невольно превратился в икону стиля. И это стало для меня обузой. Раньше я любил наряжаться, был жертвой моды — носил шляпы с мертвыми птицами на полях, каракуль, манто и пелерины, горжетки и прочее, прочее. Я, кстати, стал единственным русским, чья квартира попала в английскую книгу лучших интерьеров в стиле «декаданс».

В Париже меня окрестили самым эксцентричным парижанином. Но я сам себя таковым не считаю. И в Москве, когда я не на телевидении, стараюсь одеваться неброско, чтобы не привлекать внимания. Не хочу, чтобы на меня все смотрели. Хотя, разумеется, если выйду на сцену, то наряжусь и буду переливаться всеми цветами радуги.

— Слышал, вы недавно стали студентом.

— Аспирантом МГУ, если точнее. В России ведь очень любят «корочку». Ничего, отучусь, получу степень кандидата

искусствоведения, а потом, назло ворчуньям, защищу еще и докторскую. Мечтаю стать академиком. А потом министром культуры России.

Я познакомился с Васильевым, когда программа «Модный приговор», сделавшая Александра безусловной звездой на всем постсоветском пространстве, еще не существовала. Правда, его все равно узнавали на улицах.

Но слава, обрушившаяся на маэстро после его появления в кресле модного судьи, не сравнится ни с чем. Если раньше мы были самой читающей нацией, то в веке XXI превратились в, наверное, самую телевизионно-смотрящую. А потому теперь Васильева в лицо знают миллионы. Причем значительная часть из его новообретенных поклонников понятия не имела, что их обожаемый телеведущий еще и писатель, лектор и коллекционер.

Но самое удивительное заключается в том, как сам Васильев воспринял изменение своего социального статуса. Точнее, как он ровным счетом никак его не воспринял.

Его искренний интерес и уважительное отношение к обращающимся к нему незнакомцам для меня стали хорошим уроком. Равно как и почти двадцатичасовая работоспособность, результаты которой едва ли не каждый месяц предстают на книжных прилавках и музейных афишах.

А что уж говорить про знаменитые выездные Школы маэстро! На его семинарах и лекциях люди, далекие от искусства, становятся пусть и не знатоками, сразу так не бывает, но осознанными почитателями того или иного художника, стиля архитектуры, актерской работы, режиссуры или модного течения.

А потому АВ — именно так, своими инициалами Васильев подписывает письма и смс-сообщения, адресаты которых живут, кажется, по всему земному шару, — впору называть не Маэстро, а Миссионером.

Впрочем, главное не титул и его звучание. А способ идти по жизни — делать то, что тебе дорого и важно. И тогда это обязательно будет интересно другим.

Что-то подобное в свое время говорил Владимир Немирович-Данченко, один из основателей Художественного театра.

Сам Васильев окончил Школу-студию МХАТ, так что с идеями его основоположников знаком не понаслышке. Потому, наверное, стиль его действий — это классика.

Которая всегда будет в моде.

# Часть вторая. Эпоха утраченных гениев

# Тени забытых предков. Актер Рамаз Чхиквадзе

Когда сегодня заходит речь об актерах, то, как правило, первый вопрос бывает о том, в каком фильме снимался герой разговора. Мой собеседник появлялся на экране не так часто, чтобы стать безусловной знаменитостью. Да он к этому и не стремился.

Для Рамаза Чхиквадзе на первом месте всегда был театр. Его домом стал прославленный Тбилисский театр имени Руставели. На прославленной, во многом именно благодаря его игре, сцене Рамаз блистал в спектаклях по пьесам Шекспира и Брехта в постановке Роберта Стуруа. Ему, без преувеличения, рукоплескал весь мир.

Мы не видели Сару Бернар или Михаила Чехова, но знаем, что то были великие актеры. Рамаз Чхиквадзе, тоже был великим. И не только на сцене, ной в жизни.

Так получилось, что мы познакомились, когда он уже ушел из театра. Но я той дело слышал имя Чхиквадзе, и познакомиться с ним конечно же стало делом чести.

На тот момент Рамаз и его легендарная, грузины не дадут мне соврать, жена Наташа жили в трехэтажном здании виллы «Берика», первые этажи которой занимал отель. Такой был маленький семейный бизнес. Туда я и направился на нашу первую встречу.

После нее (трехчасовых расспросов о театре, кино, людях, с которыми он встречался) я попросил встретиться со мной еще раз.

Рамаз повернулся в сторону Наташи и, указав на меня глазами, спросил ее: «Слушай, что онот меня хочет? Я же ему все уже рассказал».

Но уже по тому, каким тоном был задан этот вопрос, я понимал, что мы еще обязательно встретимся. И мы действительно не раз виделись.

Есть такое отчасти избитое выражение «дарить дружбой». Так вот в отношении Рамаза Чхиквадзе оно справедливо, как никогда. Он действительно одаривал своей дружбой. У нас была громадная разница в возрасте, но с ним было легко и интересно.

Знакомство с Рамазом произошло в его кабинете. Именно так выглядела просторная комната, в которой состоялся наш первый разговор. Народный артист СССР сидел в кресле с высокой спинкой с одной стороны стола, ая — на невысоком стуле с

другой. Если бы не захватывающие истории хозяина дома, наш диалог вполне мог бы походить на аудиенцию у большого начальника.

Но передо мной был Артист. И потому я чувствовал себя не визитером или гостем, а слушателем уникального моноспектакля.

— Мне всегда везло. С 12 лет, когда я первый раз переступил порог тбилисского Дворца пионеров, мне встречались хорошие педагоги. А ведь могли и заштамповать меня.

И роли главные сразу же стал получать. А если и эпизоды приходилось играть, то очень сочные, интересные. Вообще актерство — это талант плюс везение.

В театральный институт поступил без малейших проблем: вошел и через четыре года вышел уже с дипломом. Потом сразу же попал в театр имени Руставели — главный театр страны, где тут же стал играть главные роли. И какие! Бывало, играл по шесть, а иногда по семь спектаклей в неделю.

И каких спектаклей!

Я потому, наверное, и языков иностранных не знаю — в голове просто не оставалось места для новой информации. Сейчас иногда думаю — откуда силы брал?

Мы ведь как жили? Отыграли вечером спектакль, а потом шли куда-нибудь и кутили до утра. Ну, если и не кутили, то после спектакля заходили с моим другом в ресторан «Тбилиси», там, где сейчас гостиница «Мариотт», заказывали бутылку шампанского и коньяку, выпивали и расходились по домам.

Я ведь с театром несколько раз вокруг всего земного шара объехал. Только в Швеции и Норвегии не был.

Помню, приехали мы на гастроли в Шотландию со спектаклем «Ричард Третий». Успех был невероятный! И нас тут же послали в Лондон. А то, мол, как это так, спектакль по произведению Шекспира и не сыграть его в столице Англии.

Приехали мы в Лондон, а нас уже встречают манифестанты. Оказалось, что аккурат за день до нашего приезда в Лондон советские войска вошли в Афганистан.

Нам предстояло играть в здании, попасть в которое можно было, только поднявшись по высокой лестнице. И вдоль всей этой лестницы стояли митингующие — и противники афганской войны, и евреи, выступавшие в защиту советских евреев, которых не выпускали из СССР в Израиль.

И вот поднимаемся мы по лестнице, а к нам тут же бросаются недовольные. И обращаются первым делом ко мне. Дело в том, что накануне наших гастролей в одной из газет появилась статья, озаглавленная «Король Рамаз» — ну, так они обыграли наш спектакль «Король Лир», в котором я играл главную роль.

Собравшиеся у театра, видимо, узнали меня по фотографии, которая была напечатана там же, и говорят:

— Вы Рамаз? Зачем вы вошли в Афганистан?

Я не растерялся и ответил:

— Как в Афганистан? Мы вчера вошли в Лондон!

Они засмеялись и вроде отступили. Но тогда наступила очередь выступать защитникам евреев.

— Почему вы не разрешаете евреям выезжать в Израиль? — кричат они мне.

— Вы хотите, чтобы я разрешил им выезжать? — спрашиваю.

— Хотим! — не успокаиваются они.

— Тогда я разрешаю.

И опять все засмеялись, и мы смогли спокойно войти в театр и отыграть спектакль.

Нас очень хорошо принимали за границей, всегда был невероятный успех. Однажды после того, как театр имени Руставели выступил в Австралии, мне предложили сделать свои там творческие вечера. Я пытался отказаться. Ну что я один буду на сцене делать? Я же не читаю стихи. Нет, то есть сам для себя их читать люблю и слушать люблю, а вот со сцены никогда не читал. Тогда мне предложили выбрать несколько отрывков из спектаклей и с ними приехать в Австралию.

Так я и сделал — набрал человек 20 артистов и с ними отправился за океан. Первым в нашей программе был отрывок из спектакля «Король Лир». Я выходил на сцену, произносил монолог Лира и падал в обморок. Каждый раз меня сзади ловили два артиста, так что я делал это уже автоматически — откидывался назад и падал в их руки. Но так получилось, что в первый день гастролей эти ребята о чем-то задумались и не успели меня поймать. И я плашмя упал прямо на пол сцены.

Лежу и думаю: «Это катастрофа! В первый же день все сорвалось! Без меня же они не смогут выступать — мое имя на всех афишах написано и билеты уже проданы!»

Так мне жутко стало, что не передать. И при этом страшно пошевелиться — боюсь почувствовать, что какая-то часть тела не действует. Но делать нечего, бесконечно же лежать невозможно.

Пробую двинуть ногой — в порядке, рукой — тоже в порядке, шеей — нормально. В результате оказалось, что я абсолютно невредим. Вот что значит волшебный эффект сцены!

Знаете, я раньше приходил в театр за пару часов до спектакля и измерял давление. Поначалу оно было ненамного выше нормы, а потом с каждой минутой становилось все выше и выше. Перед выходом на сцену верхнее давление было около 250, а я себя прекрасно чувствовал.

Сейчас я уже, конечно, не выхожу на сцену. Хотя до сих пор пытаются уговорить. Но мне уже 81 год! И если физически я, может, еще и смогу выйти — мне недавно очень удачно сделали операцию на ноге, то во всех остальных отношениях не возьму на себя такую ответственность.

Я иногда пытаюсь про себя повторять свои роли, и, признаюсь, случаются неприятные моменты, когда — раз! — и не могу вспомнить слова. А если такое случится во время спектакля? Нет, так оскандалиться не хочу. Надо всегда знать свое время.

В нашем театре ведь нет суфлера. Есть такой анекдот про суфлера на оперном спектакле. Идет «Евгений Онегин», на сцену выходит исполнитель роли Ленского и никак не может вспомнить начало своей партии. Дирижер уже дважды сыграл вступление, суфлер изо всех сил подсказывает слова, а Ленский стоит и молчит. Наконец он не выдерживает и громко говорит суфлеру: «Да слова-то я помню, я мотивчик забыл».

Мне жалко, что почти не сохранилось записей моих спектаклей. Пленка, что ли, тогда была плохая, но на всех кассетах какая-то темнота и почти ничего не разберешь.

Но, честно скажу, я не думаю о том, будут ли помнить мои работы. Я и мемуары не хочу писать, хотя часто предлагают. Достаточно того, что обо мне писали другие.

Впрочем, когда я читаю о себе какие-то хвалебные статьи, то боюсь, как бы это не оказалось на самом деле издевательством. Неужели они все это на полном серьезе писали?

У меня в юности неплохой голос был и меня заставили пойти учиться в Консерваторию. А я так хотел быть драматическим артистом! И для себя все уже решил и ни о какой Москве и думать не хотел.

Тогда придумал такую вещь — поеду в Москву, где у меня много друзей учится, «провалю» экзамены, а сам за это время во МХАТ схожу, в Малый театр. Я же к тому времени уже окончил театральный институт в Тбилиси, имел знакомых в московских театрах.

Перед экзаменом в Консерваторию всю ночь кутили. А на экзамен приходила масса народу, все садились в зале и слушали абитуриентов. Мы выходили на сцену и показывали подготовленные номера. У абитуриентов был аккомпаниатор, с которым репетировали репертуар.

Я пел два грузинских романса и одну итальянскую арию. Дурачился, как мог. А мне пятерку за пятеркой ставили. И я прошел, представляешь!

На этих экзаменах присутствовал Сергей Параджанов и слышал меня. Он в то время уже учился во ВГИКе. Мы тогда с ним

не были знакомы хорошо.

Кончилось дело тем, что меня приняли на отделение вокала. Приемной комиссии понравилось, что я уже готовый артист. Да плюс вокал хороший. Аккомпаниаторша с ума от меня сходила, так нравился я ей.

Вместе со мной приняли латыша, чукчу, азербайджанку, еще ребят из союзных республик. И тут, на мое счастье, пришел некий Лапчинский из наркомата культуры и воскликнул: «В чем дело? Нам нужны русские кадры, а вы ни одного русского не взяли!»

А это было правдой — ни одного русского не приняли, в списке поступивших были только ребята из союзных республик.

Когда решили повторить экзамены, я так радовался. Надеялся, что в этот раз точно не поступлю. А меня вызвали в ректорат и сказали, что меня это решение не касается. Надо только отнести в ЦК партии заявление, они мне продиктуют, как и что надо написать, и меня оставят в Консерватории.

Я огорчился, сказал приятелям: «Опять гибну!»

Но делать нечего — написал это заявление и пошел в ЦК. Тогда еще Сталин был жив, портреты его всюду в коридорах висели. Спрашиваю:

— Кому отдать заявление?

А мне отвечают:

— Сейчас начинается съезд партии, и два месяца мы никаких заявлений не принимаем.

А мне-то только этого было и нужно. Правда, домой написал жалобное письмо, что вот, мол, обидели меня в Москве, одни пятерки поставили, а сами не приняли.

Так в результате и не стал в Консерватории учиться. Вернулся в Тбилиси и поступил в театр имени Руставели. В 1951 году это было.

И никогда об этом не пожалел.

Пришло время, и в кино стали приглашать. За главную роль в фильме «Саженцы» режиссера Резо Чхеидзе даже получил главную премию Московского кинофестиваля.

О, это была интересная история.

Приехали мы — съемочная группа фильма — в Москву, на два дня раньше, чтобы встретиться с корреспондентами. Они спросили, сколько мне лет — я же сыграл 80-летнего старика, хотя сам был очень молод. Всех это очень удивляло почему-то.

В эти же дни в СССР приехал Ричард Бартон, в конкурсной программе было два фильма с его участием. В одном он играл Тито и еще в каком-то итальянском фильме тоже главную роль исполнил. Все конечно же понимали, что он приехал за Гран-при. Я лично ни минуты в этом не сомневался.

Тем более что до этого на кинофестивале в Алма-Ате наш фильм не получил ни одной награды, а мое имя и вовсе не упомянули. Мальчика, который со мной играл, наградили.

А меня — как будто не было.

Поэтому с какой стати мне было надеяться на награду на фестивале в Москве?

Да я и вообще о наградах никогда не думал. А мне их давали без конца. Два ордена Ленина, медаль Героя Социалистического Труда, три лауреатства. Я еще свою жену Наташу спрашивал: «Слушай, чем я так провинился?» Всегда это было для меня полной неожиданностью.

А тут мы с Наташей собрались в Чехословакию отдохнуть. И так получалось, что в день закрытия фестиваля мы должны были находиться на теплоходе, который выходил из Одессы в Братиславу.

Да, забыл сказать, что кроме фильмов Бартона, в программе ММКФ еще и фильм с участием Марчелло Мастроянни был заявлен.

Поэтому я совершенно спокойно сел в самолет, и мы улетели в Одессу. Приехали, поднялись на теплоход, устроились и прекрасно проводили время. В первый же день капитан попросил меня выступить перед экипажем и рассказать про международный кинофестиваль. Тогда же это было большим событием. Вдобавок как раз в день нашего отплытия по телевидению шла передача о фестивале.

И вот, перед ее началом, я рассказал, что происходило в Москве и кто получит награды фестиваля. Только закончил рассказ, как началась сама передача, где показали церемонию награждения лауреатов. Когда дошли до приза за главную мужскую роль, я сказал: «Вот сейчас Ричарду Бартону дадут». А по телевизору в это время говорят: «Приз вручается грузинскому актеру Рамазу Чхиквадзе».

Все обалдели, включая меня и Наташу!

Вот так я и стал лауреатом ММКФ.

Приплыли мы в Будапешт, там была остановка. Гуляем с Наташей по пристани и вдруг видим в киоске нашу газету «Правда». Тогда же эту газету во всех социалистических странах продавали. А на первой странице — мой портрет!

Так как меня на церемонии награждения не было, то кадр взяли из фильма «Саженцы», где я был изображен в гриме седого старика с бородой. И так вышло, что у меня в тот момент ни копейки денег с собой не оказалось, чтобы купить газету.

Наташа подошла к киоскеру и попыталась ему объяснить, что очень хочет газету и готова ее обменять вот, скажем, на пачку

сигарет.

— А зачем вам так нужна эта газета? — удивился продавец.

— Этот дядя, — говорит Наташа и показывает на фото в газете, — мой муж. Вот он стоит.

И показала на меня. А я стою молодой, мне лет 40 тогда было, в майке, без бороды.

— А ну, аферистка, уходи отсюда, — закричал киоскер.

В итоге приз мне привез режиссер Тенгиз Абуладзе.

На киностудии тогда существовал музей, где хранились все награды грузинских актеров, полученные на международных фестивалях. Зная, что у меня есть медаль Московского международного кинофестиваля, директор музея, моя однокурсница, пристала и стала просить отдать награду в музей. Ну я и отдал.

Года через два вспомнил про эту медаль и решил хотя бы посмотреть на нее. Отправился на «Грузия-фильм», зашел в музей и попросил показать. Меня провели в подвал, открыли сейфовую дверь и протянули почерневшую от времени железку. Подержал я эту жестянку в руках, отдал обратно, да и вернулся домой.

В Грузии всегда были хорошие режиссеры. Один Сергей Параджанов чего стоит!

Он ведь работал в Киеве поначалу, а только потом приехал в Тбилиси. Жил неподалеку от нас с Наташей, мы часто к нему заходили в гости.

Очень был гостеприимный и щедрый человек. Никогда не был особенно богат, но если хотел сделать приятное, мог снять со стены самый дорогой ковер и отдать в подарок.

Я снимался у него в «Ашик-Керибе». Честно скажу, не очень хотел, но Сергей уговорил. Когда я попросил у него почитать сценарий, он удивился: «Зачем тебе это надо? Тем более что никакого сценария и не существует».

Параджанов просто снимал так, как считал нужным в данный момент. И каждый раз у него получался художественный шедевр.

У него ведь и есть-то всего несколько фильмов. Но за границей его имя хорошо известно. Главным образом конечно же из-за его критического отношения к советской власти. Он никогда не держал язык за зубами, а прямо говорил, как ему все здесь не нравилось.

Но при этом представить себе Параджанова, живущего за границей, невозможно. Он обожал Грузию и никуда бы отсюда не уехал.

Сергей был человеком с удивительной фантазией. Мог сочинить что угодно и про кого угодно. Он и про меня всякое сочинял. Умным был человеком, очень начитанным. Иногда даже

удивлял своими познаниями.

Мы с ним очень близкими людьми были.

Его последней работой стал фильм «Исповедь». Он начал снимать, но не успел закончить. Там трагедия произошла: пожар случился, а потом погиб артист. И все остановили. Под конец Сергей сам заболел — рак легких. Хотя никогда в жизни не курил.

Он всегда жил так, как ему нравилось. В Тбилиси у него была квартира в старом доме, где он родился. На третьем этаже было две комнатки и общий балкон, через который надо было зайти внутрь.

Параджанов знал все про старые вещи, про антикварную мебель. Он как-то мне и Наташе предложил: «Пойдемте, у меня есть одна баба знакомая, вы с ума сойдете, какие она вещи продает старинные».

Мы пошли. Эта женщина жила в старом районе Тбилиси. Открываем двери — а во дворе как раз эта баба стоит. Увидела нас и закричала что-то на неправильном грузинском. Потом я понял, что она имела в виду: «Не укради, сынок!»

Параджанов, оказывается, когда приходил к ней, все время что-то воровал.

Мы вошли, а она достала какие-то вещи — старые пуговицы серебряные, монетки. И все на Сергея смотрит, чтобы, значит, он ничего тайком не взял. И постоянно говорит ему:

«Не укради!» Но любит его, поэтому пускает.

Так получилось, что нам ничего в итоге не приглянулось, мы поблагодарили ее и ушли. А по дороге Параджанов запустил руку в карман и достал четыре пуговицы.

Только, может, не надо про это, а то все подумают, что Параджанов вором был. А он не был.

На что жил Параджанов? Продавал какие-то вещи. У кого-то покупал старый ковер, например, и перепродавал его потом.

Ругал постоянно власть. На чем свет костерил Филиппа Ермаша, тогдашнего руководителя Государственного комитета по кино в СССР. И тот ему платил, разумеется, взаимностью.

Помню, я приехал на кинофестиваль в Москву и на пресс-конференции оказался за одним столом с Ермашом. Когда зарубежные журналисты спросили его мнение о кинематографической школе Параджанова, Ермаш возмутился: «О какой школе Параджанова вы говорите? Ее не существует! В Советском Союзе есть школа Эйзенштейна, есть школа Пудовкина. А никакого Параджанова мы не знаем!»

Его же в тюрьму посадили. Официально — за гомосексуализм, Параджанов сам кичился этим. Но я никогда не

видел, чтобы он с какими-то мужчинами был. Мне кажется, он назло это делал, больше говорил. И арестовывали его именно за то, что он никогда не боялся произносить вслух самые крамольные вещи.

Весельчак и балагур по натуре, бывал он и грустным. Представить себе не можешь, каким он был, когда мы его с Наташей последний раз видели. Он сидел на балконе печальный, одинокий, уже словно с печатью близкого конца на лице. Еле-еле говорил, вспоминал о пожаре на съемках. Таким я его видел первый раз.

Параджанов много читал, поэзию любил, особенно стихи Мандельштама. Очень легкий был человек, никогда нос кверху не поднимал. Со всеми был ровным.

Смелый был, ничего не боялся, плевать на все хотел. Ему запрещено было после выхода из тюрьмы в Москву ездить, а он не просто поехал, но еще и пошел в театр на Таганке и стал после спектакля выступать на обсуждении.

А когда заболел, спасти его уже никак не могли. За два месяца он сгорел. Меня тогда не было в Тбилиси. Мы в Чехословакии о его смерти узнали. Даже не знали, что он был болен.

Параджанов очень мои работы любил. Подарил мне корону, которую сам вырезал из жестянки. Положил на торт и принес мне.

Как-то я у него спросил, почему он не начинает снимать. Сергей ответил, что готовит автобиографическую картину.

«А сценарий пишешь?» — спросил я. «Вот сундук видишь? — ответил он. — Это все сценарий».

Я должен был его отца играть. Когда я спросил, что я делаю в кадре, он ответил: «Ты лежишь в гробу». Я сказал, что это очень, конечно, интересно, но не происходит ли чего до гроба? Много смеялись.

Был ли он великий? Конечно. Он же свое кино сделал, это не так легко. Причем такое кино, которое признал весь мир. Только в СССР не признавали.

Он не был таким закрытым, как Тенгиз Абуладзе. Разговорчивый был очень. Начнешь про мебель его спрашивать, так он целую лекцию прочтет, про мастеров старинных расскажет. Очень любил ковры, разбирался в них, объяснял, в чем разница между персидским ковром и турецким.

Хороший юмор у него был, сочинял смешно. Про меня любил рассказывать, как я в Москве сдавал экзамен в Консерваторию.

Я счастлив, что снимался у Параджанова.

Удивительным мастером был Тенгиз Абуладзе. Думаю, он и

сегодня хорошее кино снимал бы. Впрочем, Тенгиз и в советские годы много работал, он не был каким-то страдальцем.

Я у него снимался в фильме «Древо желания». Но самой лучшей его работой считаю «Покаяние».

Да, раньше было совсем другое кино. А сейчас сплошные любовные сцены. Причем все делают так мастерски — то сверху снимают, то сбоку, то на люстре. Я этого не понимаю. Зачем нужно так целоваться, словно хочешь проглотить человека?

Моей первой работой в кино стал фильм «Стрекоза», я тогда совсем молодым был. Так мы сцену поцелуя знаете как снимали? Повернули камеру таким образом, чтобы казалось, будто мы прижались друг к другу, а на самом деле наши лица даже не касались друг друга.

И это, я считаю, было правильно.

Если бы Сталин увидел сегодняшнее кино, он бы все это мигом прекратил.

Я никогда не был сталинистом. Просто несколько раз играя его в кино, встречался с людьми, которые Сталина близко знали, изучал много закрытых документов и понял для себя, что Иосиф Виссарионович вовсе не был таким демоном, каким его принято изображать.

Он был очень умным человеком. Модно писать о том, что он не предусмотрел начало войны с Гитлером. А я уверен, что он прекрасно знал о том, что война будет. Просто не мог допустить провокации. Для этого и не стягивал войска к границе. Да и что бы это дало? Сталин же отдавал себе отчет, что в военном отношении немцам на тот момент не было равных.

Сталин этого позволить не мог. Я играл его в фильме, который как раз рассказывал о жизни СССР до июня 41 года. (Речь идет о фильме Евгения Матвеева «Победа», вышедшем на экраны в 1985 году. — И. О.) Советского посла в Германии играл покойный Владислав Стржельчик. Он говорил Сталину, что война с немцем неизбежна, об этом свидетельствуют и донесения Зорге, и действия самих немцев возле границы. Но Сталин не соглашался. А потом вдруг произносил: «Вы думаете один такой умный? В это просто нельзя верить СЕЙЧАС». Этот кадр из фильма вырезали. А я запомнил.

Зато потом, когда немцев подпустили к Москве, Сталин вызвал сибиряков. И когда вдарили морозы и немцы погибали от холода, наши солдаты у них на глазах обтирались снегом и сводили их с ума.

Такое время было. Мой отец работал в тбилисской консерватории. Когда директора арестовали, отец исполнял его обязанности. После того как начальника освободили из

заключения, папа выразил ему свое сочувствие. А директор ответил: «Нет, они все правильно сделали, это я дураком оказался».

Его посадили за то, что он в компании рассказал политический анекдот. Да, это страшно, когда сажают за анекдоты.

Но ведь таковы были реалии тогдашней жизни, и он об этом знал. Но все равно болтал. Поэтому и винил только себя, а не Сталина.

Наш фильм снимали на подмосковной даче Сталина.

Любопытно, что в то же время там снимались фильмы, в которых представали Дзержинский, Горький, Молотов. Во время перерыва мы все шли в буфет что-то покушать. Все стояли в очереди.

Как только появлялся я, раздавался крик буфетчицы: «Пропустите товарища Сталина!» И меня обслуживали вне очереди. Мне неудобно было — я постою, говорю. «Ничего-ничего, товарищ Сталин. Что вы хотите? Гречиху? Гречиху товарищу Сталину!»

А как-то ехали на машине, я уже был в гриме. В Кунцево нас остановил милиционер. Увидев меня, он закричал и чуть с ума не сошел, так испугался.

Вообще была комедия! Ко мне обращались бывшие военные, которые снимались в массовых сценах. Они строевым шагом подходили и делали доклад: «Мы, товарищ Сталин, врагов били и ваши приказания исполняли!» Мне даже неудобно было.

Матвеев, кстати, в своем фильме не снялся. Он должен был играть генерала, который докладывал Сталину о том, что его сын Яков взят в плен. И не смог отсняться! Начинал плакать. Подойдет ко мне, начинает говорить, а у самого слезы. «Стоп!» — сам себе командует. Так и выбросили эту сцену из сценария.

Много чего могу рассказать. Сталин ведь был очень хорошим поэтом. Его юношеские стихи хвалил Илья Чавчавадзе, наш великий грузинский поэт и просветитель. Несколько сталинских стихотворений даже было напечатано.

Он на самом деле прекрасно писал о красоте. Знаете, какое волшебное стихотворение посвятил розе? Его сейчас в школах учат.

Удивительное дело, но Сталин лично следил за тем, что происходит в кино. Когда ему принесли список картин, которые собираются снимать в Грузии, он лично вписал «Кето и Котэ», популярную тогда оперу. Фильм сняли, только получилась не опера, а музыкальная комедия.

В результате этот фильм Сталину показывать испугались —

вдруг бы он спросил, почему сняли не оперу. Хотя фильм хороший получился, ему бы наверняка понравился.

Я близко дружил с Михаилом Чиаурели, и тот рассказывал мне, как Сталин смотрел его фильм «Великое зарево».

В этой картине роль Сталина играл Михаил Геловани.

В просмотровом зале на даче Сталина собралось все Политбюро, сам Миша сидел на последнем ряду. Наконец фильм закончился, все ждут, что скажет Сталин. А надо сказать, что в этом фильме Геловани изобразил вождя как безупречно положительного человека, просто ангела.

Включили свет, Сталин поднялся со своего места и молча пошел к выходу. Все Политбюро молчит и на всякий случай строго смотрит в сторону Чиаурели. Наконец, Сталин произнес: «Нормальное кино, нужное». И все тут же бросили поздравлять Мишу: «Нужное, очень нужное кино». А Сталин через минуту продолжил: «Только товарищ Сталин не такой красивый. И не такой глупый».

Геловани действительно изображал Сталина этаким живым божеством. Но что вы хотите, таковы были требования времени.

Миша Чиаурели рассказывал, как однажды Сталин вызвал Геловани к себе на дачу. Когда за актером пришли и сказали, что его хочет видеть товарищ Сталин, Геловани не поверил.

И решив, что его разыгрывают, сказал, что готов ехать к вождю немедленно. «Прямо в пижаме?» — спросили у него. «В пижаме!» — ответил Геловани, все еще не веря, что его правда повезут к Сталину.

О том, что все серьезно, он понял только тогда, когда лимузин въехал на территорию строго охраняемой дачи вождя. Но, что называется, уже было поздно.

Сталин сделал вид, что не замечает неподобающей одежды Геловани, и пригласил того к столу, за которым уже сидели другие актеры. Геловани сел рядом с Чиаурели и, выпив несколько бокалов вина, почувствовал наконец себя настолько свободно, что захотел сказать тост за Сталина. Но сколько бы раз он ни поднимался, Чиаурели усаживал его на место, а Сталин делал вид, что ничего не замечает.

В конце концов Геловани не выдержал и прямо обратился к Сталину: «Товарищ Сталин, я хочу выпить за вас, а Чиаурели не дает мне слова сказать!» Сталин посмотрел на Геловани и произнес: «Значит, товарищу Чиаурели виднее!»

Был такой актер — Алексей Дикий, очень хороший.

И однажды ему тоже предложили сыграть роль Сталина. Понятно, что от таких предложений не отказываются. Вот только внешне Дикий был абсолютно не похож на Сталина.

И каких бы усов ему ни приклеивали, сходства все равно не появлялось. Но фильм все-таки сняли, и он вышел на экраны.

Через несколько дней после премьеры на квартиру Дикого явился генерал и сказал, что актера приглашает товарищ Сталин: «У вас есть полчаса, чтобы собраться».

Дикий страшно испугался, что Сталин начнет ругать его за то, как он сыграл. И еще неизвестно, куда его потом повезут из Кремля. Чтобы как-то справиться со страхом,

Дикий решил немного выпить, он вообще любил это дело. Открыл бутылку коньяка, налил себе рюмочку, выпил и сел возле дверей.

Наконец появляется тот же генерал и говорит, что товарищ Сталин занят и встреча переносится на более позднее время. Дикий увидел в этом дурной знак и, ожидая встречи со Сталиным, ту самую бутылку коньяка прикончил. Чего, мол, терять время, когда эта бутылка может оказаться последней в его жизни.

В результате в Кремль он приехал изрядно выпившим. Секретарь Сталина Поскребышев попытался было привести его в чувство, но не успел — Сталин просил пригласить Дикого.

Когда тот вошел в кабинет, вождь сидел за столом и работал. Увидев актера, поднялся ему на встречу и, пригласив к столу заседаний, предложил сесть и сам сел напротив него. Все это происходило в полном молчании.

Через полчаса Сталин вызвал Поскребышева, что-то сказал ему и опять замолчал.

Спустя какое-то время секретарь вошел в кабинет, поставил на стол бутылку коньяка, лимон и два стакана.

Дикий начал успокаиваться — если коньяком собираются угостить, значит, ругать не будут. А Сталин тем временем взял бутылку, налил себе, выпил и закусил лимончиком. Дикий сидит и не знает, что делать. Неужели ему самому надо наливать себе? И это при грузине?

А Сталин наливает себе вторую рюмку, выпивает, закусывает и опять молча продолжает смотреть на Дикого. Только после того, как Сталин выпил четыре рюмки, молчание было нарушено. «Вот теперь мы можем и поговорить», — сказал Сталин Дикому.

Из Кремля Дикий вернулся домой очень счастливым. Оказалось, что Сталину его исполнение понравилось. А пил он один из-за того, что Дикий уже был заметно подшофе. «Как бы мы стали разговаривать — вы пьяны, а я трезв?» — объяснил в конце встречи свое поведение Сталин.

А вообще для актера сыграть роль Сталина означало стать заложником одной роли. Или же ему позволяли играть только

положительных персонажей.

Мне в этом отношении повезло. Мало того, случались и курьезные случаи. Как-то наш театр имени Руставели приехал на гастроли в Москву со спектаклем про Великую Отечественную, в котором я играл роль Гитлера. А как раз в это время на экраны вышел фильм «Победа», в котором я играл Сталина. Причем так получилось, что мы гастролировали на сцене Малого театра, а в соседнем кинотеатре шла лента «Победа».

А я каждый раз, когда приезжал в Москву, звонил Филиппу Ермашу, он очень ко мне хорошо относился. Вот и в тот раз я набрал его номер.

— Филипп Тимофеевич, приходите на наш спектакль, я Гитлера играю.

Он чуть дар речи не потерял.

— Ты что творишь? — закричал в телефонную трубку. — Как ты смеешь?! Ты же только что Сталина сыграл! А теперь люди будут думать, что он такой же отрицательный герой, как и Гитлер, раз его один и тот же актер играет. Я тебе запрещаю играть Гитлера.

Но я, разумеется, все-таки вышел на сцену. Что мог мне сделать Ермаш? Я ему объяснил, что являюсь артистом и даже лягушку могу сыграть.

На родине Сталина не очень почитали, потому что для Грузии он ничего особенного не сделал. Он был умный человек и никого не выделял. Следил, чтобы все было поровну.

Рассказывали, что когда Алексей Толстой писал «Петра Первого», то пришел к Сталину, который попросил документацию, о чем тот собирается писать. Толстой пришел и решил обрадовать вождя: мол, есть данные, что Петр был грузин по отцу.

Сталин пришел в негодование: «Вы что, с ума сошли? Единственный умный царь и того грузином делаете? Достаточно одного грузина. А то, может, вы еще Ивана Грозного грузином сделаете!»

В сталинские времена бывали, конечно, перегибы. Однажды человек не смог осушить литровый рог с вином, хотя тост был провозглашен за Сталина. Отговорился тем, что у него была операция на желудке. А кто-то потом узнал, что операцию тот человек не делал. И написал на него донос: мол, тот так не хотел выпить за Сталина, что даже операцию себе придумал. В результате несчастному дали 8 лет лагерей.

Если бы Сталин узнал, из-за чего этого человека арестовали, он бы наказал всех. Он же страшно не любил подхалимаж. Его самая любимая фраза была, когда он слышал похвалы в свой

адрес: «К делу!»

Можно задаться вопросом: не любил подхалимаж, а как же Сталинград, который в честь него назвали. На эту тему даже Фейхтвангер писал. Он спросил Сталина об этом, и тот ему ответил: «Это не я, это люди придумали. А если им нравится, я не против». Он знал, как важно заставить людей полюбить главу государства.

И мы разве его не любили? Еще как! Что творилось, когда он умер! С какими распухшими от слез глазами шли мимо гроба. При этом никого же не заставляли идти прощаться со Сталиным.

И разве плохо, что любили? Лучше, чтобы презирали, как мы сейчас всех презираем?

Я про Сталина много читал, расспрашивал тех, кто его знал. Да и сам что-то помню.

Мне тогда лет девять было. После того как Сталин стал первым человеком в СССР, его мать из Гори, где он родился, перевезли в Тбилиси и поселили в бывшем Дворце царского наместника на Кавказе. У нее была маленькая квартирка в этом Дворце.

Кстати, женщина очень переживала, что сын так далеко от нее, и даже выговаривала предводителю грузинских коммунистов Махарадзе: «Вот как ты хорошо устроился, а неужели моему Сосо не нашлось бы места в Тбилиси?»

Когда Кеке умерла, то местное начальство ожидало, что на похороны приедет Сталин. Но ему в 37 году было уже не до похорон матери. В результате хоронили Кеке офицеры НКВД.

Я был совсем маленьким, но до сих пор слышу ровный топот офицерских сапог, поднимающихся на гору Мтацминда, где находится Пантеон выдающихся грузин. Топ-топ-топ-топ.

Тема похорон матери неожиданно всплыла в жизни нашей семьи через несколько месяцев, когда мы всей семьей поехали во Мцхету, древнюю столицу Грузии. Для меня это была первая поездка за пределы Тбилиси.

У моего отца, он исполнял обязанности директора тбилисской консерватории, был служебный «Мерседес» — огромный черный лимузин. На подъезде ко Мцхете нам повстречалась арба, которую неожиданно обогнала военная машина с молодым офицером за рулем. Крестьянин, правивший арбой, не смог удержать лошадь, она резко сошла с дороги, и в результате вся повозка перевернулась.

На место происшествия тут же прибыл военный патруль. В качестве свидетеля происшествия в военную комендатуру забрали и нашего водителя. Он потом рассказывал, что молодого офицера, ставшего виновником происшествия, начали

прорабатывать: «Ты еще во время похорон матери Сталина бедокурил. Сейчас, значит, опять?»

Офицер не выдержал, выхватил пистолет и со словами: «Тогда мать Сталина хоронили, а сейчас меня хотите?!» — выпустил себе пулю в висок.

Отцовский водитель потом признавался, что никак не может прийти в себя — у него перед глазами постоянно был покончивший с собой офицер и лужа крови на полу.

В тот раз наш разговор с Рамазом закончился почти за полночь. Провожая меня, он показал свой домашний отель.

И с улыбкой поведал, каково было изумление иностранных туристов, остановившихся во время визита в Грузию в «Берике». За завтраком гости обратили внимание на театральные и киноафиши, которые украшали стены дома. Изображенный на них человек был очень похож на владельца отеля, который завтракал за соседним столом, Оказалось, что в Англии только что демонстрировалась картина «Победа», в которой Чхиквадзе сыграл роль Сталина. А до этого имя грузинского актера не сходило с газетных полос в связи с триумфальными гастролями театра имени Руставели. Англичане были счастливы и готовы, кажется, задержаться в Тбилиси еще на несколько дней.

А потом особняк был продан. И Рамаз с Наташей перебрались в просторную квартиру в новом доме в центре Тбилиси. Когда обустройство жилища было завершено, я получил приглашение в гости. До этого мы поддерживали отношения с семьей Чхиквадзе, я неизменно отправлял актеру свои новые книги.

В просторной квартире на проспекте Чавчавадзе все стены тоже были увешаны фотографиями Рамаза, сделанными на его спектаклях. А особая стена была посвящена рисункам актера, он ведь был еще и художником.

Наташа оформила квартиру роскошно. Павловская мебель, картины на стенах, старинные люстры. Казалось, ты попадал в какой-то дворец.

В большой комнате — рояль. Вообще, когда Рамаз оказывался в месте, где был музыкальный инструмент, он тут садился за него и начинал играть. И как!

На самом достойном месте — модель корабля. Как объясняла Наташа, это был символ их жизни, ведь они и познакомились на палубе.

На овальном столике всегда было угощение. Рамаз говорил мне: «Ты давай объедайся пирожными, а я буду смотреть и тебе завидовать».

Ему сладкое было нельзя из-за болезни. Равно как и многое другое, но он все равно умел находить радости в жизни.

Как он рассказывал о грузинском вине! Каким оно было раньше, как его было принято правильно пить, какие кутежи бывали в Тбилиси его юности. Это была настоящая поэма об утерянном времени.

Как-то Рамаз вместе с Наташей пришли к нам в гости. Во время застолья я рассказал о том, что приступаю к работе над книгой о грузинских мужчинах.

Рамаз тут же откликнулся: «Напиши лучше историю великих грузинских мерзавцев, их было очень много. Хочешь о хорошем? Ну тогда поведай о композиторе Бородине, который был незаконнорожденным сыном помещика Гедеванишвили. Я тебе потом о нем что-то расскажу».

Мы сидели за накрытым столом, правда, сам Рамаз пил только чай. И вспоминал, вспоминал.

— Первый раз за границей я оказался в Румынии, лет 50 назад. Мы о быте не думали, главным было, чтобы прозвучал театр. У меня всегда был страх подвести коллег. На мне же держались гастроли — я играл главные роли. Это было для меня самым важным.

Потом, когда мы гастролировали уже в Англии, к нам за кулисы пришла необычная делегация — клуб поклонников Ричарда Третьего. Они благодарили за то, что мы положительно показываем этого короля. А не тираном и убийцей, как это делали другие. Они говорили, что Ричард был великим королем. Все делал для блага страны.

Вначале я думал, что за границей все хорошо живут и все богатые. А потом увидел, что мы живем лучше. Мы и тратили больше.

В Грузии ведь жили лучше всех в СССР. У нас весна ранняя, и, пока у всех холода, мы уже фрукты свежие едим, зелень роскошная. Да все очень вкусное было. Это сейчас не поймешь на рынке, чье покупаешь — свое или турецкое.

Как вино «Хванчкара» — на прилавках же подделка одна, краску наливают. Ее ведь не больше 100 тонн собирают.

Но мое любимое вино — это «Мукузани».

Грузины всегда умели пить. Много выпивать, большими дозами, стали после войны. До этого отцы наши так не поступали — у них были маленькие стаканы. Потом уже появились чайные, а потом и вовсе противогазы.

Я однажды пришел в гости в компанию, а там смотрю — противогазом пьют. Сначала не понял, что происходит, — стоит посередине комнаты человек в противогазе, а все на него внимательно смотрят. Я даже подумал, что газ, что ли, пустили. А оказалось, ему в «хобот» из лейки льют вино. С очень серьезными

лицами. Ты же через этот хобот дышишь, поэтому пока не выпьешь — не сможешь дышать.

«Готов?» — спрашивают у него. «Готов», — глухо раздается в ответ из-под противогаза.

Когда я спросил, что это такое, мне не дали закончить и напялили на меня этот противогаз. «В чем дело?» — попытался узнать я, но мой голос звучал так же глухо, и ответа я не услышал — мне стали наливать вино.

Пишу сейчас эти строки и понимаю, как же мне повезло. Я сумел застать и услышать откровения людей, которых при жизни называли великими. Актерами, личностями, мыслителями.

Таким был и Рамаз Чхиквадзе.

— Я думаю, что судьба есть не только у человека, ной у страны.

Один философ как-то сказал мне: «Раньше были Византия, Финикия, империя Александра Македонского. А придет время, и о нас тоже будут говорить в прошедшем времени, как о чем-то далеком».

И от этого, действительно, никуда не денешься.

Я последние годы очень много читаю, словно стараюсь наверстать все то, что не успел за время, когда практически жил в театре.

Знаете, как завещал похоронить себя Александр Македонский? Он приказал не складывать ему руки на груди, а положить их открытыми наверх ладонями. Хотел показать, что с собой ничего взять нельзя и он из этой жизни уходит с пустыми руками.

Меня какими только наградами не награждали, даже званием Героя Социалистического труда.

А зачем мне эти медали? Вот думаю, может, кому продать? Все-таки звезда Героя из чистого золота, а ордена Ленина — у меня их два — еще и из платины. Как думаете, нужны они кому-нибудь?

Вообще, что такое счастье? То, наверное, что дается Богом. Он же пускает людей со своей зарядкой, со своим испытанием для каждого. И самое главное — исполнить 10 заповедей.

Вообще, жизнь — трудная штука. Очень!

У меня была очень интересная жизнь. На что я могу жаловаться? Что у нас трудности были? Были! Мы 15 квартир с женой сменили, с чемоданами ходили. Но любили друг друга, и все легко переносилось.

Все случалось. Но у меня была интереснейшая жизнь, я неплохо кутил, неплохо пел за столом, хороший тамада был, рассказчик, на сцене не уставал, энергия была.

Смотрю сейчас афиши и удивляюсь: как все это успевал?

Но если мне предложат: повторишь свою жизнь? Ни в коем случае! Не соглашусь, не хочу.

Я очень не хочу умирать, как каждый человек. Но сейчас каждый день могу умереть, годы уже такие, дураком же не надо быть. Но повторить все сначала.

Если только с этими мозгами и Наташа будет рядом со мной. А так — нет.

От радости тоже устаешь, изнашивается человек от радости.

Моя книга «Судьба красоты. Истории грузинских жен» имела в Грузии определенный успех. После ее выхода мне предложили снять на грузинском телевидении авторский сериал, основанный на книге. Я с радостью согласился.

Так получилось, что заключительный фильм документального сериала «Судьба красоты» мы снимали в театре имени Руставели. Сезон был уже закрыт, актеры находились в отпусках, и театр был абсолютно пуст.

Мне, впервые попавшему в здание легендарного театра через служебный вход, казалось, что я очутился в каком-то сказочном царстве.

Первое, что встретило меня на входе, была огромная фотография Рамаза Чхиквадзе из спектакля «Кавказский меловой круг».

Я, к сожалению, не видел этого спектакля, хотя конечно же слышал о том, что это — одна из самых великих постановок произведения Брехта.

Но я хорошо знал самого Рамаза и потому, взглянув в глаза его герою на театральном фото, словно получил от него привет.

Стоял июль 2011 года. Чхиквадзе оставалось жить меньше трех месяцев.

Мне рассказывали, как в его последнюю зиму Рамаза Чхиквадзе видели в церкви.

Вместе со всеми он стоял в очереди в лавку, чтобы купить свечи. К нему обратились: «Батоно Рамаз, как вы можете стоять в очереди? Пожалуйста, идите вперед».

Но он категорически отказался и дождался, когда придет его черед. А затем, опираясь на палку, прошел в храм, поставил свечи и долго стоял у иконы.

Он был очень серьезно болен. Жена Наташа сделала все, чтобы продлить его дни, — увезла за границу, где Рамаза лечили лучшие доктора. Когда и те оказались бессильны, то прямо сообщили пациенту об этом. Рамаз тут же позвонил друзьям и, как бы сводя все в шутку, как умел только он, сказал: «Ну что, я ухожу.»

Конечно, у семьи и близких все равно оставалась надежда. Но тут не выдержало сердце Наташи. И она ушла первой.

Их отношения — одна из самых красивых историй любви. Которая теперь уже стала Историей.

Со смертью женщины, без которой он не мог провести и минуты, фактически закончилась и жизнь самого Рамаза. Ибо не стало опоры, не стало друга. А вместе с этим не стало и смысла.

Он вернулся в свой обожаемый Тбилиси. Это, наверное, была их единственная поездка, когда они с Наташей летели в одном самолете, но порознь.

Я знал Наташу. Мы были знакомы года три, но я так и не узнал, какое же у нее отчество. И обращался к ней просто — Наташа. Как, собственно, она сама и требовала.

И так ее называли все.

Точно так же, как никто не знал ее возраста. Поговаривали, что она старше Рамаза, но на сколько — оставалось тайной. Которую никто и не пытался разгадать.

Потому что наша Наташа была человеком без возраста.

В какой-то степени я могу назвать Наташу Чхиквадзе своим учителем. Ибо преподанные ею уроки житейской мудрости неизменно оказывались очень полезными.

Как-то летом мы вместе отдыхали в Кобулети. Наташа тогда работала над своими мемуарами. Она что-то зачитывала, просила помочь с редактурой.

Помню, прочла отрывок, в котором один известный грузинский режиссер был представлен в весьма нелицеприятном свете.

— Может, стоит чуть смягчить? — предложил я.

— Я пишу правду, — ответила Наташа. — А правда мягкой не бывает.

Я спросил, придумала ли она для своей книги название.

— Придумала, — ответила Наташа. — Это будет сенсационное название, из-за которого книгу купят во всем мире.

— И какое? — заинтригованно спросил я.

— «Я — жена Рамаза Чхиквадзе».

В тот вечер в ресторане отеля был званый ужин. Гости уже заняли свои места за столом, а Наташа сидела за столиком на улице, курила — с сигаретой она расставалась, кажется, только во время сна — ине торопилась заходить внутрь.

Мне неудобно было оставить ее одну. Мы сидели вместе и разговаривали. Ту нашу беседу я запомню на всю жизнь.

Наташа вдруг принялась рассказывать о своем московском детстве, о встрече с женой президента США Рузвельта Элеонорой, о том, как училась в одной школе с детьми Сталина. Признаюсь,

услышав все это, мне тоже расхотелось идти ужинать. Хотелось вот так сидеть и слушать Наташу.

Но надо было идти. Я помог ей встать и, как королеву, под руку провел в обеденный зал.

Наташа и правда вела себя как королева: как всегда, с безупречной прической, в переливающихся на свету драгоценностях, она ступала, словно именно она (хотя в этот раз было совсем не так) являлась героиней и хозяйкой вечера.

Она была очень яркой женщиной. И звание «жены Рамаза Чхиквадзе» не отодвигало ее на второй план, а, наоборот, казалось, приподнимало над всеми.

Она не выходила на сцену и не играла в кино (только один раз режиссеру удалось уговорить ее сняться), но все равно была настоящей звездой.

И, как непременный спутник любой славы, были разговоры, шепотки, сплетни за спиной и в газетах. Но ко всему этому Наташа относилась по-королевски — делала вид, что ничего не замечает.

Конечно же в тот вечер Наташа села рядом с Рамазом. А мне предложила занять место подле нее.

И во время ужина, когда каждый из гостей считал своим долгом произнести тост в ее честь, мы продолжали говорить. А точнее, Наташа продолжала вспоминать, а я — слушать.

До этого я несколько раз бывал дома у Чхиквадзе и записывал поистине фантастические воспоминания Рамаза. Наташа каждый раз встречала меня, предлагала какое-то угощение, а потом оставляла наедине с Рамазом. А потому это наше общение в Кобулети стало, по сути, началом настоящего знакомства.

В следующий раз я побывал у них дома в ноябре 2010 года. Счет жизни гостеприимной хозяйки пошел уже на месяцы — Наташе их оставалось всего девять. Но тогда никому и в голову не могло прийти, что она так скоро уйдет.

Вообще, в то, что она может умереть, никто и никогда не верил. Она казалась вечной — столько планов у нее было, такое жизнелюбие и уверенность в завтрашнем дне она излучала.

Очень плохо себя чувствовал Рамаз. Как говорят врачи, у него был плохой диагноз. И Наташа делала все, чтобы он как можно дольше оставался рядом с ней.

Когда я оказался в их новой квартире, Наташа провела экскурсию по их уютному дому и призналась, что первым делом она закончила оформлять кабинет Рамаза. Для нее он всегда был на первом месте.

В каком-то старом советском фильме о войне главный герой,

достигший больших чинов и наград, признавался другу, указывая на метровый ряд орденов и медалей: «Половина — моей жены». Рамаз Чхиквадзе может сказать то же самое.

История о том, как великий грузинский актер получал золотую звезду Героя Социалистического Труда — самую высокую и престижную награду того времени — уже превратилась в анекдот.

Чхиквадзе пригласили в Москву, где в Кремле его должен был награждать Председатель Президиума Верховного Совета СССР. По протоколу, присутствие жен в Кремле не предполагалось.

Рамаз с сожалением простился с Наташей и отправился из гостиницы «Москва», где они остановились, на церемонию награждения. Каково же было его удивление, когда из дверей, из которых все собравшиеся ожидали выхода Председателя, первой появилась Наташа, а только вслед за ней — непосредственно награждающий.

И в этом была вся Наташа.

Она могла все. В том числе и невозможное.

Одной из ее величайших заслуг является то, что тбилисский театр имени Руставели сумел объехать весь мир. Безусловно, главным были гениальные спектакли театра. Но тому, что о них узнал весь мир, способствовала и наша Наташа.

При этом она никогда не была этакой «душечкой», «сладкой женщиной».

Во время нашей последней встречи я стал свидетелем их диалога с Рамазом. Все началось с моего вопроса о том, какой же должна быть идеальная спутница жизни художника — актера, писателя, музыканта.

— Жена должна все делать для мужа, — сказала Наташа. — Я лично начала работать косметологом, чтобы Рамаз не разменивался на концерты только ради заработка. Отказалась от научной карьеры, хотя мне предлагали в Москве защищать докторскую. Сделала все, чтобы театр имени Руставели ездил на гастроли по миру. Постоянно отправляла посылки в Госконцерт и Министерство культуры, чтобы там помнили о таком театре. При этом надо было отправить посылки так, чтобы курьеры не пересеклись. Ради того, чтобы Рамаз мог думать только о творчестве, я кормила семью.

— А я что, не кормил? — вмешался Рамаз. — Я зарабатывал.

— 75 рублей в месяц, — ответила Наташа.

— Когда это было? — не сдавался Рамаз. — А потом 3000 рублей.

— А я — 4000.

— Не 4000, а 1800.

— 4000, и это записано в моей трудовой книжке. Можно взять и посмотреть.

— Давно мечтаю на нее взглянуть.

— Рамаз, давай не будем спорить, мы поссоримся. (в этот момент Наташа обратилась ко мне). Понимаешь, просто уже поздно разводиться. Мы же больше полувека вместе прожили.

За диалогом обожающих друг друга людей было забавно наблюдать. То, что они не мыслят жизни поодиночке, было очевидно каждому, кто хоть раз видел Наташу и Рамаза.

Помню, я пришел в их дом, когда накануне вечером Наташе стало плохо и она потеряла сознание. Рамаз признался мне, что до приезда «Скорой» не находил себе места и сам едва не лишился жизни. Тогда, к счастью, все обошлось.

Когда хозяйка дома отлучилась, чтобы приготовить для меня угощение («Таких блинчиков с мясом вы больше нигде не попробуете»), я задал Рамазу вопрос:

— Как можно 50 лет прожить с одним человеком? И все еще чувствовать себя.

— … влюбленным — перебил меня Рамаз. — Не знаю. Мы всю жизнь спорим и раздражаем друг друга. Но это от любви происходит. Я думал об этом. У меня никогда ни одного момента в жизни не было, чтобы она мне надоела. Это счастье. Я был спокоен, столько у меня дел было. И не надо было тратить время на дрязги. А вчера она упала, я чуть с ума не сошел. С ней сидели подруги, и вдруг зазвонил телефон. Она встала и запуталась в шнурах. И ударилась об угол столика. Разбила голову, сознание потеряла, «Скорую» пришлось вызывать. Я чуть с ума не сошел, мне плохо было.

Мы очень редко расставались. Только тогда, когда я шел на спектакль. Если расстаемся на неделю — это уже трагедия.

А что в жизни самое главное? Не знаю. Не могу сказать, что ласкаю ее как-то. Отец у меня был такой человек, что только один раз меня поцеловал. И мать меня этим не особо баловала. И я привык, что лишний раз не поцелую. А вот 50 лет прожили. Не знаю, само собой как-то получилось все.

Наша с Наташей жизнь — это судьба. Конечно. Ну а как иначе воспринять то, что я и мой друг совершенно случайно решили отправиться на пароходе из Батуми до Одессы и обратно, просто так, прогуляться. И в Ялте я увидел двух девушек, одна из которых мне понравилась. В жизни не имел серьезных отношений, чтобы хотел жениться. Женщины были, но одноразовые. Познакомился, пороманировали и все. И тут встретил Наташу. Были большие препятствия, но мы все

перебороли. И всех.

В тот раз я сделал в доме Наташи и Рамаза несколько фотографий. Не предполагая, что это будет их последняя съемка. Удивительно, но даже когда я фотографировал только Рамаза, который показывал свои картины или играл на рояле, Наташа неизменно попадала в кадр. Но при этом она никогда не была его тенью. Она была его отражением.

Это правда была большая история любви. Великая. И если бы я не имел счастье знать ее главных героев, то, наверное, и не поверил, что такое вообще возможно.

Последнее время Рамаз серьезно болел. И смыслом жизни Наташи стало спасти его. К каким только врачам она не обращалась, в какие клиники не возила.

О том, что у нее самой нелады с сердцем, предпочитала не думать. Говорила, что первым делом надо поставить на ноги Рамаза, а потом и о себе будет время позаботиться.

Она даже плакать при нем не позволяла. Лишь спустившись в холл гостиницы в Карловых Варах, где они любили отдыхать, могла позволить своему голосу дрогнуть в разговоре с друзьями. А потом снова поднималась к Рамазу и излучала полнейшее спокойствие и уверенность в том, что все будет в порядке.

Так было и в ее последний день.

Наташа дала интервью. Поводом для него стало увольнение главного режиссера театра имени Руставели. Наташа заступилась за него, хотя у нее к Стуруа было очень сложное отношение. Но она была, как всегда, за правду. И героем ее монолога все равно был ее Рамаз.

А потом сердце, которое так долго боролось, не выдержало.

И Наташи Чхиквадзе не стало.

Она умерла мгновенно. Совсем как булгаковская Маргарита — схватилась за сердце, все.

Через день они должны были возвращаться в Тбилиси. Все врачи мира — а она обращалась к кому только было можно — признались, что бессильны помочь ее Рамазу. И для Наташи смысл жизни был потерян.

Она прожила большую, яркую и, хочется верить, счастливую жизнь. И ушла первая, не увидев самого для нее страшного.

Не забуду, как во время нашей, оказавшейся последней, встречи Рамаз произнес:

— Знаете, больше всего я благодарен Богу за то, что мне удалось жить не просто в двух столетиях и двух тысячелетиях, но между двумя тысячелетними юбилеями Христа.

Об этом почему-то никто не думает.

Все говорят о том, как и сколько заработали долларов, а о

таких вещах не задумываются. А ведь это и есть самое главное.

22 июня 2013 года, день Памяти и Скорби, российский канал «Культура», отметил фильмом «Как дома, как дела?» режиссера Самвела Гаспарова. О жизни молодых ребят во время Великой Отечественной.

Я не видел этот фильм раньше. Когда на экране появился «жепочник» — портной, который шьет головные уборы, — я не мог удержаться от смеха. А потом вдруг понял — да это же Рамаз! И точно, в титрах увидел фамилию Чхиквадзе. Он был на экране всего несколько минут, но именно его герой стал одним из самых ярких персонажей картины. Я смотрел фильм и гордился, что лично знал этого человека.

Сегодня в Тбилиси собираются устроить музей Чхиквадзе, его именем названа одна из улиц, говорят, будет парк.

Для меня же Рамаз Чхиквадзе, великий актер и грузин, живет в своих ролях и рассказах. И воспоминаниях, которые я успел записать.

# Народный маршал. Актер Михаил Ульянов

Его не стало в 2007 году, но о нем помнят. Причем «активно» — коллеги, цитируя высказывания Михаила Александровича и признаваясь, что часто выстраивают свои поступки исходя из того, как бы он их оценил. И конечно же не забывают зрители.

Мне повезло — я был с Ульяновым знаком лично.

Встреча была назначена на девять вечера — в театре как раз должно было закончиться первое действие. Давали премьеру «Дон Жуана». Ульянов, как художественный руководитель, видимо, планировал посмотреть, что получилось.

Это был уже не первый наш разговор с Михаилом Александровичем, и мне позволили самому пройти к его кабинету. Я заглянул — в комнате никого не было. Ульянов, наверное, находился в директорской ложе. Благо, вход в нее был аккурат напротив кабинета худрука.

Наконец объявили антракт. Но Ульянов из ложи не выходил.

Через пятнадцать минут началось второе действие. Ульянов по-прежнему оставался в ложе. «Может, он просто обо мне забыл?» — подумал я и постучал. Ответа не было. Тогда я набрался наглости и заглянул — ложа была пуста.

С Михаилом Александровичем у меня сложились особые отношения. В журнале, главным редактором которого я был, работала художником дочь Ульянова — Елена. Очень талантливый, интересный человек, мы дружили. Через нее, а точнее, благодаря ей договориться об интервью с актером всегда было легко.

В тот раз я тут же набрал телефонный номер Лены и сказал, что Михаила Александровича нет.

«Сейчас придет», — ответила она. И угадала — через минуту в дверях стоял Ульянов.

Он уже не очень хорошо себя чувствовал, и потому, как я потом понял, путь до кабинета занял чуть больше времени. Но на вопросы самочувствия он сам никогда внимания не обращал. Вот и в тот раз, извинившись за опоздание, тут же предложил перейти к делу.

Среди кинороле́й Ульянова моей самой любимой был его председатель колхоза Трубников. Наверное, потому, что мой дед был председателем колхоза. Каждый раз, когда я смотрел по телевизору фильм «Председатель», то невольно отождествлял Ульянова с ним.

Деду, как и ульяновскому Егору Трубникову, пришлось после войны вытягивать на себе колхоз. И то, как Ульянов сыграл свою

(а для меня — дедову) роль, ему нравилось.

Была и еще одна причина, по которой Михаил Александрович в нашей семье считался «своим» человеком. Колхоз, которым руководил дед, носил имя маршала Жукова. А сам маршал был его добрым знакомым.

Для миллионов же зрителей именно Ульянов — это маршал Жуков. Хотя иногда начинало казаться, что маршал Жуков — это прежде всего артист Ульянов. Я лично, просматривая кадры кинохроники, запечатлевшей подлинного Жукова, не раз ловил себя на мысли: «А что, похож на Ульянова». Именно так, а не наоборот. Кстати, дочь артиста как-то призналась мне, что испытывала точно такие же ощущения.

Рассказывают, что когда в одном из городов России возникла идея поставить памятник Жукову, местный скульптор не придумал ничего лучшего, как лепить военачальника с… Михаила Ульянова.

Так и стоит теперь на центральной площади бронзовый Ульянов, у подножия которого выбито золотом: «Великому полководцу Георгию Жукову».

— К тому, что меня воспринимают как маршала, я уже привык, — вспоминал сам артист. — Я ведь играл Жукова почти четверть века. Он меня и на роль утвердил. Когда маршалу сказали, что будут снимать фильм о войне, в котором действует и он, Жуков спросил, кто будет его играть. «Артист Ульянов», — ответили ему. «А-а-а, Ульянов, знаю», — согласился Георгий Константинович. Он ведь театрал был.

Хотя лично познакомиться с маршалом я не успел. Накануне съемок он серьезно болел, и я постеснялся его беспокоить. А потом, когда первый фильм уже сняли и мы приступали ко второму, то надо было напомнить о встрече. Я не стал, хотя потом об этом очень жалел.

А вот на похороны Жукова я ездил. Гроб стоял в Центральном доме армии. День, помню, был дождливым, но народу собралась масса, очередь стояла огромнейшая! У меня был специальный пропуск, но когда милиция видела, кто сидит за рулем, то пропускала меня без проверки.

Я уже привык к тому, что, приезжая за границу — в Аргентину, скажем, или Японию, — неизменно слышал, что, мол, вот и Жуков приехал. Так что маршал давно стал мне близким человеком.

Много читаю о нем, расспрашиваю тех, кто был знаком с ним лично. Его дочери, например, рассказывали мне, что в жизни Георгий Константинович был очень мягок и довольно раскрепощен. Когда Иван Козловский во время одного из своих

выступлений на фронте, на котором присутствовал и Жуков, исполнил песню «Темная ночь», маршал заплакал. И не стеснялся своих слез.

Теперь его обвиняют в том, что он не был политиком.

Я тонкостей не знаю, хотя, казалось бы, знать должен все. Он был жесткий человек. Но ведь и время было такое. Каждое время рождает своих героев. Тому нужен был именно Жуков, который в лоб брал Берлин. Что, он не понимал, что миллионы солдат потеряет? Понимал. Но все равно поступал именно так.

Мне рассказали одну историю. 1945 год. Жуков командует нашими войсками в Германии. И ему докладывают, что прилетает Булганин, которому только что присвоили звание маршала. Аэродром. Садится самолет. Булганин выходит и видит, что вместо Жукова его встречает бледный капитан, который докладывает: «Товарищ Маршал Советского Союза, маршал Жуков просил передать, что штатских он принимает с 9 утра до 10». Тот озверел и на том же самолете сразу улетел обратно.

Жуков мог себе это позволить. Но как его унижали! Его главным врагом был Лаврентий Берия, он хотел «съесть» маршала. И чтобы как-то обнажить Жукова, обезоружить его, забрасывал организованными письмами: «Где вы купили ковер персидский?» То есть его начали обвинять, что он нахапал богатства несусветного. И Жуков был вынужден объясняться. И все это после белого коня на Параде Победы.

Вы, кстати, знаете, почему именно он принимал этот великий Парад? Есть легенда, что Сталин хотел сам принимать парад. Ночью в глубочайшей тайне на ипподроме, куда и муха не могла пролететь, он полез на коня. И упал. И тогда махнул рукой: «Пусть Жуков принимает!» По-моему, вполне правдоподобная история, в духе Сталина.

Иосиф Виссарионович ведь все понимал, он трезво мыслил. Рубен Николаевич Симонов рассказывал, как однажды Сталин на просмотр фильма «Три мушкетера», музыку к которому написал композитор Покрас, живущий в Америке, позвал его брата. Тот сидел ни жив ни мертв, пока Сталин с Ворошиловым смотрели картину. После фильма Сталин, проходя мимо Покраса и попыхивая трубкой, обронил: «Ну что, трепещешь?» И тот упал в обморок.

Кстати, несколько лет назад в одной из книг я прочитал воспоминания младшей дочери маршала. Она довольно нелестно пишет обо мне. Мол, во времена опалы отца даже исполнявший его в кино Михаил Ульянов избегал с ним общения.

Какая глупость! Обидно, что именно так была воспринята моя робость. Но оправдываться, конечно, не собираюсь. Не в чем.

— Михаил Александрович, а у вас есть что-то общее с Жуковым?

— Ничего. Жестокости и беспощадности во мне нет.

Первая моя встреча с артистом состоялась накануне его 75-летия.

Придя на то интервью, я застал Ульянова, что-то обсуждающим с молодым режиссером. Михаил Александрович был категорически не согласен с постановщиком, однако ни разу не повысил на него голос. Вел себя довольно спокойно. Чего не скажешь о режиссере, готовом, кажется, перейти на крик. Постепенно завелся и Михаил Александрович.

Непростой получился у них разговор, я даже начал опасаться за судьбу и нашей беседы. Однако стоило закрыться двери за начинающим постановщиком, как Михаил Александрович дружелюбно улыбнулся.

— О юбилее, наверное, говорить собираетесь? Я вам вот что скажу по поводу лет. В великой истории человек — песчинка, попадающая в круговорот, который либо несет ее наверх, либо уничтожает. Конечно, я понимаю, что мы — кузнецы своего счастья, но до какого-то предела. Дальше ковать не получается, потому что куют за тебя и тобой.

Верю ли я в свою счастливую звезду? Думаю, все-таки есть какое-то предопределение, предначертание в линии жизни человека. От него все и зависит.

— Войну часто вспоминаете?

— Часто. Война обошлась нам настолько дорого, что через поколения память о ней все-таки теплится. Эти воспоминания, эта боль. У нас ведь погибло больше, чем где-либо. Воевали с желанием победить любой ценой. Вплоть до приказа номер 227, более известного как «Ни шагу назад!».

Раны слишком глубокие у народа, они долго заживают. Но, к сожалению, появляется и другая тенденция. Что нам, мол, до той войны, когда она была. Все подвергается сомнению. Мол, и победили-то мы благодаря американцам.

Но это не так. Мы бы все равно разбили немца, пусть и где-нибудь под Уралом. Обидно, что нация, потерявшая пять поколений — тех, кто родился с 22-го по 27 год, которые были вмощены в дороги войны, может так говорить. Я несколько лет назад был участником встречи рожденных в 27 году. На этом году прекратили призыв на войну. И кое-что от этого года осталось. А если попятиться назад — 22–25 годы, — никого нет.

Не забуду, как после объявления о начале войны выпускники моей школы, бывшие десятиклассники, отправлялись на фронт. Причем уходили с улыбкой. Были уверены, что все ненадолго и

они скоро вернутся домой, разбив немцев. Почти никто из них домой не вернулся.

Ужас. Самое страшное, что молодые люди не хотят об этом помнить. Причем не хотят подчеркнуто.

А это уже наука жизни. Режиссер Павел Хомский рассказывал, как их заставляли рыть окопы, а они филонили. Старшина матом орал. А они, молодые солдаты, препирались. А потом танки немецкие прорвались и начали утюжить их, втаптывая в землю тех, кто не вырыл окопы. И живы остались те, кто послушал старшину. Такие простые вроде бы и в то же время жуткие вещи помогают лучше понять жизнь.

Говорят, мол, не надо тратить столько денег на празднование Дня Победы, лучше раздать их пенсионерам. Может, и лучше. Но молодежи надо рассказывать об этом. Говорить о том, что есть такое место, которое называется Родина. Место, где ты должен быть.

Мы народ-то такой — либо распахнем все на свете, либо задушим за копейку. Если мы забудем о страшных годах войны — это будет непоправимо. Нельзя такого допустить.

«Патриотизм» — слово пусть корявое и сучкастое, но очень важное. Надо чтить свои корни. Заметьте, как тянутся сюда дворяне-эмигранты. Старые, больные, а едут в Россию. Потому что «Родина» не просто понятие, что-то в этом есть. Нельзя все время жить по принципу «дай-дай». Когда же отдавать-то будешь?

У нас действительно сейчас нет ни героев, ни лидеров. То, что было дано судьбой нашему Отечеству, с его рабской психологией, рабским трудом в колхозах. Нас ведь все время заставляли сопротивляться самим себе, все было через муку, через кровь, через предательство. Но на этих противоречиях рождался патриотизм.

Да, кого-то заставляли работать, но ведь многие и сами работали честно. На этом и взращивались такие люди, как мой Кайтанов из «Добровольцев». Они верили в то, что делают, и беззаветно отдавали свою жизнь. А сейчас говорят: «Хе-хе, да ладно вам, ничего этого не было». Ничего не «хе-хе», все было честно и искренно.

Раньше патриотизм рождался поначалу из страха. Пугали-пугали человека, а потом он начинал верить. Не случайно же присказка есть «Не за страх, а за совесть». Не рецепт ли это для сегодняшнего дня, думают некоторые. Мол, пусть вначале появится страх, а потом, глядишь, и совесть родится. Так вот я скажу: упаси боже.

Раньше страх наводили ради власти. Все хотели Америку перегнать. А дома в это время ничего не имели. Спортсмен

побеждал на Олимпиаде, а домой возвращался — и ему жить негде было. Хоть сто миллионов заработай, а в свой карман ничего не положишь.

Я помню, в нескольких фильмах в ГДР снимался. Возвращался в Москву — и все деньги у меня отбирали. Говорили, так положено. Все происходило не по душе, все через силу.

Обидно мне было? А как же! Иду по тамошним магазинам, а купить ничего не могу. Надо было повернуться направо, я поворачивался. Налево — налево поворачивался. И в конце концов, как и все советские граждане, нашел какой-то ритм, пристроился.

Сейчас все вроде изменилось. Только вместо законности появилась анархия. Страну-то собрать не могут, сил нет. Все вразнотык. Спросите: что делать? Собирать! Потихоньку, постепенно, но собирать!

Снова стали много говорить о Сталине, сериалы о нем клепают, памятники ставят. Люди устали от бессилия. А при нем вроде был порядок. Но ведь были и лагеря. Все строилось на страхе, который по-прежнему в нас сидит. Не дай бог найдется ему подобный человек и народ тут же пойдет за ним. Это в наших генах. Сейчас уже можно наблюдать, как люди предпочитают позицию «Я лучше промолчу».

В последние годы я дал себе слово не лезть в политику.

Я ведь одно время был довольно шустрый, до члена ЦК партии дорос. Перед самым закатом этого дела. Поверил Горбачеву, в перестройку. А потом вдруг увидел, что все не так. Почему, если я знаю, что дважды два четыре, меня пытаются заставить верить, что получается пять? И я махнул рукой и решил заниматься своей профессией. Сказал себе: «Шалишь! Больше никуда ходить не буду». Хотя нас сегодня не особо куда и приглашают.

Мы же жили другой жизнью. Правда, при этом успевали жить. А сейчас молодежь все время тратит только на зарабатывание денег. Те времена — ужасные и прекрасные — не вернутся. Вырастет новое поколение.

Что его ждет? Над нами же Китай навис. А что мы можем сделать? Ничего. Я только что вернулся оттуда. Потрясает страна. При той нищете, которая там существует одновременно с техническими достижениями.

Стоит ли нам равняться на Китай? А все равно не получится. Плохо работаем. Менталитет у нас такой. Китайцы тоже много разных дел творят, но все-таки подчиняются закону. Или возьмите Америку, которая вся такая свободная. Попробуй там

только сделать то, что запрещено законом!

А наш мужик тут же спросит: «А почему?!» И вдолби ему в башку, что нельзя творить только то, что хочется. Порой надо делать и то, что надо.

Вообще, русского человека есть за что ругать — и за лень, и за водку. Но уж слишком много мы его ругаем.

Ему не дают самостоятельно решать, как жить, все время по рукам ударяют. Я играл в спектакле про Разина по повести Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю». Много читал о Разине. Он, конечно, был разбойник и бандит. Но хотел дать волю. А простой народ тогда жил, как скот, — хозяин мог и продать его, и убить. И вдруг пришел какой-то Стенька Разин, который захотел освободить его.

Про Разина ведь 50 с лишним народных песен написано. А про Пугачева нет, про Петра Первого нет. Народ ведь не такой дурак, как почему-то принято думать. Он видит, кто хочет ему добра, а кто нет.

Про Сталина хотите знать мое мнение? Я ведь его видел, что называется, вживую. Да ив гробу тоже видел. Рассказать? В 1952 году я получил пригласительный билет на Красную площадь на парад в честь 35-й годовщины Октябрьской революции. Мое место располагалось на гостевой трибуне, откуда хорошо был виден Мавзолей и правительственная трибуна.

Торжественная церемония была регламентирована поминутно. Во столько-то Сталин с соратниками появляются на трибуне, во столько-то начинается смотр войск. Все, конечно, было отрепетировано по секундам — парад должен был начаться ровно в 10 часов утра, с последним ударом кремлевских часов.

Но в тот раз строгий регламент был нарушен. Сталин вдруг начал о чем-то беседовать с одним из военачальников, и Красная площадь замерла: команды начать парад не поступало. Казалось, вся страна затаила дыхание. А Сталин спокойно продолжал что-то говорить.

Для меня это стало шоком! Получалось, что один человек сумел остановить время.

Тогда я в полной мере ощутил безграничную власть Сталина.

А через год Сталина не стало. Помню, мы с моей будущей женой отправились в Колонный зал, где для прощания был выставлен гроб с телом вождя. Чудом не погибли — сумели вырваться из водоворота многотысячной толпы. При этом не убежали домой, нет. Кружными путями все-таки добрались до Колонного зала. Правда, уцелели. А сотни людей погибли.

Какие чувства я испытал тогда в Колонном зале? Удивление. Оказалось, что Сталин был обычным человеком, который тоже

смертен.

Я, кстати, играл Сталина. Был такой спектакль «Уроки мастера», который поставил Роман Виктюк. Он шел в вахтанговском театре в девяностые годы. Выводы об Иосифе Виссарионовиче каждый волен делать свои.

Вообще у нас очень талантливый народ. Заметьте, ведь все эти, как их, хакеры-взломщики Интернета появились именно у нас. Так объегорить, как наши, никто не может. Так что должен, должен быть оптимизм. Не может такое государство, как Россия, погибнуть. Хотя оторопь иногда и берет.

— После выхода на экраны фильма «Ворошиловский стрелок» вас начали отождествлять с героем картины, вставшим на защиту поруганной чести своей внучки. Вот, мол, какой наш Ульянов, если что, за винтовку возьмется.

— Я не ворошиловский стрелок. Я тут недавно в одно учреждение пошел с молодым парнем. Так вот я — прошу, а он — требует. Я — клянчу, а он — настаивает. И дело не в том, что он хам или невоспитан. Нет! Просто теперь другая система жизни. И я за ней не успеваю.

Я — человек, проживший уже немало, а по-прежнему, как в те годы, прихожу и говорю: «Спасибо». А нынешние ребята все принимают как должное.

— Как же вы театром управляете? Или он уже перестал быть «террариумом единомышленников»?

— Конечно нет! Да так везде, наверное. Я на днях купил книжку о Жукове. Прочитал там такие вещи! Среди маршалов, оказывается, тоже грызня шла, ужас! Достаточно сказать, что в какой-то момент к Жукову приехали три молодца с обыском. Так он им сказал, что, если они попытаются приблизиться, он их из пулемета расстреляет.

— Ну, там люди власть делили, а в театре-то что?

— В театре? Славу. Делят право выступить на сцене. Сцена — заразительная штука. Отрава! Хочется выйти, удивить, увлечь.

— Это правда, что каждый актер уверен в своей гениальности?

— Не думаю. Они могут сопротивляться замечаниям режиссера, но дома все равно понимают, что проморгали роль. Я, например, всегда знал и знаю, когда у меня получилась работа, а когда — нет.

— Ваше мнение с критикой всегда совпадало?

— В общем, да.

— И когда играли Трубникова в «Председателе», тоже понимали, что вас ждет успех?

— Конечно. С ходу. Я вел дневник этих съемок. И у меня там

только один рефрен: «Не получится. Надо что-то делать. Где найти темперамент?» Я был в искренней панике, уж очень могучей роль была. Еще и потому, что она оказалась ко времени. Потом уже этой картины, этой линии испугались, хоть я и получил за нее Ленинскую премию. Фильм этот, правда, сейчас не показывают.

Кстати, мои родители, которые успели увидеть эту картину, отнеслись к ней довольно спокойно. Я волновался, как им понравилось. А они ответили всего одним словом: «Ничего». Вот так.

— Ваш Трубников был абсолютно бескорыстным человеком. Его деньги в принципе не интересовали. Сейчас таких людей почти не осталось. Это плохо?

— Плохо, ной. хорошо. Хорошо, потому что человек освобожден от уравниловки. Раньше получали 120 рубликов и заработать хоть копейку больше было невозможно. Концерт стоил 5 рублей, съемки — 50. Все, точка! Узнав о том, что я заработал на рубль больше, мне говорили: «Это плохо, хватит!» Я спрашивал, почему. А мне отвечали: «Нельзя, есть распоряжение».

Богатым никто не был и быть не мог. Существовало жесточайшее распределение, пайка. Я был в таких магазинах, куда никого не пускали и только избранным раздавали пайки. За мясом надо было идти в подвал магазина, и там тебе его по блату рубили. Ни дач не строили, ничего! Вы посмотрите на бывшие цэковские дачи. Это же избушки! Все мои старые друзья — директора, руководители — только сейчас начинают строить дачи. Раньше не разрешалось. Все было по распределению-распоряжению.

А сейчас гуляй, Ваня! Ну, он и загулял! А ради того, чтобы гулять, он на все готов. Хоть горло перерезать. Человек, к сожалению, все доводит до абсурда, до крайности.

— И где же справедливость?

— Она есть тогда, когда ты можешь делать все, что хочешь, никого при этом не задевая. Живешь, не мешая другим. А когда человек начинает тянуть одеяло на себя.

Сергей Аполлинариевич Герасимов как-то ставил у нас спектакль, и его любимой присказкой было: «Не надо тянуть одеяло на себя». В чем был ее смысл? Представьте себе: большая семья, одно на всех одеяло. Один потянул — другого оголил. Не тяни на себя! Но не может человек остановиться.

— Когда молодые говорят о прошлом, что, мол, неправильно жило ваше поколение, вас это задевает?

— Нет. Потому что они правы. Ошибка лишь в том, что эти молодые в тех условиях вообще не выжили бы. Они бы сразу

напоролись на вилы, и этим бы все закончилось.

Мы весело жили, 120 рублей получил — и гуляй. А эти ребята деньги зарабатывают. Они ведь счастья-то мало видят. Бегают, как зайцы, ничего не успевают.

— Вы ведь артистом становиться не собирались?

— Совершенно точно. Лет до пятнадцати и не думал о театре. Все произошло отчасти случайно. Как это часто бывает в жизни. Я жил с родителями и сестрой в небольшом городе Тара, где и театра-то своего не было.

Но так случилось, что во время войны в наш городок приехали артисты из Украины. Это была труппа театра имени Заньковецкой из Львова.

Никогда не забуду, как видел на рынке, где я торговал морковкой, актеров этого театра. Они казались мне людьми из иного мира.

В Тару приехала лишь часть труппы. И потому для постановки спектаклей нужны были люди. Так возникла студия, в которую приглашали молодых ребят. Я был в их числе.

И моя судьба определилась.

Помню ли я свою первую роль в театре имени Вахтангова? Ну а как же! Спектакль назывался «Крепость на Волге», я играл Сергея Кирова. До меня эту роль играл знаменитый актер Михаил Державин (отец известного актера театра Сатиры Михаила Державина. — И. О.). Он был болен, а спектакль должен был оставаться в репертуаре.

Как я волновался! Но спектакль прошел хорошо, меня даже поздравляли.

А потом так получилось, что в скором времени наш театр должен был ехать на гастроли в Ленинград, город, которым до своей гибели руководил Киров. Это было очень ответственно — выходить перед ленинградской публикой, хорошо помнившей Кирова, в роли их земляка и вождя. Директор нашего театра придумал ход — сделать мне основательный грим. Он хотел, чтобы я вышел на сцену, а зал воскликнул: «Киров!» Директор был уверен, что после такого эффекта спектакль обязательно ждет успех.

Стали искать гримера, нашли на ленинградском телевидении. Мне сделали очень серьезный грим — щеки, скулы. В итоге я стал похож на какого-то бурундука. Но стоило мне выйти на сцену и, согласно замыслу режиссера, засмеяться — говорили, что Кирова отличал заразительный смех, — как все наклейки на моем лице разом отошли в стороны и стали напоминать огромные уши. Я тут же скрылся за кулисы, где директор резким движением сорвал грим с моего лица. Ничего,

отыграли спектакль. Пусть особого триумфа не случилось, но и провала тоже не было. Вспоминаю иногда.

— Вы что-то не сыграли из того, что хотели?

— Есть чувство, что я еще что-то хотел сыграть, но уже не выйду в большой роли.

— В вашем театре сейчас идут репетиции «Короля Лира». Разве не вы будете играть Лира?

— Нет. Потому что это большая работа. И делает ее человек, находящийся в том возрасте, когда он должен работать. Лира будет играть Максим Суханов.

— Вам это уже не интересно?

— Интересно. Но я боюсь, что у меня уже не хватит сил. Самое худшее, что может быть на сцене, это когда ты видишь, что человек уже в возрасте, а все героев играет. Жалкая вещь. Уходить надо вовремя. Или играть вторые роли. Ничего страшного в этом нет. Играю я Шмагу в «Без вины виноватых» — и ничего!

— И это с вашим опытом и вашими регалиями?

— При чем тут регалии? Был такой актер Борис Смирнов, который после того, как сыграл роль Ленина, стал и в жизни вести себя, как вождь. Однажды он сказал мне, что не может позволить себе ходить без сопровождения. «Почему?» — спрашиваю. «Ты разве забыл, кого я играл», — удивленно ответил Смирнов. Позже я узнал, что он, оказывается, еще и «стучал».

— Вам доставалось от таких людей?

— Нет, Бог миловал.

— Как вы относитесь к тому, что слава проходит? Сегодня ведь мало кто знает, кто такие Щукин, Симонов, Вахтангов.

— Да. Ну и что?

— Не обидно? Забвение ведь ждет и кумиров сегодняшних.

— А вы знаете Бурлака-Андреева? А Гламу-Мещерскую? От музыканта остаются ноты, от скульптора — памятники. А наше, актерское дело — бабочки. От нас ничего не остается. Желтенькие странички газетных рецензий, да и то, если их вырезать и собирать.

— А фильмы?

— Буквально вчера смотрел кусочек старого фильма «Звезда» с Николаем Крючковым. Так все наивно. Ответьте, у вас мобильный телефон звонит. Не стесняйтесь.

— Спасибо, извините, пожалуйста. А у вас есть мобильный? С техникой вообще какие отношения?

— Телефон есть, но не работает. В этом деле я отсталый человек. Бибиси-Телеси. Я, например, совершенно не понимаю, что такое Интернет. Зачем он?

Как-то в одной из газет я прочитал слова Михаила Александровича, обращенные к журналисту: «Вы что думаете, я за прожитые годы каяться буду? Не дождетесь. Каяться надо, если бы я лгал. А я не лгал».

А от него ведь действительно многие ждали покаяния. Как же, и членом ЦК партии был, и на съездах заседал, и звание Героя Социалистического Труда имеет. Все вроде так. Вот только каяться-то в чем? В том, что всегда был любим и востребован?

Об этом мы тоже говорили с Михаилом Александровичем.

— Есть ли у меня ностальгия по тому времени? Есть, конечно. И не только у меня. Она от испуга. Мы ведь жили подпольной жизнью — мясо подпольно по знакомству получали и разговаривали подпольно. Тогда ведь была система кухонных разговоров, все было втайне.

Мне тут один актер сказал недавно: «Слушай, как скучно в театре стало жить. Ни партсобрания нет, ни товарищеского суда. Поговорить негде». Раньше действительно такие громы-молнии метали, такие крики! Сейчас никто не кричит. Шипят в основном.

— А себе цену вы знаете, Михаил Александрович?

— Знаю. Должен сказать, что оцениваю себя не на пять с плюсом. Я ведь живой человек, у меня много недостатков.

Теперь у Михаила Александровича недостатков нет — 26 марта 2007 года артист умер. Болезнь, с которой он боролся долгие годы, в конце концов победила. Как это всегда бывает в жизни. Но Ульянов все равно ушел победителем — когда его провожали, плакал весь театр, весь Арбат, очередь желающих проститься растянулась на всю улицу и большинство не смогло даже дойти до гроба, плакала вся страна — ведь он и вправду был совестью нации. Как и его маршал Жуков.

Осенью 2012 года московский театр имени Вахтангова вспоминал своего ушедшего худрука. В честь 85-летия Ульянова его коллеги сыграли один из самых громких и талантливых спектаклей юбилейного для Михаила Александровича года — «Пристань».

В финале, где на развевающемся белом полотнище, согласно режиссуре, обычно идут фотографии членов легендарной труппы театра, в этот вечер были лишь изображения Ульянова.

Вместе со всем залом дань памяти большому актеру отдавала и его единственная дочь Елена. Я уже говорил, что мы давно с ней знакомы. А потому не попросить ее вспомнить об отце я не мог.

Мы сидели в той самой квартире в доме на Тверской, где долгие годы жил Ульянов и на котором сегодня висит мемориальная доска в его честь. Елена Михайловна вспоминала,

а я слушал ее и пытался представить, каково это — быть дочерью признанного уже при жизни великим артиста.

— То, что мой отец — великий артист, я, пожалуй, никогда не понимала. Я воспринимала отца как отца. Даже какие-то его артистические экзерсисы — работа в театре, игра в кино — на меня никакого впечатления не производили.

Смотрела практически все его спектакли и, конечно, все фильмы. Особенно странно было на спектаклях, потому что ты сидишь в зале, смотришь на сцену, и у тебя мешается образ, который он играет, с папой, которого ты знаешь. Пожалуй, был один спектакль — «Ричард Третий», этакий спектакль-легенда театральной Москвы. Причем держался он много лет именно как легенда, как просто нечто высшее из области театрального искусства.

Отец играл Ричарда Третьего. Вот там перевоплощение было полное. И я в какой-то момент переключалась от того, что на сцене отец, и уже не понимала, где нахожусь.

С кино было то же самое. У меня всегда подсознательно была мысль, что на экране — отец. Смотрела фильм, а сама все время прокручивала — вот здесь вот он сыграл хорошо, а здесь как-то немножко странновато. Я постоянно его редактировала.

И всегда потом говорила ему о своих впечатлениях. У нас было принято, что отец и меня, и маму постоянно звал на все спектакли, на все фильмы — это было обязательно. И потом очень тщательно, очень внимательно слушал наше мнение.

И наверное, прислушивался.

У меня два самых любимых отцовских фильма — «Бег» и «Ворошиловский стрелок». И есть еще один маленький кусочек из фильма Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо». Таму отца ролишка крохотная, но это знаменитый кусок, когда он, калека, цепляется за грузовик и едет за ним под музыку, со знаменем. Вся страна рыдала, и я тоже постоянно плачу, сколько бы ни смотрела.

Особое отношение к себе как к дочери великого Ульянова я начала чувствовать с младых ногтей, как любил говорить папа. Когда я была еще очень маленькой девочкой, то часто болела и потому валялась по больницам. Был ли тогда велик отец, я сейчас даже не могу понять. Нет, наверное, он не был велик, он просто был артистом. Но меня ненавидела вся палата. А палаты были огромные, лежало человек по двенадцать. И лежали там очень подолгу — месяц, полтора месяца. И понятно, это уже был какой-то коллектив. И меня все ненавидели. Ну, не то что ненавидели — завидовали. «Ну конечно, у тебя же папа — актер! Вы же там богачи!»

Хотя мы были нищие, клянусь. На Патриарших прудах был маленький магазинчик, где «выбрасывали», как тогда говорили, ливерную колбасу, и я за ней стояла в очереди. Ну, мы были, может, не совсем нищие, но очень среднего достатка. И продолжительное время. Я уже стала взрослая, и все равно жили как-то очень скромно, потому что все вот эти дачи-квартиры — это же все было государственное, за это же тогда никто не платил. Машина у отца была «Жигули», всю жизнь — «Жигуль» «двойка», такой пикапчик. И вот их он мог менять бесплатно.

То есть в советское время деньги, конечно, имели значение, но не такое существенное, как сейчас. Да, иногда были продуктовые заказы, но чаще всего именно меня посылали в магазины. И я отстаивала эти очереди, ждала, что «выбросят». Никогда не забуду, как стоит толпа у пустого прилавка и ждет, что выбросят из подсобки — кусок сыра ли, чего-то еще, и неизвестно, тебе это достанется или нет.

Все держались на знакомствах. Самый важный знакомый в жизни — это был мясник из подвала какого-нибудь продовольственного магазина. Если у тебя был знакомый директор магазина, ты был просто король и кум королю. Ты шла к мяснику и получала кусок кости с мясом.

Гордились ли мы при этом своей страной? Это вопрос из сегодняшнего дня. Тогда же не было альтернативы. То есть была страна, была родина, и мы в ней жили. И мысль, что можно ею не гордиться. Ну, это Родина, это мать. Вот такая она, мать, что поделаешь.

Когда я подросла, то пошла в школу рабочей молодежи. Была такая знаменитая школа номер 127, которая располагалась за снесенной ныне гостиницей «Минск» на Тверской. Там я первый раз прочитала Булгакова. Мне было 16 лет. Тогда уже появилось издательство «Ардис» — американское, которое печатало книги на русском, появился самиздат, запрещенные книжки друг другу передавали.

И один раз меня застукал отец. Он вошел в мою комнату, а я читала «Собачье сердце».

Я очень хорошо помню эту сцену. Он входит, я лежу читаю. Такой был диалог.

— Что делаешь?

— Читаю.

— Что? И почему ночью?

— Ну вот мне книжку дали только до завтра.

— Какую?

— Булгаков. «Собачье сердце».

— Кто дал?!

Скандала не было, но отец сказал: «Ты имей в виду, что я член ЦК, и ты меня можешь подставить, понимаешь?»

В общем, был такой очень неприятный разговор. Мы потом с ним его вспоминали, и я сама поняла, даже без разговора с отцом — он за меня боялся. Не за себя, а именно за меня.

Он дико за меня боялся. Когда я стала взрослеть и что-то понимать. И особенно когда очутилась в другой среде. Не в среде своей спецшколы для детей дипломатов, французской, которая была напротив театра Вахтангова, а в другой совершенно среде — детей диссидентов, писателей, которые начали меня чему-то учить.

Для меня это был вообще другой мир, когда я попала в школу рабочей молодежи. сильно рабочей. Многие сидели на наркотиках и потом погибли.

Но что я все о себе. Лучше про фильмы.

Для большинства зрителей Михаил Ульянов — это Жуков. Это так. Но отец был великим артистом — мог играть и Жукова в полную силу, и это было настолько убедительно, что вся страна его считала Жуковым и даже уже самого Жукова считали Ульяновым. Отец мне рассказывал смешную историю, как в каком-то городе поставили памятник маршалу Жукову с лицом Михаила Ульянова. И на Красной площади каменный Жуков тоже чем-то напоминает Ульянова, и это жутко смешно.

Но при этом отец мог играть Ричарда Третьего — безумного горбатого подлеца, и мог играть какого-нибудь председателя колхоза. Он просто был грандиозный актер. Говорить «гениальный» про отца нельзя, но то, что он был грандиозный, — это бесспорно. Великий.

Дома он был тихий, мягкий, спокойный, малоразговорчивый. Не замкнутый в себе, нет — мы прекрасно общались, разговаривали, но как-то. Он никогда не трепался, редко веселился, был довольно. не суров, а в общем-то мрачен.

После его смерти я обнаружила записные книжки. Когда стала читать, то с удивлением увидела, как он был вечно собой недоволен. Он был звездой, небожителем, имел все ордена — и каждый раз был собой страшно недоволен. То и дело говорил себе: «Миша, ты недоработал, недотрудился, недотянул, недодумал».

Наверное, поэтому он и был великим, потому что дар, талант бесспорный, некое осенение Господне, сочетались в нем с адовой трудоспособностью. Когда он начинал работать над ролью, то собирал всю литературу о своем герое, какую только можно было собрать, перечитывал все.

Я помню, он Наполеона играл в театре на Малой Бронной у

Эфроса. Кстати, этот спектакль не сняли на пленку, только фотографии отдельные сохранились. Очень жалко, потому что это был грандиозный спектакль, совершенно гениальный и совершенно необычный.

Ну так вот, когда он начал репетировать роль Наполеона, то доставал какие-то книжки 1812 года издания, какие-то редкие рукописи, все это штудировал, изучал. Работал. Когда приходил домой, то обедал и шел к себе в кабинет.

Да, мы на дачу ездили, ной в машине мы с папой учили его роль. Он рулил, а мне отдавал тетрадь с расписанными репликами. Говорил мне: «Подавай реплики». И я ему их кидала, а он отвечал. Если ошибался, я его поправляла. И так продолжалось всю дорогу, пока мы ехали.

Если мы отправлялись в лес за грибами, то он гулял и опять же учил роль. Это было очень смешно. Я ему говорила: «Ты грибы собирал бы». А папа отвечал: «Да-да-да, я все вижу». А сам вдруг начинал произносить текст, в лесу же никто не услышит, а передо мной он не стеснялся.

Так что он сам себя сделал. При всей своей житейской мягкости, мягкости характера. Мама про него говорила: Миша это четыре «эн» — нет, нельзя, неудобно и неприлично.

Это по отношению к жизни. А по отношению к работе это был маршал Жуков.

Родители у меня были легендарные. Папа — Михаил Ульянов, мама — Алла Парфаньяк, известная актриса, один фильм «Небесный тихоход» чего стоит. До встречи с отцом она была замужем за Николаем Крючковым, знаменитейшим человеком. Как отец смог отбить ее?

У родителей было две самых близких подруги в жизни — актрисы театра имени Вахтангова Юлия Константиновна Борисова и Галина Львовна Коновалова. Так вот Галина Львовна Коновалова, которая меня еще из роддома встречала, после ухода родителей стала моей лучшей подругой. Поэтому все рассказы про маму с папой я знаю от нее.

У нас в семье из-за сдержанности отца не очень принято было как-то изливать душу. Не было у нас таких посиделок из серии «А помнишь.». Мы были очень дружны, любили друг друга, у нас была какая-то взаимосвязь, теплота дома, но каждый должен был заниматься своим делом. Меня не допускали, даже когда я стала постарше, до каких-то разговоров между отцом и матерью. Мне не рассказывалось про какие-то проблемы, я уже не говорю про семейные тайны. Многое я узнала от Галины Коноваловой. В частности, историю знакомства отца с матерью.

Мама тогда была звезда в театре, молодая актриса, много

играющая, красотка номер один в городе Москве, шикарно одевающаяся в какие-то невероятные шубки, носящая широкополые шляпы. Сегодня очень много звездочек, звезд.

А тогда их были единицы, фильмов-то выходило на экран мало.

Мама снялась в «Небесном тихоходе», в нее безумно был влюблен Марк Бернес, там была какая-то страсть нечеловеческая. За ней ухаживал Леонид Утесов, Александр Вертинский одаривал своим вниманием. И она просто летела по жизни. Ее мужем был Николай Крючков, великий актер. В общем, она была королевой. И тут появился отец. Мама, кстати, старше его на три года.

А надо заметить, что папа приехал в Москву из глухой сибирской деревни. Именно глухой — я там бывала, так что знаю, о чем говорю. Да, папа успел отучиться в театральном училище. Но он не отесался. И главное, не разбогател. Он был нищ, как церковная крыса. В прямом смысле этого слова. Жил в общежитии и питался либо посылками из дома — это уже папа мне рассказывал, либо ходил на рынок со своими друзьями, молодыми актерами, и пробовал у всех капусту квашеную. У одного попробовал, у другого, у третьей попробовал, у четвертой — ив общем наелся.

В театре он появился в каких-то невзрачных и единственных штанах, какой-то рубашонке — я все это по фотографиям уже потом поняла. И сразу влюбился в маму. Она, естественно, его не замечала. Ну кто же заметит маленькую серую мышь, которая где-то там бегает.

Прошло какое-то время. Галина Львовна рассказывает: «Меня Алла подзывает и говорит: „Слушай, иди-ка сюда. Вон, видишь там, на сцене, парень?" Я отвечаю: „Ну, вижу". Алла спрашивает: „И как он тебе? Никак? А я с ним живу"».

Что она углядела в отце, не знаю. Они долго прожили вместе до свадьбы. И поженились в 1959 году, когда мама уже была беременна мной. Как она поняла его мощь, как доверилась его надежности мужской, как он ее завоевал — история умалчивает.

Отец был безусловно верным человеком. На нем просто крупными буквами с юности написано было, что он как железобетонная стена, на него можно положиться — то, чего сейчас практически у мужчин не осталось.

Была ли у них ревность? Я ее не видела. Он целовался с огромным количеством женщин в кадре, в него была влюблена Элина Быстрицкая, его обожала Людмила Зыкина. Нонна Мордюкова вообще умирала, так хотела быть женой Михаила Александровича.

Мама все это знала. Но, во-первых, она считала себя

королевой, прежде всего внутренне. И потому ревновать к кому бы то ни было ей казалось смешно. А потом, мать же была актрисой, прекрасно понимала, что такое партнер в театре или в кино. Она была очень умной женщиной. Именно — очень умной.

Но в народе, конечно, ходили разные сплетни, слухи. Я однажды поймала такси и говорю: «Мне на Пушкинскую. Там есть дом, где находится кафе „Лира”». Таксист оборачивается: «Да, знаю, актерский, в нем Ульянов живет» Я отвечаю: «Да, наверное». А таксист продолжает: «А вы знаете, у него такой роман с Борисовой! Они же все время вместе!»

Как нужно было на это реагировать? Мы потом посмеялись.

Я сама актрисой не стала. Хотя росла в актерской семье. Естественно, с детства болталась по театру и за кулисами.

И для меня поступление в театральное был нормальным путем, знакомая колея, и мысли свернуть в сторону просто не возникало. Да мне и нравилось это.

Когда пришла пора поступать, меня подозвал отец: «Ты кем хочешь быть?» Не дословно, конечно, так спросил, но суть заключалась в этом. Я отвечаю: «Хочу быть актрисой, папа». А он вдруг произносит: «Ты знаешь, Лена, я считаю, что не надо тебе быть актрисой».

Мы сидели в кабинете, говорили. И так как у меня не было яростного желания становиться актрисой, то я стала прислушиваться к его аргументам. И в итоге поняла, что отец прав. Он не просто сказал «Нет, я не разрешаю», а со свойственным ему мудрым — а он очень мудрый человек был — доскональным, логическим подходом очень четко разложил мне по полочкам всю аргументацию: почему не надо быть актрисой, почему он мне это не советует. И это было настолько убедительно для меня, 15-16-летней, что я с ним согласилась.

Как-то, уже после ухода отца, была о нем передача. Друзья позвонили мне: «Включай телевизор». Я включила и попала на эпизод, в котором шла речь о том, как Михаил Ульянов «испоганил жизнь своей дочери». В качестве иллюстрации этого нелепого вывода телевизионщики представили историю, как я не стала актрисой.

Абсолютная глупость. Да, я стала не актрисой, а художником. И очень этому рада. Все, чего возможно было добиться, я сделала сама, отец мне никогда не помогал. И всю жизнь я говорю про себя: «Папа, спасибо тебе огромное, что ты тогда меня убедил». Потому что из меня бы получилась очень средненькая актриса. Меня всю жизнь сравнивали бы с отцом и всегда — не в мою пользу. И вот тогда жизнь у меня была бы действительно сломана.

Говорят же, что бомба в одну воронку два раза не падает. Хватит одного актера с фамилией Ульянов. Я безмерно благодарна отцу за тот разговор и до сих пор низко кланяюсь ему в ноги.

Какой главный урок преподал мне отец? Сложно сказать. Потому что ничего он мне не преподавал, а основное воспитание заключалось именно в разговорах с ним. Учить он меня не учил — это делай, а это не делай. Нет, я была, конечно, не подарком в детстве, а уж в юности, я бы даже сказала, совсем не подарком. И конечно, он иногда на меня повышал голос, говорил, что я позорю его имя. Но нравоучений не читал, были беседы.

Он вызывал меня в свой домашний кабинет и говорил: «Начинаем проработочку». Не орал, не кричал, а приводил массу аргументов, уходя в какие-то исторические экскурсы, доказывал, что я категорически не права в своем поведении. И я все понимала.

Когда он уже уходил, это был страшный момент в моей жизни. Я была очень близка с отцом всю жизнь. С мамой близости было меньше, хотя у нас сложились прелестные отношения, особенно во второй половине ее жизни. А с папой случилось действительно кровное родство, ниточки какие-то нас соединяли, мы друг друга понимали без слов.

Этого не объяснишь.

Мы долго вместе боролись с его болезнью. В конце концов он оказался в реанимации, куда я приходила постоянно, меня без разговоров пропускали.

Папа уже несколько дней находился без сознания. В тот день я была дома и подумала: надо бы к отцу съездить. Ну просто съездить, постоять возле него. И тут вдруг звонит Лиза, моя дочь, и спрашивает, что я делаю. «Думаю поехать к деду», — отвечаю. Мы его, когда Лиза родилась, стали звать дедом. Она его звала дедулином, а я и мама — дедом, и ему это очень нравилось.

И тут Лиза предлагает: «А поехали вместе». Я даже удивилась — дочь вообще больниц сторонится, у нее к ним какое-то боязливое отношение.

И мы поехали. Пришли, постояли возле его постели.

И тут я вдруг поняла, что он мучается. И неожиданно для себя сказала: «Слушай, пап, ну вот смотри — и Лизка здесь, и я. Да и в целом все хорошо, и правнуки у тебя родились».

Надо сказать, что за три недели до этого Лиза родила двойню — девочку и мальчика.

«Ничего, пап, справимся, иди, не майся.» Сказала все это, мы еще постояли, поплакали и уехали. А через час мне позвонила врач из реанимации: «Все, Елена Михайловна, ушел».

О том, что было потом, помню плохо. Первые полгода после смерти отца — для меня такой белый лист. Как-то жила, что-то делала. А потом родилась идея фонда «Народный артист СССР». И жизнь словно началась заново.

Вообще, после ухода отца у меня такое ощущение, что меня кто-то по жизни ведет. Раньше такого не было, вроде сама и сама. А сейчас чувство, словно плывешь по какому-то течению, и тебя кто-то немножко подталкивает, поправляет, направляет. И вот эта история с фондом.

Где-то через полгода после ухода отца на Патриарших прудах ночью я столкнулась с Александром Филиппенко. Ну, привет — привет. Он спрашивает, как я. Я ответила, что никак. И Саша вдруг предлагает: «А сделай фонд имени отца. Он все-таки это заслужил, наверное». Сказал, и мы разбежались. А потом все завертелось, и еще через полгода я была президентом благотворительного фонда «Народный артист СССР» имени Михаила Ульянова.

Я подумала: отец всю жизнь всем помогал. У него на стене в передней висел такой листик — списочек добрых дел назывался. И там было написано: Иванова — в больницу, Петрова — в санаторий, Сидорову — квартиру, этому — то, тому — се, кому-то билеты, кому-то еще что-то. И так до бесконечности. И он ходил и за всех просил. Только, пожалуй, за меня никогда не ходил, потому что так меня воспитывал. И вот, наверное, единственное, что он мне всегда внушал: «Ты должна быть самостоятельной». Ну, я и стала самостоятельной.

Когда появился фонд, я понимала, что он должен быть артистическим и помогать старикам. Потому что в последние особенно годы старики-актеры мучаются, зачастую у них безумно тяжелая жизнь — я это все видела. И это трагедия для каждого из них, потому что похожую трагедию переживал отец — не в такой степени, как большинство сейчас живущих, но все равно переживал.

Я рада, что могу быть полезной. Не всем, конечно, это просто невозможно. Но если хоть кому-то в этой жизни помогу, хоть немного сделаю ее лучше — значит, все не зря.

И еще, через эту ниточку помощи старикам я чувствую связь с отцом. И, думаю, эта связь взаимна.

# Стать Баланчиным. Братья Андрей и Георгий Баланчивадзе

В детстве их называли Жоля, Люля и Тама. А в метриках они были записаны, как Георгий, Андрей и Тамара.

Они родились в Петербурге в семье композитора, ученика Римского-Корсакова Мелитона Баланчивадзе.

«Интересоваться родословной — такой самоцели у меня не было, — говорил в 1990 году младший из братьев, композитор Андрей Баланчивадзе. — Но кое-что я знаю. Например, что мой дед был священником, что традиционно в нашей семье передаются по мужской линии имена. Одно время меня интересовало происхождение фамилии Баланчивадзе. Я узнал, что очень далекие наши предки на протяжении нескольких поколений служили при царском дворе шутами. Как впоследствии выяснил академик Шанидзе, эти люди назывались «баланчи». Вот, наверно, отсюда и пошла наша фамилия. Кроме того, известно, что эти наши предки были, как бы это мягче сказать, уродливыми, у многих из них была неправильная челюсть. Это передавалось из поколения в поколение, даже и у меня это заметно. Ну, а потом все-таки предки наши были артистами. И это унаследовано тоже».

Когда мне рассказали, что в Тбилиси живет племянник великого Жоржа Баланчина, первого хореографа XX века и фактически создателя американского балета, конечно же мне захотелось с ним повстречаться. Джарджи Баланчивадзе на встречу согласился, но первые минуты разговора был довольно строг.

— О чем вы хотите говорить? — спросил он меня, едва я переступил порог квартиры его отца, известного грузинского композитора Андрея Баланчивадзе, где жил и сам Джарджи.

— Если обо всем, то разговора не получится. Так ведь и об охоте можно разговаривать, и о футболе. Вы извините, если я покажусь вам излишне строгим, но мне разные журналисты встречались. Одних я вообще чуть ли не с лестницы спустил. Пришли со мной разговаривать о Жорже Баланчине, а сами ни одной его постановки не видели. А начали интервью с вопроса о том, чем живопись отличается от музыки. Ну это они на мои работы — видите, ими увешаны все стены этой комнаты — посмотрели и решили соригинальничать. Ладно бы еще спросили, что общего у музыки и живописи.

А так что им ответить? Что музыку слушают ушами, а

живопись воспринимают глазами? Так я им и ответил.

А потом и вовсе предложил прекратить разговор.

Хозяин квартиры был, кажется, приятно удивлен, что меня интересует не только его великий дядя, но и отец. Действительно, интересно же было узнать о семье, которая явила миру сразу двух гениев: хореографа и композитора. И с кем было говорить о Баланчивадзе, как не с их единственным племянником и сыном.

— Начну тогда с деда, он был выдающимся певцом, — начал свой рассказ Джарджи. — У него был превосходный баритон. Один из друзей Мелитона, великий философ Владимир Соловьев, просто влюбился в Грузию благодаря народным грузинским песням, которые ему пел дед. Это потом уже Мелитон начал писать музыку.

Мелитон Баланчивадзе сочинял оперы, которые ставились в Петербурге; общался с Антоном Рубинштейном, подарившим ему свой рояль, и вошел в историю как издатель писем Михаила Глинки. Деньги на издание он. выиграл в лотерею.

— Вообще, это довольно комичная история. Билет принадлежал его жене Марии Николаевне, которая по отцу была немкой. Правда, фамилию она носила материнскую, Васильева. Она долго хранила билет, хотя и не надеялась на выигрыш. Но сам билет тоже что-то стоил. И когда у молодых наступили совсем уж нелегкие времена, Мелитон высказал предложение билет продать.

Получив согласие жены, пошел в банк и сделал это.

А когда вернулся домой, то случайно увидел газету с таблицей розыгрышей. Он сопоставил записанный заранее номер билета с результатами и обомлел — именно на только что проданный за копейки билет выпадал самый большой выигрыш в 200 тысяч рублей.

Надо заметить, что Мелитон был довольно активным человеком и немедленно отправился в банк, в надежде, что там только что вышедшую газету могли и не просмотреть. В банке он заявил, что передумал и не такое уж у него катастрофическое положение, чтобы продавать билет. И попросил вернуть его назад. Самое удивительное, что билет ему вернули.

Большую часть денег он отдал в Русское музыкальное общество, чтобы напечатать письма Глинки. И попал за это в энциклопедию. А оставшиеся деньги, по советам друзей, вложил в тигельный завод. И опять-таки в энциклопедии можно прочесть, что первый в России тигельный завод был построен на средства Мелитона Баланчивадзе. Но дед быстро разорился. Он же ничего в этом не понимал. Мало того, что стал банкротом, он еще и в долговую тюрьму угодил».

В итоге от громадной суммы не осталось ничего. Не считая лошади, которую Мелитон успел приобрести. Как-то композитор ехал на ней по Петербургу. Неожиданно, проезжая мимо играющего оркестра, лошадь начала танцевать. Потом выяснилось, что Баланчивадзе купил животное, которое раньше служило в цирке.

У него были знакомые в Финляндии, он купил большую дачу в деревне. Но мы только в американской книжке эти фотографии видели. Замечательное место. Кажется, оно и сейчас нам принадлежит, так как оно было записано на имя бабушки. Но мы не делаем попыток вернуть. Сам Баланчин там наверняка хоть раз побывал. Не мог он не съездить в место, где провел все детство.

Судя по сохранившимся письмам Мелитона Баланчивадзе, которые он из Грузии писал жене в Петербург, отношения с деньгами у него не складывались.

В письме от 3 мая 1911 года он писал из Тифлиса, объясняясь после очередной финансовой неудачи: «Когда человек делает ошибку и для исправления этой ошибки он делает еще большую ошибку — этим неминуемо ведет себя в водоворот еще больших ошибок. И вот со мною случилось то же самое и несу справедливое наказание за свои ошибки. Разве не наказание для человека находиться далеко от своей семьи и ежеминутно думать: не случилось ли что-нибудь нехорошее с ней?.. Разум мой все это напоминает постоянно и упрекает и в это время хочется головой удариться обо что-нибудь твердое, чтобы размозжить ее, но в это же время внутрений голос, тот голос, который привел меня к ошибкам, успокаивает и уверяет, что все переживаемое пройдет. Ты только не волнуйся, Гогошенька, ибо это у меня отнимает энергию. После твоего письма не имею покоя. Конечно, сделаю так, как ты пишешь: что только заработаю, ничего себе не оставлю. Моя природа совсем не создана для того, чтобы иметь денег, и они мне лично совершенно не нужны».

В 1917 году Мелитон Баланчивадзе окончательно переехал в Грузию, оставив на время семью (жену, тринадцатилетнего Георгия и одинадцатилетнего Андрея) в Петрограде.

— Отец Мелитона был губернатором Имеретии, это регион Грузии. Около Кутаиси есть музей прадеда, а на церкви, им построенной, написано его имя.

Мелитон больше был человеком артистического направления. Любил жизнь, остроумный был очень. Написал много романсов, но главное — был основателем первого грузинского хора.

Сыновья Мелитона тем временем исправно писали отцу о своем житье-бытье, по-мальчишески украшая подписи в конце письма витиеватыми росчерками.

В доме Джарджи Баланчивадзе хранится переписка Мелитона с женой и детьми, из которой можно составить документальную хронику жизни семейства в роковой 1917 год.

Именно тогда произошло первое разделение семьи между двух миров — свободного и коммунистического. Теперь им так и предстояло жить: кому-то выслушивать гимны, а кому-то наслаждаться вольными напевами.

23 октября 1917 года Андрей и Георгий сообщали отцу в Тифлис:

«Дорогой папенька!

Прости, что давно не писали тебе. Сообщаем тебе печальную новость: артист Андрианов умер от скоротечной чахотки, он лежал в Крыму в Алупке, его там и похоронили. К Андрею ходит Алина Карловна, и он учится музыке и уже изучил одну сонату Бетховена, она берет за урок столько, сколько брала раньше — 1 р. 50 к. Мы были один раз в Мариинском театре на «Демоне».

Мама хочет поехать на Кавказ после Рождества. Пока до свидания. Мы тебя крепко целуем и остаемся любящие тебя твои сыновья Андрей и Георгий».

Месяц спустя «любящие Георгий и Андрей» писали: «Дорогой папенька! Дела у нас по учению идут хорошо и скоро уже будут четверти. Мама хочет двинуться на Кавказ после Рож. Христ. За Андрея потому что заплачено за полгода 90 руб. Георгий учит пьесу на рояле (польку Рубиншт.), а Андрей разучил сонату Бетховена, а после сонаты будет учить Шуберта, ту пьесу, которую ты играл. Мама покупает резиновые подошвы, и мы теперь сами починяем калоши, это гораздо выгоднее и дешевле. Папенька, кто это на Кавказе распространил слух, что как будто бы Георгий — композитор, сочинил много пьес и что он отличный музыкант, а это неправда. Потому что когда мы приедем на Кавказ, все нас будут просить играть, а мы ничего особенно играть не умеем. Так ты, папенька, скажи всем, что это мы играем только для себя. А пока всего лучшего».

Глава семейства отвечал из Грузии 12 ноября 1917 года: «Жена и дети мои дорогие. Как вы поживаете в это скверное время? Читаем о невероятном варварстве одичавших людей. Как хорошо было бы, если бы вы выехали из этого проклятого города, когда я вам писал.

Я ведь предвидел все это. Теперь, конечно, очень трудно будет оставить Петроград, но если как-нибудь случилось бы, хорошо было бы. У нас ничего подобного не может произойти, потому что Тифлис и Кутаиси охраняются нашими полками. Кое-какие вещи можно оставить в Петрограде, о них можно подумать после. Здесь я вас хорошо устрою. И общество наше хочет, чтобы

вы были со мною.

Я никак не мог представить, что меня так хорошо примут после столь долгого отсутствия. Теперь настало время большой работы. Одним словом, вам будет хорошо.»

Семье Баланчивадзе удалось воссоединиться в Грузии в 1918 году. Поселились в Кутаиси, где Мелитон организовал музыкальное училище, которое сегодня носит его имя. В этом же училище по классу виолончели учился его младший сын Андрей, впоследствии — известный грузинский композитор, автор четырех фортепианных концертов, четырех симфоний, трех опер и двух балетов.

Но все же самым знаменитым представителем семейства стал Георгий Баланчивадзе, для всего мира — Жорж Баланчин. В 1918 году он был единственным, кто остался в Петрограде, так как учился в театральном училище.

Вообще, поступать туда должна была сестра Тамара.

А братья — Георгий и Андрей — пошли в училище вместе с ней просто так, за компанию. Пока сестра сдавала экзамены, мальчики сидели в коридоре. Там-то их и заприметил знакомый отца, который предложил Георгию тоже пройти испытания. И, как это часто бывает в классических сюжетах, Тамаре отказали, а Георгий был принят. «Меня засунули в училище», — вспоминал Баланчин годы спустя в разговоре с писателем Соломоном Волковым.

Как потом рассказывал Андрей Баланчивадзе, ни один предсказатель не мог бы выдумать, что Жорж будет связан с балетом, так как мальчик его терпеть не мог.

Будущее Георгия все видели в кадетском корпусе, к поступлению в который его готовил дядя. А потому учеба в императорском училище стала для него поначалу полной неожиданностью, а затем и мучением. Первым делом мальчика остригли, а затем принялись за его манеры. Баланчивадзе сравнивал училище с адом.

В итоге через неделю Георгий сбежал. Но тетка, у которой он думал укрыться, сообщила обо всем родителям мальчика. И Баланчивадзе пришлось смириться и вернуться в училище.

По выходным он приходил домой, в родительскую пятикомнатную квартиру. Вместе с братом Андреем, который учился в реальном училище, они играли в четыре руки на рояле.

В императорском училище, которое после революции именовалось просто Петроградским хореографическим училищем, Георгий учился до 1921 года, а затем поступил в Мариинский театр. О его успехе в балете «Щелкунчик» Андрею Баланчивадзе годы спустя с восторгом рассказывал Дмитрий

Шостакович. Выдающийся композитор вспоминал, как толпа поклонников ожидала Георгия у служебного входа. А когда он вышел, подняла его на руки. По словам Шостаковича, он сам едва успел дотронуться до ноги будущего великого хореографа.

В 1923 году в Петроград приехал Мелитон Баланчивадзе, занимавший в советской Грузии пост начальника музыкального отдела народного комиссариата просвещения. Эта встреча сына с отцом оказалась последней.

Начало двадцатых годов было голодным временем в Петрограде. Вместе с друзьями Баланчивадзе лазал по крышам, ловил голубей и готовил из них обед. Выживать удавалось благодаря выступлениям с танцевальными номерами в цирке, за которые выдавали порцию крупы и кусок сала. Самым роскошным гонораром считались несколько кусков сахара.

Через какое-то время при помощи наркома просвещения Луначарского труппа «Молодой балет», созданная Георгием Баланчивадзе, получила разрешение выехать на гастроли во Францию. Одним из десяти членов труппы была жена молодого хореографа Тамара Жевержеева, дочь богатого петроградского предпринимателя.

Судачили, что отец девушки расположился к бедному танцору после того, как Баланчивадзе сыграл ему на рояле Вагнера. После свадьбы молодые поселились в огромном доме Жевержеевых на Графской улице в Петрограде. Правда, оказавшись за границей, Тамара рассталась с Георгием и начала карьеру актрисы.

А на Баланчивадзе в Монте-Карло обратил внимание Сергей Дягилев и предложил поставить что-нибудь для его труппы. При этом, узнав, что Баланчивадзе болен туберкулезом, Дягилев дал ему деньги на лечение в швейцарском санатории. И посоветовал несколько изменить сложную для восприятия иностранцами грузинскую фамилию и стать просто Баланчиным.

Если на новую фамилию хореограф согласился немедленно (теперь даже Тамару Жевержееву на афишах заявляли, как «Жеву»), то для того, чтобы начать сотрудничество с Дягилевым, ему, уже привитому вирусом «хомо советикуса», хотелось заручиться разрешением. Георгий отправил в Москву телеграмму с просьбой продлить его заграничную командировку.

— Ответом из России стала телеграмма: «Приезжайте нести ответственность», — рассказывал племянник Баланчина Джарджи. — И Георгий, поняв, что это означает, решил не возвращаться. Хотя подобное решение далось нелегко — он же оставил здесь всю семью. Первое время какая-то переписка между родными еще сохранялась, бабушка всегда интересовалась через

кого можно, как там сын. А сам Джордж присылал ей открытки с просьбой благословить на очередную женитьбу. Но потом все общение прекратилось.

Победы у Баланчина начались далеко не сразу. Несмотря на явный успех балета «Блудный сын» на музыку Прокофьева, Париж его не принимал. Этот город любил людей с именем. Дягилев хорошо относился к Георгию, но у него были свои любимцы — Сергей Лифарь, Борис Кохно. Их он приглашал в кафе, а Баланчина отправлял в музей смотреть картины Боттичелли. Потом они встречались — сытый Дягилев выходил из кафе, а голодный Баланчин из музея. «Ну как, ты понял что-то?» — спрашивал Дягилев. «Ничего я не понял, не понравилось мне», — отвечал Баланчин.

А потом он встретился с Кирстейном, который предложил ему ехать в Америку. Встреча состоялась благодаря Брониславе Нижинской, хореографу и сестре великого танцовщика Вацлава Нижинского. Бронислава предупредила Кирстейна, что Баланчин болен и ему осталось жить максимум три года. В 1933-м американец сделал все, чтобы Баланчин уехал в США.

— Там к нему пришел безусловный успех. Он очень много трудился, делал ставку только на работу. Не отказывался ни от каких предложений, ставил даже танцы для слонихи в цирке. (Музыку для этого номера по просьбе хореографа сочинил Игорь Стравинский. — И. О.) О Баланчине все больше и больше говорили. Первое время после Второй мировой войны в Тбилиси приходили американские журналы, в которых мы видели упоминания Баланчина.

Отец мировой славы сына, увы, не застал. Мелитона не стало в 1937 году. Незадолго перед смертью он был награжден одним из главных советских орденов — орденом Трудового Красного Знамени.

К тому времени композитор уже был признанным советским мастером. В 1934 году в Грузии состоялось грандиозное чествование 50-летия композиторской деятельности Мелитона Антоновича. Была даже создана специальная юбилейная комиссия, почетным председателем которой стал ближайший помощник Лаврентия Берия — Эрик Бедия.

29 апреля 1934 года в Тифлисском государственном оперном театре состоялся большой торжественный вечер, на котором была исполнена опера «Тамар Цбиери». В городской типографии были отпечатаны 300 юбилейных буклетов, в которых на двух языках — грузинском и русском — описывался творческий путь Баланчивадзе. Автором статьи был ректор Государственной консерватории Давид Аракишвили.

Среди прочего, он писал:

«... Справляя юбилей, правительство и советская общественность отмечают выдающиеся заслуги композитора Мелитона Баланчивадзе на музыкальном фронте. Мелитону Баланчивадзе выпало на долю редкое счастье: положить первые камни в фундамент груз. худ. музыки и затем с гордостью наблюдать, как на протяжении 50 лет здание росло и развивалось».

Грузинский композитор почти два десятка лет прожил при новой власти. И, казалось бы, сумел привыкнуть к новым порядкам и требованиям. В архиве Государственного музея музыки, театра и кино Грузии хранятся его письма, написанные в стиле советских документов — сухим, казенным языком.

Строки из его письма в Совнарком Грузии:

«Художественно-научное значение грузинского музыкального народного творчества неоспоримо, оно признано во всем СССР: являясь продуктом коллективного творчества, сопутствующим трудовым процессам, грузинские народные песни, кроме вышесказанного, весьма важны для художественного просвещения трудящихся масс, в особенности городского пролетариата, до сих пор питающегося суррогатами музыки.

Мной текущим летом организуется специальная комиссия в составе меня и двух ленинградских молодых спецов для собирания образцов грузинского музыкального народного творчества по Гурии, Аджаристану и Абхазии.

Докладывая о вышеизложенном, прошу распоряжения об ассигновании 1200 рублей».

И это после изысканной переписки с Музыкальным обществом Петербурга и писем к друзьям, сопровождавшимся неизменными «милостивый государь» и «прошу принять уверения в моем искреннем почтении».

Теперь и он получал совсем другие письма. В том же архиве хранится письмо-поздравление по случаю награждения Баланчивадзе советским орденом.

«Детское Село 18.1.37

Дорогой Мелитон Антонович!

Я не могу не выразить свою радость и восхищение по поводу получения Вами высокой награды Ордена Трудового красного знамени от нашего Рабоче-Крестьянского правительства.

Тридцать лет прошло с тех пор, как Вы знали семью садовника Архипа Семеновича. Я его старший сын Сергей — сейчас майор артиллерии РККА.

Когда появилась Ваша фотография и имя на страницах нашей печати, меня, патриота дорогой, необъятной родины охватило

такое теплое чувство, будто не Вы, а я сам получил эту высокую награду, эту высокую честь. Только на нашей родине так чтимы таланты, только в Сталинских условиях они растут и развиваются не имея предела своей красоты.

Пусть орден, украшающий Вашу грудь, даст новые, свежие, творческие силы. Пускай Ваша музыка в самых ярких красках отразит нашу неповторимую эпоху.

Вместе с Вами поздравляю и все Ваше семейство, моих друзей детства. В 1924 году я имел счастье встретить в Ленинграде Георгия Мелитоновича, с тех пор его не видел.

..Уважающий Вас Семенов.

P. S. Я не знаю Ваш адрес, но уверен, что орденоносца мое письмо найдет».

Официальной причиной смерти Мелитона стала болезнь. У него были проблемы с ногами, но от операции он категорически отказался. Сыну Андрею он признавался, что не боится смерти, так как для него она — не старуха с косой, а прекрасная девушка, которая берет в свои объятия. Хотя, возможно, 74-летний композитор просто устал жить в чуждом для него мире.

За детей он мог быть спокоен — Георгий уже становился успешным хореографом в Америке. А младший Андрей — известным композитором. Его Первый концерт для фортепиано с концертом в 1934 году был исполнен пианистом Львом Обориным и сразу стал событием.

Андрей Баланчивадзе окончил Ленинградскую консерваторию. В конце жизни он с улыбкой вспоминал, что в двадцатых годах там училось столько грузинских студентов, что преподавателя консерватории композитора Александра Глазунова даже хотели переименовать в Сандро Тваладзе («твали» — по-грузински «глаз». — И. О.), а саму консерваторию причислить к филиалу тифлисской.

Довольно быстро Андрей стал известным композитором, и сталинские репрессии тридцатых годов напрямую его не коснулись.

— Почему папу пощадили? — рассуждал Джарджи Баланчивадзе. — А тогда как раз начался национальный подъем, и у каждой республики должно было быть свое громкое имя. Так получилось, что в Грузии именно отец был главным композитором. Он был профессором консерватории и лауреатом всех премий. Лично со Сталиным не встречался, но однажды был представлен на соискание Сталинской премии второй степени. Сталин, подписывая указ, спросил, кто это. Ему ответили, что Баланчивадзе — выдающийся грузинский композитор. «Тогда почему вторая премия?» — возмутился вождь и, перечеркнув,

написал от руки: «Первая степень».

Хотя конечно же не все было так безоблачно. Часто враги пытались уколоть отца тем, что его родной брат уехал за границу. Мало того, иногда Баланчин выступал по радио с критикой СССР. Вот тогда нам совсем было худо. Меня и в комсомол не приняли. Хотя я говорю, что это, наоборот, помогло мне не стать комсомольцем. Я к этому никогда и не стремился».

— А меня почему-то приняли, — вступила в разговор зашедшая в этот вечер к Джарджи его родная сестра Цискари Баланчивадзе, бывшая солистка Тбилисского театра оперы и балета балерина. — При том, что я полную ерунду на собеседовании говорила. Меня спросили, кто второй секретарь ЦК компартии Китая. А я только одну китайскую фамилию знала — Ли Шан Фу, персонажа из балета «Красный мак», ее и назвала. А меня взяли и приняли. Хотя, может, поэтому и приняли, когда поняли, что я в политике ни бум-бум.

Сам Андрей Баланчивадзе сумел, возглавляя Союз композиторов Грузии, долгое время не вступать в члены КПСС. При этом оставался большим патриотом и верил в то, что страна развивается.

— Особенно его патриотизм проявился во время войны, когда отец написал очень патриотическую симфонию, — говорит Джарджи Баланчивадзе. — Это произведение возымело такой же эффект, как Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Потом в Тбилиси отцу поставили условие — если он хочет и дальше оставаться во главе Союза композиторов, то должен вступить в компартию и для этого всенародно отречься от своего брата. Но папа отказался и сделал это довольно смело. «В такую партию, которая требует отречения от собственного брата, я не пойду».

В 1990 году в интервью газете «Заря Востока» Андрей Мелитонович вспоминал, что все-таки написал заявление о приеме в партию. «На собрании меня все хвалили, пока один из присутствовавших не поднялся: «У вас что, глаза закрыты? Да ведь Баланчивадзе — брат белоэмигранта, мерзавца!»

На одном из собраний Андрею Баланчивадзе поручили выступить с осуждающей речью в адрес Шостаковича. Он внимательно выслушал «поручителей», а затем поднялся на трибуну и назвал Шостаковича «великим композитором». Этот случай стал началом близкой дружбы двух музыкантов. Хотя их первая встреча состоялась в 1927 году.

«. Познакомился с талантливейшим музыкантом, будущим колоссом Шостаковичем, — писал Андрей родителям из Ленинграда. — Ему только 21 год, он кончил консерваторию. Ему предложили там преподавать, но он отказался и сейчас преподает

в техникуме партитурное чтение, я буду, наверное, у него заниматься».

Не было ни одного дня рождения Андрея Баланчивадзе, утро которого не началось бы с поздравления Дмитрия Шостаковича. Русский композитор часто приезжал в Грузию, а в дни, когда его травля достигла наивысшей степени, укрывался в доме Баланчивадзе в Тбилиси.

И в более поздние годы Андрей не растерял своей смелости и остроумия. Как-то к нему пришли подписывать письмо против Бориса Пастернака, чей «Доктор Живаго» наделал много шума во всем мире. Баланчивадзе внимательно посмотрел на пришедших: «Это ведь запрещенная книга?» И, услышав утвердительный ответ, продолжил: «Я запрещенных книг не читаю. А вы?» В итоге незваные гости ретировались ни с чем.

— Папу вызывали в Москву на все пленумы и съезды композиторов, хотели, чтобы он выступал с речами. Он умел говорить. Близко дружил с Тихоном Хренниковым, Георгием Свиридовым, к нам в Тбилиси регулярно приезжали Дмитрий Шостакович, дирижер Александр Гаук — он хорошо поставил отцовский балет «Жизнь», который сразу после войны шел в Большом театре.

Дружил с поэтом Сергеем Городецким. В Петербурге отец учился у Марии Вениаминовны Юдиной. Сейчас она объявлена великой русской пианисткой, а тогда случались моменты, что она и рубль просила. Она часто бывала в Тбилиси и один раз даже играла у нас. Помню, утром меня разбудила музыка Бетховена — это Юдина сидела за роялем.

Судьба родной сестры Георгия и Андрея Баланчивадзе сложилась трагично. В Петрограде ее удочерила жена брата Мелитона, Ивана Баланчивадзе, бездетного военного. Затем девушка тоже приехала в Тифлис, поступила в академию художеств и вышла замуж за немца. Вскоре перед супругами поставили условие — либо Хаген, так звали мужа Тамары, меняет гражданство, либо она вслед за ним покидает страну. На семейном совете было решено, что Хаген уедет, а затем вызовет к себе молодую жену. Супруг уехал и навсегда исчез из жизни Тамары Баланчивадзе.

В Грузии она стала театральным художником, сотрудничала с театром Марджанишвили, работала с Еленой Ахвледиани. А затем вернулась в Ленинград и устроилась в кукольный театр под руководством Сергея Образцова. После начала блокады Ленинграда с помощью брата Андрея Тамара получила возможность покинуть осажденный немцами город. Но, не доезжая до Тихорецка, поезд, в котором она ехала, попал под

бомбежку. И больше о Тамаре семья не слышала.

Следующая встреча братьев Баланчивадзе состоялась только в 1962 году — спустя 45 лет после расставания. За все это время они даже не имели возможности переписываться друг с другом. Хотя Баланчин давал о себе знать. Во время войны в Тбилиси приходили посылки из израильско-египетского общества — шоколад, растительное масло, сахар, теплые вещи. Все это было организовано Жоржем. И вот наконец братья могли лично увидеть друг друга.

Андрей Баланчивадзе вспоминал, что встреча была очень теплой. При том, что расставались братья практически детьми, а встретились уже состоявшимися художниками.

— Это произошло осенью 62-го, — вспоминал Джарджи Баланчивадзе, — я уже учился в московской консерватории. Мы вместе с отцом встречали Баланчина в аэропорту. Тогда он приехал со своей лучшей труппой, это был расцвет New York City Ballet. Баланчин, как капитан, последним спустился с трапа, и все балетные артисты в шикарных костюмах разместились в открытом поезде, который повез их к зданию аэропорта. Баланчин обнялся с папой, была очень теплая встреча.

За несколько месяцев до приезда дяди отец признался мне, что его заставили написать брату письмо о том, как у нас все хорошо и что, мол, напрасно тот так ругает Советский Союз в своих выступлениях. Когда я узнал об этом, то даже испытал какое-то разочарование: как отец мог поддаться на требования написать заведомую ложь. Потом уже я понял, что как раз в тот момент у него в Большом театре в Москве готовилась премьера балета и он фактически был вынужден так поступить. К тому же, как говорил отец, он надеялся, что Жорж и сам поймет, что его письмо не имеет ничего общего с действительностью.

При этом он, видимо, и сам переживал из-за того послания. А потому прямо в машине, на которой мы из аэропорта ехали в город, отец спросил Жоржа, получил ли тот его письмо. Но дядя успокоил отца: «Мне сказали, что из Москвы приехал какой-то коммунист, который хочет встретиться со мной и передать письмо. Я отказался его принять».

За несколько лет до смерти сам Андрей Мелитонович вспоминал: «Позже, уже где-то в 34–35 годах, меня просили написать письмо брату с просьбой о его возвращении. Меня пригласили в определенное учреждение, повезли туда на черной машине и фактически приказали сочинить такое послание. Я не смог отказаться — писал какие-то странные фразы-полунамеки. Но как потом выяснилось, уже из рассказов Джорджа, он писем этих не получал».

В том же интервью «Заре Востока» Баланчивадзе рассказал и о том, что брат приглашал его к себе в гости и он очень хотел поехать. «Однажды он прислал мне в Ленинград письмо, в котором предложил вызвать меня. Не знаю, то ли пригласить, то ли навсегда. Честно говоря, мне хотелось погостить, но в Ленинградской консерватории мне ответили жестким отказом. Это звучало так: прогуляешь — вышвырнем вон».

В итоге встреча братьев произошла уже только в Москве.

— В номере дяди в гостинице «Москва» в первый день собрались мы с отцом, пианистка Мария Юдина и дирижер Паппе. Говорили о многом, Жорж рассрашивал папу о его жизни, рассказывал о себе. Мне запомнилось, с каким восторгом и гордостью Баланчин говорил о своем знакомстве с композитором Равелем. На следующий, кажется, день папа повел брата в гости к Дмитрию Шостаковичу. Не все могли принять у себя Баланчина — с ним было такое количество людей, что любой поход в гости больше походил на торжественный прием, нежели на простые дружеские посиделки.

Тогда же отец впервые увидел балеты брата. После первого спектакля к отцу подошел восторженный Арам Хачатурян и спросил: «Это что же мы видели?» Правда, потом в газетах появилась его статья о том, что такое искусство мы принять не можем. Но в те годы так было положено.

Говорили братья по-русски, на литературном русском языке. Жорж с большим уважением вспоминал Мелитона. Говорил, что в Америке, когда делал что-то не так, то, словно чувствуя упрек отца, прекращал это делать. К матери у него было другое отношение. Даже когда он был в Тбилиси, то на ее могилу, как мне показалось, поехал только потому, что мы его туда повезли.

А Мария Николаевна очень любила Георгия, все время думала о своем Жоле и беспокоилась о нем. Мне кажется, она скучала о нем даже больше, чем о ней. Бабушка прожила большую жизнь, около 90 лет. Мы с сестрой поначалу ее не любили, потому что она нас рано спать отправляла. Только потом поняли, какой она была замечательной женщиной. Честная, простая и очень богобоязненная, она каждый день ходила в церковь. Мы только потом узнали, что она была немкой. Стали искать историю ее фамилии. Оказалось, что ее отец был очень благородных кровей. Как-то к нам приехали из Америки и стали интересоваться ее происхождением. Хотели бабушку причислить к масонам. А заодно и Мелитона тоже. Но они не были никакими масонами и не могли ими быть.

У отца с Георгием был еще один брат, по отцу. У Мелитона ведь было много жен. Как, впрочем, и у Баланчина. Один из

братьев отца и дяди был священником в Кутаиси. В роду у Баланчивадзе вообще было много священнослужителей — и отец Мелитона, и дед. Вот и его сын от первого брака, Аполлон, тоже стал священником. При этом до революции он был жандармским офицером. После того, как к власти пришли большевики, несколько лет провел в лагерях. По возвращении ему не разрешили жить в Тбилиси. И Аполлон переехал в Кутаиси, где и стал священником.

Во время своего первого приезда в Грузию Баланчин первым делом захотел побывать на могиле Мелитона. Он дал труппе однодневный отдых, и мы на поезде поехали в Кутаиси, где похоронен дед. Тогда же браться встретились с Аполлоном. Но та встреча была достаточно холодной.

С моим отцом у Жоржа отношения были теплые. Папа рассказывал, что в детстве брат был довольно скрытным. И ругал отца за его проделки. Их в шутку так и называли: папу — задериха, а Баланчина — неспустиха.

В семейных архивах сохранились некоторые письма Баланчина в Тбилиси. Жорж не всегда проставлял на своих посланиях числа. Датировать их можно лишь благодаря сообщениям Баланчина о своей очередной женитьбе.

Так, на бланке «11 EAST 77 th STREET NEW YORK” размашистым почерком он писал (авторская орфография сохранена):

«Дорогая мамочка!

Хочу тебя обрадовать новостью. Я женился несколько дней тому назад и прошу у тебя родительского благословения. Мою жену зовут Бригиттой, она норвежского происхождения. Прилагаю ее карточку. (Свадьба Баланчина с Бригиттой Хартвиг состоялась в 1938 году. — И. О.)

Мы вместе с ней делали картину в Холивуде. Она великолепная танцовщица и актриса. Разговариваю я с ней по английски и по французски, а по русски она понимает пока еще два слова. Постепенно буду тебе присылать снимки из разных театральных и фильмовых постановок.

Последний фильм который я делал в Холивуде с Бригиттой назывался «Голден Фолис», в нем я применил совершенно новый принцип танцев на экране. Фильм имел большой успех. Этим летом я опять буду в Холивуде для постановки нового фильма. Я думаю что наши фильмы к вам, на Кавказ, не доходят. Мамочка, попроси Андрюшу отдать переписать его балет, я ему пришлю деньги сколько будет нужно.

А кроме того пришли мне пожалуйста грузинские травы (специи), которые употребляют в харчо и другие блюда.

И пришли мне рецепт приготовления «сациви». Я очень люблю сам готовить.

И еще я был хотел иметь бурку черную, напиши мне, сколько будет стоить и я тебе вышлю деньги.

Бригитта и я крепко вас всех целуем и желаем здоровья и счастья.

Любящий тебя Георгий».

Неизвестно, дала ли Мария Николаевна сыну свое благословение. Но его совместная жизнь с Бригиттой, танцовщицей «Русского балета Монте-Карло» (а потому выступавшей под именем Веры Зориной), продлилась восемь лет. Одно время ходили разговоры о близкой дружбе Зориной и Марлен Дитрих, проводивших вместе дни и ночи. После Баланчина следующим мужем танцовщицы и актрисы стал голливудский актер Дуглас Фербенкс. А сам Баланчин, успевший затем в течение пяти лет побыть мужем балерины Марии Толчиф, в своем новом письме в Грузию сообщал брату об очередной женитьбе.

«Дорогой Андрюша.

Письмо твое получил. Посылаю тебе фотографию мою и моей жены TANAQVIL (она танцовщица). Мой постоянный адрес — 637 Madison Avenue New York City USA.

Целую тебя крепко — мою дорогую мамочку и моих милых племянников.

Твой брат Георгий».

Андрей Баланчивадзе, в отличии от брата, был женат один раз и навсегда. Его женой стала красавица Панна Джибладзе. Вообще, девушку звали Натальей. Но ее няня-полячка неизменно обращалась к своей подопечной, как к «панночке».

В итоге новое прозвище заменило избраннице Баланчивадзе официальное имя и даже в паспорте у нее было записано: «Панна Георгиевна Джибладзе».

Молодые люди познакомились в театре рабочей молодежи в Тифлисе и сразу поняли, что их встреча — это судьба. По настоянию мужа Панна ушла с работы и посвятила себя дому.

В Тбилиси Жорж Баланчин в первый визит пробыл недолго. Судя по его воспоминаниям, сделанным в конце жизни, столица Грузии не произвела на него особого впечатления. Для Баланчина была важна не архитектура, а люди. «Город людьми одевается», — говорил он. А во время своего приезда Баланчин был окружен таким вниманием КГБ, что простые люди не имели возможности даже приблизиться к нему.

— Во время первого визита он прямо-таки горел творчеством, — говорил Джарджи Баланчивадзе. — А вот во

второй раз приехал уже сухим человеком. Думаю, это произошло из-за того, что он стал директором труппы, а потому появилась некая официальность. Держался дядя довольно строго.

Слушая отцовские вещи, Баланчин хотел сделать постановку. Сейчас начинают распространять слух, что он отрицательно относился к сочинениям брата. Это выгодно тем, кто хочет нас отдалить. Это неправда. Баланчин сразу после отъезда за границу, еще в двадцатых годах, звал отца к себе, писал ему: «Приезжай, я познакомлю тебя со Стравинским, здесь все, здесь культура».

Если бы отец уехал, то, я думаю, за границей жизнь у него сложилась бы хорошо.

Но он не сочинил бы такую музыку, которую ему удалось написать здесь. Папа был большим патриотом Грузии. Вместе со Львом Обориным они пешком обошли всю страну, записывая народные грузинские песни. А у Баланчина такого интереса к Грузии не было. Он полностью впитал в себя квинтэссенцию петербургского духа — с его балами, музеями, театрами.

Что объединяло братьев — любовь к Чайковскому. Петр Ильич оказал большое влияние на братьев. Только Андрей тяготел к мужественной стороне его музыки, а Жорж — к европейски-женственной.

Он действительно хотел поставить балет на музыку отца, но не успел. Папа ездил к нему в Америку, возил свои работы. Баланчин говорил, что хочет сделать «харчо» из грузинских произведений. Папа играл ему отрывки из своего балета «Мцыри», что-то еще. Баланчин очень интересовался танцем хоруми, который у нас танцуют мужчины. А он хотел поставить этот танец для женщин. Это вообще очень характеризует Баланчина — он всегда выше ставил женщину. Мне он как-то сказал: «Мужчина — это слуга женщины». Грузин так бы никогда не сказал. Папа наш, например, никогда так не думал, дома он был патриархом.

К сожалению, совместной работы у братьев не получилось. Наверняка это было бы интересное сотрудничество. Хотя Баланчин и был далек от грузинской культуры.

— Он признавался во время своего приезда, что ему не нравится, что у нас в Грузии вечно сидят за столом, едят, пьют. «Сколько можно есть?» — спрашивал он. При этом, правда, вино ему нравилось, он говорил, что белое и красное вино — это как брат и сестра. Баланчин очень ценил время и в Грузии, со всеми ее застольями, кажется, просто физически страдал. А папа, наоборот, был знаменитым тамадой.

Я иногда задумываюсь — когда он вообще успевал музыку

писать.

Отец не только сочинял концерты, но и писал музыку к самым известным грузинским фильмам — «Георгий Саакадзе», «Клятва» и другим. Вместе с поэтом Галактионом Табидзе устраивал вечера, на которых великий поэт читал свои стихи, а отец играл на рояле. Когда Табидзе читал со сцены свое знаменитое стихотворение «Мери», то просил, чтобы отец в это время играл Массне.

В молодости отец написал прелюдию и фугу для органа. Во время творческой командировки в Дюссельдорф, где он работал над мюзиклом, он услышал свое произведение в одной из церквей. Оказалось, что органист собора решил таким образом сделать композитору сюрприз.

А Баланчин был уже, конечно, американцем — и внешне, и внутренне. Рассказывал нам, что, когда в Москве его пытались обвинить в бездуховности постановок, он спрашивал в ответ: «А вы верите в Бога?»

Кстати, во время первого приезда Баланчин вдруг исчез. Потом стало известно, что он срочно улетел в Америку. Тогда советские подлодки как раз столкнулись с американскими возле Кубы. И дяде позвонил Джон Кеннеди, с которым он дружил, и приказал немедленно вернуться в США. Мы еще очень увидились — куда он пропал?

Когда все успокоилось, Баланчин вернулся в СССР.

Несмотря на то, что первый раз в Грузию он приехал только в 1962 году, Баланчин всегда называл себя грузином. Когда в 1967 году ставил балет «Драгоценности» на музыку Стравинского, пояснял: «Я всегда любил драгоценные камни. Я ведь восточный человек, я грузин».

В нью-йоркской квартире он обожал сам готовить грузинские блюда, лично покупая в мясных лавках продукты и называя свой дом «духаном».

Он сам вел хозяйство и не любил, чтобы кто-то выполнял за него работу по дому. «Не люблю, чтобы для меня что-то делали. Я независимый, это во мне грузинская кровь говорит», — признавался он в Нью-Йорке писателю Соломону Волкову.

Для родственников смерть Баланчина стала полной неожиданностью. У него обнаружили тромбы в сердце, была сделана операция. В начале апреля 1983 года Андрей Баланчивадзе получил телеграмму о том, что брату лучше. А уже 29 апреля пришло извещение о смерти в результате воспаления легких.

— Отец очень хотел поехать на похороны брата. Да и советские чиновники, кажется, были весьма заинтересованы в

этом, — рассказывал Джарджи Баланчивадзе. — Они надеялись, что таким образом смогут получить права на балеты Баланчина. Но папу на похороны не пустили. сами американцы. Они сказали, что в Нью-Йорке нет советского посольства и им сложно сделать для отца приглашение.

А потом оказалось, что незадолго до смерти Жорж Баланчин составил завещание. Довольно подробное, надо заметить, где были отмечены чуть ли не все ложки и вилки, находящие в его доме. Хотя, зная характер Жоржа и характер отца, трудно себе представить, что они могли думать о смерти.

Как мне потом рассказывали, Баланчина вынудили составить завещание, испугав тем, что иначе все его балеты достанутся «Советам», которые он ненавидел. В итоге несколько сотен своих постановок дядя завещал женщинам, которых любил. А отцу достались золотые часы, которые Баланчину когда-то подарил Линкольн Кирстайн, богатый предприниматель, собственно, и пригласивший дядю в Америку.

Великого хореографа похоронили на кладбище Нью-Йорка, где нашли последний приют знаменитые и богатые люди. Правда, могила у создателя американского балета весьма и весьма скромная. Когда родственники поинтересовались, почему у Баланчина такое невзрачное надгробие, им ответили, что Жорж был аскетичным человеком. О том, что стало с квартирой Баланчина и его коллекцией шедевров мировой живописи, его родственникам никто не сообщил. Им передали лишь золотые часы, указанные в завещании. Которые, правда, потом попросили вернуть в музей Баланчина в Нью-Йорке. Но сделать это было, увы, уже невозможно.

— Когда в Грузии были тяжелые времена, эти часы нам пришлось продать, — признался Джарджи Баланчивадзе. — При этом перекупщикам была безразлична выгравированная надпись на часах. За часы они нам заплатили по весу драгметалла — сто рублей. До этого мы предлагали часы Жоржа Баланчина Министерству культуры, но там сказали, что Баланчин их не интересует.

Детей у Жоржа Баланчина не было. Как он сам говорил, все балеты он посвящал своим женщинам. Ради них он и жил.

Официально Баланчин был женат четыре раза. Каждый раз он выбирал в жены молодую танцовщицу, ставил на нее балеты, а через какое-то время увлекался другой молодой девушкой. И все шло по кругу — влюбленность, женитьба, совместное творчество, расставание.

При этом когда племянник поинтересовался у него, почему он так часто менял жен, Жорж ответил: «Это не я уходил, это они

меня бросали».

— Баланчин говорил, что все жены были его главными музами. Понимал ли он, что является великим человеком? Ну, поскольку он каждый день слышал это от своего окружения, то, конечно, понимал. Классиком себя не называл, он не был настолько нескромным. Признавался лишь, что он — диктатор. А еще говорил, что он одновременно — и воздух, и вода. Он же был Водолеем по гороскопу.

Официальным наследником Баланчина стал фонд его имени, который не поддерживает с нами никаких отношений. Думаю, фонд не заинтересован в общении с нами. А мы были бы не против. Но здесь сложный вопрос. Американцы хотят сохранить все права на наследие Баланчина. Но нам ничего и не надо. Наша задача — чтобы помнили отца. А пока получается, что Баланчину в Тбилиси поставили памятник, а нашему отцу даже мемориальной доски нет.

Знаете, когда у Дмитрия Шостаковича родился сын, которого я хорошо знал, его стали называть Лжедмитрий. Он потом уехал за границу и выступал там с симфониями отца, успешно дирижировал. На мой взгляд, он не заслуживал такого прозвища, так как явно отличался от других детей знаменитостей и был очевидно талантливым человеком.

Но подобное отношение очень распространено. Так ик моему отцу относились. Раз Баланчин такой великий, то его брат должен быть проще. А отец как раз был более одарен. Что хотите, то со мной и делайте, но это мое искреннее убеждение. Потому что писать музыку — особый дар. Ведь сочинять музыку — это еще не значит быть композитором. А в Грузии отец был действительно главным композитором. И страна, к сожалению, его не оценила. Даже в консерватории его портрета нет. При том, что отец сделал значительно больше для грузинской музыки, чем Баланчин для американского балета.

Хотя можно сказать и так: один брат создал балет в США, а другой — в Грузии. В 1937 году в Тбилиси состоялась премьера балета «Сердце гор», написанного Андреем Баланчивадзе. Художником был Солико Вирсаладзе. Дирижером — Евгений Микеладзе. Успех у балета был невероятный.

Сразу после войны в Большом театре в Москве шел его балет «Страницы жизни». В последний момент постановка Леонида Лавровского едва не была отменена. Дали знать о себе вечные интриги и ревность других композиторов. За защитой Андрей Мелитонович решил обратиться к Лаврентию Берии.

Набрав номер его телефона, Баланчивадзе рассказал о том, что для премьеры балета все готово — созданы декорации, сшиты

костюмы и даже проведена генеральная репетиция. Берия, выслушав создателя балета, ответил загадочной фразой: «Семь раз отмерь — один отрежь». И положил трубку.

По мнению сына Андрея Баланчивадзе, сталинский министр тем самым показал композитору, что он осмелился побеспокоить слишком высокие силы. Правда, в итоге премьера балета все-таки состоялась.

Через несколько лет Баланчивадзе написал балет, посвященный Индии. Советское правительство специально заказало его для гастрольной поездки в честь юбилея семейства Ганди. Но премьера так и не состоялась. Когда работа композитора была завершена, из Индии пришло трагическое известие: премьер-министр страны Индира Ганди погибла в результате покушения.

В балетном мире Андрей Баланчивадзе был уважаемым человеком. Его близкой подругой была великая Галина Уланова, которая не раз выражала желание танцевать в балетах грузинского композитора. На дачу Андрея Мелитоновича в Абхазию приезжала Майя Плисецкая, обожавшая бродить с маэстро вдоль моря. А первым исполнителем главной партии в балете Баланчивадзе «Сердце гор» был легендарный Вахтанг Чабукиани.

— В некоторых произведениях отца я узнаю события, которые мы пережили. Мы ведь голодали с 1941-го до 1950-го, военная и послевоенная Грузия очень плохо жила. Худые, как щепки были, скелет один.

Отец всячески искал работу, связанную с музыкой, чтобы прокормить семью. Как-то повез нас, троих маленьких детей, на исполнение какого-то своего произведения в Гагры. Дорог не было, мы по полям ехали и решили переехать реку Ингури. Тогда моста еще не построили, но отец был рисковый и решительный человек. Въехали мы в реку, и на середине машину стала заливать вода. Если бы наши крики не услышали сванские пастухи, мы бы погибли. На конях они въехали в реку и по одному нас вытаскивали. Машину каким-то бычком нас вытянули, грузовики не смогли. Пока чинили машину, ночевали в маленькой котельной. Ночью, пока мы спали, отец вышел погулять и, видно, пережил какое-то романтическое приключение. И все это описал в квартете. Слушая его, узнаю и ту дорогу, и реку, и нашу ночевку.

Андрей Баланчивадзе пережил брата на девять лет — он умер в 1992 году.

— Мы даже не знаем, почему папа ушел, — говорил мне Джарджи Баланчивадзе. — Он не собирался умирать, был очень

здоровым человеком. Если болел, то мы все равно знали, что он обязательно выздоровеет. А тут никто не мог даже диагноз поставить. Я прихожу к такому выводу, что человек не потому умирает, что болеет, а потому болеет, что должен умереть.

Папа много курил, нет ни одного портрета, где он был бы без сигареты. И это нам передалось. Мама как-то попросила, чтобы отец на нас воздействовал. В итоге он вызвал меня с сестрой и спросил: «Я хорошо соображаю? У меня хорошее здоровье? Так вот имейте в виду — яс детства курил!» И мы все дымим.

Грузин так умирает, что должен успеть благословить семью, друзей и уйти оптимистом, без сожаления. И последнее музыкальное произведение отца так и заканчивается — на оптимистичной ноте.

Сын Андрея Баланчивадзе стал пианистом. Да и была ли у Джарджи какая-либо альтернатива в выборе профессии, если все разговоры дома велись в основном о музыке, в гостях бывали Генрих Нейгауз и Дмитрий Шостакович, а по утрам юношу будила музыка Бетховена в исполнении Марии Юдиной?

Последние годы жизни Джарджи Баланчивадзе был больше известен как художник. Поверить в свои силы ему помогБаланчин.

— И за это у меня к нему личная благодарность, — вспоминал Джарджи. — Жорж был связан с выдющимися художниками, и складывалось впечатление, что он хорошо разбирается в искусстве. Когда он пришел ко мне, у меня в комнате висели две картины — одна кисти знаменитого художника, а другая — моя. Я сказал: «Не правда ли, какая прекрасная картина?», указав на полотно известного мастера. Баланчин посмотрел и произнес: «А мне больше эта нравится», указав на мою картину. И я после этого действительно поверил в свои силы. Не раз выставлялся как художник за границей.

Дочь Андрея Цискари (в переводе с грузинского ее имя означает «заря») посвятила свою жизнь балету. Великий дядя видел ее на сцене, но сотрудничества, увы, не получилось.

О чем, впрочем, сама Цискари, кажется, не очень переживает.

Хотя, может, это только кажется. Брат и сестра Баланчивадзе — гордые и достойные люди. Единственное, в чем с горечью они признались в разговоре — это в том, что в непростые для Грузии годы им пришлось продать многое из наследия отца и дяди. В семье остался лишь орден Дружбы, которым бы награжден Андрей Баланчивадзе. «Во время тяжелых лет без света, газа мы продавали медали. Правда, сами документы сохранились».

А еще Джарджи переживал, что творчество отца фактически неизвестно нынешнему поколению: «После ухода Андрея ни разу

не исполнялись его произведения. Как же тогда его смогут оценить?».

Очерк о встречах с Джарджи Баланчивадзе вошел в мою книгу «Цена чести. Истории грузинских мужей», изданную на английском языке летом 2011 года. Я прилетел на презентацию в Тбилиси и, конечно, одному из первых позвонил Джарджи. Трубку взяла его жена Кетино. И уже по ее голосу понял: что-то случилось.

— Вы ничего не знаете? — спросила меня Кетино. — Ну правильно, я так и подумала. Джарджи не стало, несколько дней назад мы его похоронили.

Это известие было для меня шоком. В августе, всего через месяц, сыну и племяннику великих Баланчивадзе должно было исполниться всего-то 70 лет. Для грузин это смешной возраст.

Я все-таки пригласил Кетино Баланчивадзе на презентацию книги. И она пришла. «Я не могла поступить иначе, ведь вы пишете о нашей семье, о моем Джарджи».

В ответ Кетино позвала в гости меня. И я снова оказался в той самой тбилисской квартире в композиторском доме на улице Казбеги. Только теперь меня принимала одна Кетино.

— Хочу вам подарить фотографию Джарджи. Это — одна из последних. Он сам попросил сына сделать фото. Не знаю, может быть, чувствовал, что уходит. А так он не любил, когда его снимали. На этом фото мы вместе. Только у меня лицо страшное, я же обо всем знала.

У Джарджи был грипп и потом осложнение на легкие.

Он у меня лекарства принимать не любит, врачей не любит, ничего не любит. И в этот раз надеялся на свой какой-то организм, думал, что все пройдет. Ему ведь было всего 69.

Это было где-то в конце марта. А второго июня его не стало.

В конце он догадывался о том, что с ним происходит. Но я ему так ничего и не сказала. Потому что он сам как будто предупредил. Сказал в одном из разговоров, что надежда — это самое главное, что можно дать человеку.

Мне было тяжело. Мы с ним выходили иногда гулять на ипподром, что неподалеку от нашего дома. Я шла позади Джарджи, смотрела ему в спину и понимала, что должно произойти.

Но он хорошо держался, в его поведении было невероятное спокойствие. Я никогда в жизни не видела, чтобы человек так относился к своей болезни и к тому, через что ему предстояло пройти. Очень, видимо, сильный дух был у него.

У него записи остались. Я сейчас начала их читать, раньше не могла. Джарджи пишет, что вот, наступила пора со всеми

прощаться.

Он вообще много писал, целые тома у него. И о музыке, и о личных встречах. Правда, тяжело бывает очень все это читать, но что делать. Теперь все это огромное дело мне осталось — архив и Андрея Мелитоновича, и Джарджи, и его музыкальные произведения.

Кто еще может рассказать об этой семье? Нашему с Джарджи сыну, Антон его зовут, это не очень интересно.

Вообще, у Андрея Мелитоновича было трое детей. Цискари и Джарджи вы знали. А еще был Амиран. Хороший очень, интересный внешне. Женщины по нему с ума сходили, очень увлекались.

Но у него тяжелая оказалась судьба, потому что он скрипачом был, на скрипке играл хорошо, а потом палец сломал. Играть уже не мог и стал физиком. Причем редким физиком, работал главным инженером в какой-то довольно непростой организации.

У Джарджи он работал одно время электриком. Делал освещение для концертов, но, как правило, в самый нужный момент у него все взрывалось. Но определенный эффект это производило.

Амиран колоритный был человек. К сожалению, очень рано умер. Неожиданно все произошло — сердечный приступ был и кардиоастма.

Амиран хоть и не играл сам, но со сценой расстаться не мог. Выступал на спектаклях у Джорджи — у него был хороший голос. Когда Джарджи, например, ставил «Дон Жуана», Амиран пел Лепорелло.

Этот спектакль шел в консерватории. Мой Джарджи вообще много ставил. Знаете, в свое время были удивительные концерты, потрясающие просто — я как раз училась в консерватории.

Потом, с началом перестройки, все стало меняться.

И Джарджи десять лет проработал в Германии. Как пианист и со своим оркестром.

Параллельно Джарджи рисовал. Мы с ним познакомились в 1972 году, он уже рисовал.

И выставки у него бывали в Германии и раскупались его картины — нарасхват. Так что много успехов было в Германии. Его даже на улице узнавали.

При этом он никогда не хотел там остаться. Был настоящим патриотом. Хотя многие советовали — такой пианист, надо обязательно в Европу. Но он не хотел.

Но, с другой стороны, сейчас я понимаю — ему не о чем было жалеть. Потому что он никогда не переступал через свои принципы, ничего не делал из-за выгоды. Может, и было трудно и

невыгодно так жить. Но он все равно оставался верным своим принципам.

Хотя, конечно, жизнь могла пойти по-другому.

Наш сын не стал музыкантом. И я его понимаю — у нас музыка с утра до ночи звучала в доме. То Джарджи со своим оркестром камерным репетировал, потом он сам играл.

У меня были ученики, я преподавала музыку. При том, что у Антона способности были, между прочим. Но не захотел.

Правда, рано выяснили, что он хорошо рисует. Ему 11 лет было, когда наш близкий друг, известный художник Ираклий Парджиани, сказал: «Не трогайте этого ребенка, сохраните, он будет моим учеником» И так оно и стало.

Но это тоже у нас семейное. У Джарджи тетка, родная сестра Жоржа Баланчина и Андрея Мелитоновича, хорошо рисовала. Единственное, что мы о ней знаем, это то, что она погибла под бомбежкой в поезде.

А недавно я была в Академии художеств. Совершенно случайно там выяснили, что Тамара Баланчивадзе была ученицей великого грузинского художника Гиго Габашвили.

И в Академии даже сохранилась ее единственная картина. Изумительная работа. Такая зрелая, мастерски сделана.

Тогда же мне рассказали, что Васо Баланчивадзе, брат Мелитона, в Петербурге был учеником Ильи Репина. А сам стал педагогом великого Давида Какабадзе.

Так что мне досталось уникальное наследство — заниматься историей Баланчивадзе. Я, знаете, какую телеграмму нашла? От пианиста Льва Оборина. Когда Джарджи поступал к нему в консерваторию, то, оказывается, одно из произведений начал играть не в той тональности. Но при этом не остановился, а в той же тональности и закончил. При этом что-то еще и присочинив.

Решив, что провалился, после экзамена он сразу вернулся в Тбилиси. Но в итоге именно такая игра и понравилась приемной комиссии. Даже Мария Юдина потом писала, как они искали и нигде не могли найти абитуриента Баланчивадзе. Тогда-то Лев Оборин ему и телеграфировал — приезжай, идиот, тебя зачислили.

О многом можно рассказать.

Мы действительно говорили о многом. Но обо всем в одной главе не напишешь. Возможно, когда-нибудь из записей, сделанных в доме Джарджи и Кетино, получится отдельная книга.

Для меня знакомство с семьей Баланчивадзе стало большой удачей. И сегодня, когда я бываю в Большом на спектаклях Баланчина или слышу рассказы о Грузии, то обязательно вспоминаю вечера на тбилисской улице Казбеги. И кажется, могу

ответить на вопрос — как быть и не сломаться.

# Шахматист. Основатель ансамбля народного танца, хореограф Игорь Моисеев

До своего 102-го дня рождения Игорь Моисеев не дожил. Он умер в больнице, в которой, как казалось многим, провел последние пару лет. Но это не совсем так.

Когда за несколько месяцев до столетнего юбилея Игоря Моисеева вся Москва была завешана афишами концерта в честь дня его рождения, не все верили в то, что это произойдет. Говорили, что Моисеев уже серьезно болен, не встает с постели и вообще не выходит из кремлевской больницы.

Однако концерт был. А юбиляр не только появился на нем, но и нашел в себе силы пригласить в гости президента Путина и выпить с ним чаю в своей квартире в доме на Набережной.

Когда через год на улицах вновь появились афиши уже с более солидной датой, полку сомневающихся прибыло. Но торжество вновь состоялось. Правда, сам виновник торжества на нем все же не присутствовал, а смотрел трансляцию выступления своих танцоров по телевизору.

Интервью он уже не давал. С журналистами за него встречалась Ирина Алексеевна, его жена. Со мной Игорь Александрович встретился несколькими годами ранее.

Весной 1996 года Игорь Александрович стал первым моим знаменитым собеседником. Мудрейший человек, который, наверное, с улыбкой слушал вопросы совсем молодого журналиста. Хотя я тогда еще и не был никаким журналистом. Учился на втором курсе журфака. И пытался сотрудничать с газетой «Правда».

Честно говоря, уже не помню, каким ветром меня занесло в «орган Коммунистической партии». Кстати, там, прочтя интервью с Моисеевым, публиковать его отказались. На этом мое сотрудничество с партийной печатью и завершилось.

Впрочем, собираясь на встречу с Моисеевым, я абсолютно не задумывался о том, где будет напечатан материал. Слава богу, хватило ума понять, что Моисеев — это легенда, и если он приглашает, надо идти.

Мы разговаривали в его кабинете на Маяковке, где в здании Концертного зала им. Чайковского располагался (и продолжает располагаться сегодня) руководимый им Ансамбль народного танца.

Пока Игорь Александрович, перед тем как начать разговор, уточнял у помощников, готов ли зал для репетиций, ко мне

подошла его жена. «А вы что, действительно в „Правде” работаете — спросила она. — И как, нравится?»

Я не успел ответить. За меня это сделал Моисеев, вернувшийся в комнату и услышавший вопрос Ирины Алексеевны.

— Об этом мы у него лет через пять спросим. Когда подрастет немного. Вам сколько лет-то?

— Двадцать.

— А мне — девяносто. Интересно, какой у нас с вами разговор получится. Почему вы вообще захотели со мной поговорить? Задание получили?

— Если честно, редактор еще не знает, что я беру у вас интервью.

— Тогда ваша задача — его удивить.

— А вы меня только что удивили, Игорь Александрович. Вы что, собираетесь сами проводить репетицию?

— А что в этом удивительного? Думаете, стар для этого? Многим кажется странным, что и в девяносто можно преподавать танцы. А я, когда ребята жалуются, что движение, которое задаю, невозможно выполнить, встаю и делаю его сам. Вообще я на эту тему даже стихотворение написал:

Если старость держит вас за фалды
И мешает мчаться и лететь,
Не спешите стать простой кувалдой,
Плотно есть, лениться и толстеть.
Старость в силах мы отодвигать,
Научитесь преодолевать.
Волю только надо проявить —
Молодость сумеете продлить.

— А кроме стихотворения как-нибудь учите молодежь искусству держать себя в руках?

— Никаких инструкций не даю. Просто пытаюсь открывать глаза на очевидные вещи. Те, кто к советам не прислушивается, раньше времени становятся дряхлыми и вынуждены уходить на пенсию.

— А что это за очевидные вещи?

— Есть святая истина, которую несколько тысяч лет назад выразил Конфуций: «Все хорошо в меру». Я вообще враг всяких запретов. Важно понимать, что время молодости, когда все сходит с рук, пройдет и обязательно придется платить по счетам. Так устроена жизнь.

За каждый правильный шаг она тебя награждает, а за ошибки, соответственно, наказывает. Никому тут никаких преимуществ нет. Наша жизнь состоит из того, что мы в нее

вкладываем. И больше, чем ты в нее вложил, получить невозможно.

— А вы философ!

— Нет, просто все это — закон здравого смысла. Он должен быть понятен каждому. Не надо возмущаться пустотой кармана, если ты сам в него ничего не положишь. Вот и вся философия.

Мне близко высказывание Сенеки о том, что главное в жизни не количество прожитых лет, а то, насколько хорошо эти годы прожиты. С этим нельзя не согласиться. Качество ценнее количества.

— Это правда, что балетмейстером Большого театра вы стали случайно?

— Можно и так сказать. Тогда в театре ставили балет «Футболист», который никак не мог получить одобрение Художественного совета. В этот совет, по законам тех лет, входили не только артисты, но и простые рабочие — представители заводов и фабрик. Да что говорить, если даже директором театра был назначен бывший узник Шлиссельбургской крепости.

Как-то после одной из репетиций «Футболиста» в коридоре театра меня окликнул невысокий человек. Оказалось, что он уже видел меня в театральной студии Рубена Симонова, где я ставил танцы.

Этот человек был заведующим литературной частью Большого. При директоре-любителе он был довольно влиятельным человеком. Фамилия его была Гусман. Он-то и предложил мне попробовать себя в работе над балетом — требовалось изменить сцену футбола в первом акте.

Я попытался отказаться, даже на мамин запрет ссылался. Но Гусман настаивал и даже маме моей звонил, чтобы добиться ее разрешения. В итоге я действительно попробовал свои силы. Балет наконец был принят и вышел на сцену, где продержался больше двух лет.

Так в 24 года я стал балетмейстером Большого театра. Как вы говорите, совершенно случайно.

Судьба или случай, как их ни назови, сыграли в биографии Игоря Моисеева главные роли. После того как в Большой из Ленинграда приехал новый художественный руководитель Самуил Самосуд, который привел свою команду, для Моисеева наступили не самые лучшие времена.

Отношения с руководством не сложились. Новый главный балетмейстер Ростислав Захаров видел в Моисееве конкурента, а потому о новых постановках не могло идти и речи. Мало того, Захаров отстранил от работы первую жену Моисеева, балерину

Нину Подгородецкую, за что услышал в свой адрес: «Подлец».

Моисееву стало очевидно, что перспектив в Большом у него нет. И тогда ему посоветовали написать письмо на имя Вячеслава Молотова, председателя Совета министров, с предложением создать ансамбль народного танца. На письмо была наложена резолюция: «Предложение хорошее. Поручить автору его реализовать». Так в жизни Моисеева начался новый, оказавшийся самым важным, этап.

— Я слышал, что раньше мастерство ваших танцоров использовалось в дипломатических целях. Ансамбль направляли в ту страну, с которой были прохладные отношения.

И после ваших выступлений «лед» слегка таял.

— Да, это было раньше. А теперь гастроли — прежде всего возможность заработать.

Самое страшное, что мы не в состоянии заработать деньги в своей стране. Любой большой коллектив сможет прокормить себя только в том случае, если будет работать непрерывно и на разных сценах. Выступать каждый день, к примеру, в Москве такому коллективу, как наш, просто невозможно. А директора провинциальных площадок при всем желании не в состоянии покрыть расходы, связанные с нашим приездом. Единственное спасение — поездка за границу, где платят в 50–60 раз больше, чем здесь. Пробыв месяц в зарубежной поездке, мы можем еще месяца три существовать по инерции.

— На ваших глазах прошли становление и закат государства, называемого Советским Союзом. В чем причина его гибели?

— Я думаю, главное — это уход духовности. Поведение человека должно незримо диктоваться совестью. Сегодня полностью отсутствует мораль. Если можно безнаказанно врать, воровать, убивать, заниматься демагогией — какая уж тут мораль? Человек перестает отвечать за свои поступки — совесть-то молчит. Только она — единственный и неподкупный контролер. При ее отсутствии человек превращается в свою противоположность.

Считаю, что наше государство распадалось не год и не два, а все семьдесят лет. Сегодня мы лишь пожинаем плоды.

— Вы так взволнованно говорите об этом.

— А как же?! Я же не могу жить в башне из слоновой кости. Все, что происходит за окном, отражается на каждом человеке, в большей или меньшей степени. Иначе быть не может.

Это как воздух, которым мы дышим. Мы можем не замечать, что он становится с каждым днем все грязнее и грязнее. Но в конечном счете это скажется на всех.

Сейчас вот всех будоражат выборы. Не знаю, кто победит. Но

наш народ — дурак. Он любит тех, кто его расстреливает.

— Вам политика интересна?

— Абсолютно равнодушен к ней. Хотя мнение свое, разумеется, имею. Как всякий интеллигентный человек.

— А кого вы называете интеллигентным?

— Того, у кого есть собственное мнение. Для того чтобы его иметь, необходима база — хорошее образование, достаточное умственное развитие. Ведь без соответствующего уровня мышления нельзя вынашивать идеи.

Вспомним Тете: «Человек, который отказывается от идеи, остается при одних ощущениях». Отсутствие идеи — это гибель. Именно интеллигентность, способность порождать идеи уберегает человечество от гибели.

— А какое, по-вашему, самое большое несчастье для человека?

— Думаю, самое большое несчастье — если человек всю жизнь живет и не любит работу, на которую обречен. По-моему, большего наказания быть не может. Знаете, какое самое лютое наказание в английских тюрьмах?

— Нет.

— Переносить камни из одного угла в другой. Бесцельность этой работы убивает и психически, и физически. Если вы работаете, скажем, ассенизатором, но видите результат своего труда — это уже, поверьте, немало. Бессмысленная работа не то что унижает человека, она его губит.

Моисеев придвинул к себе тарелку с сухофруктами и орешками, стоящую на столике, и взял несколько орешков. Положив их в рот, он вновь «по-школьному» сложил руки на столе — параллельно краю, одна на другую. Но в жесте хореографа читалась не дисциплинированность ученика, а какая-то вольность, даже немного усталость человека, который сделал немало, прекрасно отдает себе в этом отчет и теперь может себе позволить вести себя так, как считает нужным Он вообще показался мне чрезвычайно уверенным в себе человеком. Так получилось, что я вошел в здание концертного зала буквально через секунду после приезда самого Моисеева. Его «Волга» остановилась у края проезжей части, вместе с женой Игорь Александрович несколькими шагами пересек Тверскую и вошел в холл. На нем была голубая тенниска в мелкую белую полоску и синий пиджак, который он, войдя в кабинет, повесил на спинку своего кресла.

Не сказать, чтобы Моисеев выглядел молодо. Я бы даже не назвал его подтянутым, как обычно принято писать о танцорах. Еще одним штампом в описании долгожителей является

упоминание «необычайно молодого и задорного взора». У моего собеседника я его не заметил.

Но и стариком он тоже не был. Мгновенная реакция, удивительная память и плавная, чуть грассирующая речь никак не позволяли называть его так.

— Игорь Александрович, вы — жесткий человек?

— Я — человек строгий. Потому что руководитель.

Иначе нельзя. Но строгий не только к своим танцорам, ной к самому себе. Так что им, надеюсь, меня упрекнуть не в чем.

— Как вам удалось не вступить в партию? Ведь наверняка же заставляли?

— И не один раз. Восемнадцать! В конце концов чуть ли не силой пытались заставить получить партийный билет. Но я каждый раз отвечал, что еще не готов. И что верю в Бога. А когда на меня начинали повышать голос и возмущаться, как таким ансамблем может руководить беспартийный, я просто спросил, как повлияет моя партийность на качество постановок. От меня и отстали.

— Вы были лично знакомы со Сталиным?

— Встречался на приемах. Трудно объяснить чувство, которое испытывал. Положение Сталина было так необычно, он был так приподнят над всеми, что само его появление рядом с человеком расценивалось как явление. Тут был и страх, и ответственность, и радость, чего уж там.

На одном из банкетов Сталин вплотную подошел ко мне, положил руку на плечо и спросил, нет ли каких проблем у нашего ансамбля. А мы в тот момент не имели своего помещения и репетировали чуть ли не на лестничных площадках. Никто не хотел пускать наших танцоров — через несколько репетиций от паркета не оставалось и следа. Я и сказал об этом Иосифу Виссарионовичу.

Он тут же подозвал к себе первого секретаря московского горкома партии и приказал решить вопрос. На следующий же день меня вызвали в горком и, подведя к карте Москвы, предложили выбрать любое место, на котором для нас должны были построить специальное здание. А в тот момент в городе как раз велась реконструкция бывшего театра Зимина, где теперь располагается Концертный зал им. Чайковского.

Я указал на него. Тут же было подписано решение, что ансамбль народного танца перебирается сюда.

Как водится, не обошлось без крайностей. Когда комиссия пришла принимать помещение после ремонта и увидела большие окна в пол, то один из приемщиков возмутился: «Немедленно заделать окна! Танцоры Моисеева во время репетиций могут

увлечься и вылететь на улицу». Разумеется, окна заделали. А потом оказалось, что помещение предназначалось для хора имени Пятницкого.

Так что наш коллектив Сталин любил, нас приглашали на все банкеты и приемы. Помощник Сталина Поскребышев не раз пытался уговорить меня оставить моих танцовщиц и после кремлевских концертов. Но я всегда был категорически против.

Был и неприятный случай. Я разговаривал с председателем комитета по делам искусств Храпченко, он отчитывал меня за то, что в программу выступления нашего ансамбля на кремлевском концерте я внес изменение. Когда Храпченко высказывал свое неодобрение, я заметил, что к нам приближается Сталин. Вождь подошел к Храпченко и пожурил: «Что вы все о делах? Сегодня и отдохнуть можно». Храпченко от волнения весь затрясся. А Сталин продолжал: «Почему не танцуете? Дамы нет? А вот…» — и он подтолкнул меня в сторону Храпченко. Тот немедленно схватил меня и принялся кружить в танце. Я запомнил, как Сталин бросил на него брезгливый взгляд. И я его мог понять.

Я сам никогда не стремился попасть в число приближенных, хотя возможность для этого предоставлялась не раз.

Я действовал по принципу: поближе к кухне, подальше от начальства.

— Удалось?

— Где-то да, а где-то и нет. Важно, что я был готов к испытаниям, которые могли выпасть на мою долю. Помню, возвращался из Кисловодска. Вдруг в поезд входят чекисты, забирают меня «с вещами» и сажают в машину. Что оставалось думать — дело-то происходило в тридцать девятом.

Слава богу, потом оказалось, что Берия всего-навсего решил поручить мне подготовку физкультурного парада. Но чекисты ведь не могли просто пригласить и сказать об этом, им надо было лишний раз показать, кто в стране хозяин.

Или случай с военным билетом. У меня, как у сына дворянина, его изъяли, сказав, что я, мол, недостоин защищать Родину. Без военного билета по тем временам человек становился лишенцем, то есть кандидатом в лагеря.

Помогло, как ни странно, мое увлечение шахматами. Партнер по игре, который заведовал военным столом Большого театра, предложил написать заявление о якобы утере военного билета. Что я, естественно, и сделал.

Товарищу удалось выправить мне новый документ. Оказалось, что в военкомате при переезде были утеряны дела на несколько букв, в том числе на букву «м». Благодаря чему я и остался на свободе.

— Вы с тех пор не расстаетесь с шахматами? Вот и сейчас на вашем столе доска с неоконченной партией.

— Это помогает разрядиться. Играя в шахматы, я отключаюсь, экономлю нервные клетки. Еще люблю читать. Дома собрал богатейшую библиотеку — свыше пяти тысяч томов по искусству. Не выходя из собственного кабинета, могу совершить путешествие в любой музей мира.

За спиной Моисеева висела большая фотография, на которой танцоры его коллектива раскланивались перед публикой после концерта. Впереди всех, как и положено, стоял Игорь Александрович.

Фотография была сделана лет двадцать, наверное, назад. И я невольно переводил взгляд с сидящего напротив меня Моисеева на фотографию. Разумеется, в конце концов хореограф перехватил мой взгляд.

— У вас ведь нет солистов, да? На фотографии все стоят в один ряд. Только вы на пару шагов впереди.

— Да, и это моя принципиальная позиция. Если кто-то вздумает назвать себя солистом — тут же выгоню. У нас все равны — ив классе, и на сцене. В одном танце можно солировать, а в другом — стоять в кордебалете. Как в большой семье.

— В своей собственной семье вы тоже никого не выделяете? Почему ваш внук учится в школе Большого театра? Не захотели взять его в свой коллектив?

— Такое решение приняла его мать. Но он хорошо устроился, на хорошем счету. И потом, ведь Большой театр — это всегда Большой театр.

— Ну, уж правнука, наверное, все-таки возьмете в ансамбль?

— Ему сейчас всего десять лет. Время покажет. Возможно, станет танцором, а может, и нет. В этой жизни каждый должен сам прокладывать свою дорогу.

— А ваши родители оказали на вас сильное влияние?

— Как и любые родители на своих детей. Другое дело — каким будет это влияние. Я, разумеется, стал тем, кем стал во многом благодаря семье.

— Маме в первую очередь? Она у вас была француженкой?

— Полуфранцуженкой-полурумынкой. Ее звали Анна Александровна Грэн. Она была очень хорошей портнихой. Когда мы жили в Полтаве, у нее была своя мастерская и к ней приезжали с заказами со всей округи. Когда она шила, это было настоящее творчество! Глядя на нее, я понял, что оно может быть во всем.

Но стать танцором мне посоветовала не мама, а, как ни странно, отец, выпускник философского факультета

Гейдельбергского университета. Он говорил, что профессия, которую ты выбираешь, должна позволить тебе быть независимым при любых условиях.

Я поступил в школу Большого театра, стал танцором, служил в Большом, потом сам стал ставить танцы, создал Ансамбль.

— Вам удалось достичь всего, о чем мечтали?

— Что вы! Все время такое ощущение, что еще не все сделано. Что-то надо закончить, а за что-то еще и не принимался. Планов много, и отдыхать пока рано.

Я не знаю, удалось ли Игорю Александровичу осуществить все свои планы, но отдыхать он действительно не спешил. Судьба отмерила Моисееву еще двенадцать лет жизни.

И главную шахматную партию жизни хореограф наверняка выиграл.

Даже находясь в больнице, он постоянно держал связь со своим коллективом, благо в нем трудились и его жена, и дочь. Рассказывают, что когда Моисеев видел телевизионные трансляции выступлений Ансамбля народного танца, который уже при его жизни стал называться «Балетом Игоря Моисеева», то иногда не мог удержаться от удивления: «Неужели это все я сочинил?»

# Часть третья. Лица советской эпохи

# Человек, а не легенда. Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев

Когда в мае 2001 года мне предложили сделать интервью с Алексеем Маресьевым, я удивился. Тому, что знаменитый летчик все еще жив.

О подвиге Героя Советского Союза, который во время Великой Отечественной, несмотря на ампутацию обеих ног, все-таки сел за штурвал самолета, я услышал еще в школе. Раньше историю о «настоящем человеке» вообще знал каждый советский школьник. Книга Бориса Полевого входила в обязательную программу по литературе.

Маресьев был таким же героем, как, скажем, Зоя Космодемьянская и Александр Матросов. О его подвиге даже оперу написали, в одной из картин которой певец, исполнявший партию хирурга, выводил со сцены: «Отрежем, отрежем Маресьеву ногу».

Разумеется, самому Алексею Петровичу о своем удивлении не сказал. Но он все равно догадался. «Все почему-то думают, что я уже умер. Одна газета даже на обложке написала: „Маресьев все еще жив!" И видите, я действительно жив», — с этих слов и начался наш разговор.

Летчик с улыбкой поведал мне, как однажды в кабинет директора его Фонда пришел мужчина и, увидев на стене портрет Маресьева, тяжело вздохнул. Мол, хороший был человек, царствие ему небесное. Директор от удивления подпрыгнул на своем месте: «Как это „был", если он только что по телефону звонил?» В ответ посетитель не растерялся: «Жив? Ну тогда дай Бог ему здоровья!»

Встреча наша состоялась в квартире Алексея Петровича, в доме на Тверской, фасад которого украшает множество мемориальных досок. Я почему-то думал, что квартиры в этом доме такие огромные, что в них можно заблудиться. Оказалось — совсем нет. По крайней мере, Маресьев жил в довольно скромной квартире с длинным узким коридором, по которому он ходил, упираясь в стены руками.

Первым делом Маресьев попросил домашних принести его пиджак со звездой Героя Советского Союза на лацкане, надел его и только потом заговорил.

— Мне категорически не нравится, когда на меня начинают навешивать всевозможные титулы: «легендарный», «прославленный» и так далее. Поймите, я — человек, а не

легенда! В том, что я сделал, нет ничего необыкновенного. И то, что меня превратили в легенду, меня очень расстраивает.

Конечно, все началось после книги Полевого. Я на самом деле не имел ни малейшего понятия о том, что он напишет. Когда повесть напечатали, мне подарили один экземпляр.

Но я его так и не прочитал. Несколько раз пытался, но все как-то.

В принципе Полевой все написал правильно. Придумал, правда, роман, который у меня якобы был с девушкой Ольгой. Хотя созданный им образ советской девушки мне нравится.

Что же касается моего собственного образа, то его оценить трудно. Автор ведь и фамилию героя изменил. Знаете почему? Подстраховался. А вдруг бы я запил или хулиганить начал? Тогда бы книжку запретили. Атак о тех восемнадцати днях, которые я провел в тайге, смогли узнать все.

Я сегодня о них не вспоминаю. Я вообще не вспоминаю то время. Но если вы хотите что-то спросить, не стесняйтесь.

— Что вам тогда помогло выжить и не сдаться?

— Желание жить. Желание выбраться к своим. А у меня ведь даже компаса не было. Я и сегодня просыпаюсь утром и обязательно смотрю, где встает солнце. Так, думаю, на востоке, все правильно. А тогда у меня в течение десяти дней была галлюцинация зрения.

Смотрел вперед и вдруг видел границу аэродрома, которая через несколько секунд исчезала. Потом смотрю — девушка с коромыслом идет. Через мгновение и она растворялась в пространстве. Самым большим лакомством был березовый сок.

Я хотел и само дерево погрызть, но куда там, сил не было. Врачи потом сказали, что все это происходило из-за того, что я ударился головой.

Когда боли начали проходить, я увидел свежие опилки.

И уже стал соображать: раз опилки, значит, люди должны за дровами прийти. Вырыл в снегу яму, обложил еловым лапником и стал ждать. Так и прошли эти восемнадцать дней.

Знаете, я об одном жалею: что не посетил те места еще раз. Успокаиваю себя тем, что часто виделся с ребятами, которые меня спасли.

Вообще, время очень быстро прошло. Мне вот 85 на днях исполняется. А я, честно говоря, их совсем не ощущаю.

И когда мне говорят: «Как хорошо вы выглядите, лет на шестьдесят», — поначалу радуюсь. А потом думаю: ну ладно, выгляжу я хорошо. А печенка, селезенка, сердце? Им-то уже 85.

Алексей Петрович неожиданно замолчал, прислушиваясь к чему-то. Потом вдруг резко поднял руку, словно желая от чего-то

отмахнуться, и, будто отвечая на какие-то свои мысли, произнес: «А-а-а, ладно!»

— В общем, на первом месте в жизни — это здоровье, — продолжил он разговор. — А на второе я бы поставил честное отношение к труду. Имейте это в виду.

Самолет Маресьева в марте 1942-го сбили фашисты, и в течение восемнадцати суток раненый летчик полз к своим. Но звание Героя он получил не благодаря сделавшей его знаменитым книге, а гораздо раньше. Да и саму «Повесть.» напечатали только после войны. Опасались, что немцы могут решить, будто в Советской армии плохи дела. Раз уже и инвалидов посылают воевать.

Сам Алексей Петрович о появлении книги узнал случайно — услышал отрывки из нее по радио.

А летать Маресьев хотел с детства. «Трое братье у меня старших, — рассказывает он. — Так вот они — умные. А я, младший, в летчики пошел».

Причем случилось это, как часто бывает, не благодаря, а вопреки. Мальчишкой он часто болел малярией, к тому же страдал от болей в суставах.

Понятно, что с таким здоровьем ни о каком летном училище не могло быть и речи. Будущего героя отправили строить Комсомольск-на-Амуре.

— Я летать хотел, а меня на стройку! Когда попытался отказаться, мне ответили: «Не хочешь? Тогда комсомольский билет на стол». Ну, я и положил. Мать у меня идейная была — плакала, когда узнала, причитала. Но все, к счастью, обошлось. И неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, не отправься я все-таки на Дальний Восток. Там, кстати, и сегодня расположен один из лучших авиационных заводов.

Но это не значит, что я поверил в судьбу. Я верю в климат. Что имею в виду? Когда перед отъездом на Дальний Восток я проходил медкомиссию, ко мне подошла незнакомая женщина-врач и так по-матерински сказала: «Алеша, ты, конечно, можешь не ехать. Но знай: если ты одной ногой ступишь на ту землю, все твои болезни пройдут».

Я и подумал, что раз смогу выздороветь, то и летчиком стану. Так оно и получилось. С тех пор верю в климат. Я ведь один из первых строителей Комсомольска-на-Амуре. Получил даже в качестве премии патефон.

— А почему вы всегда так хотели летать?

— Любил я эту специальность. Чтобы понять, это надо почувствовать. Словами не передашь. Когда уже работал инструктором и готовил других летчиков, то специально ждал

инструкторского дня, когда сам мог сесть за штурвал и полетать. Это «болезнь» всех летчиков.

Когда Покрышкин, наш трижды Герой Советского Союза, работал в ДОСААФе и я попросил его достать самолет У-2, мол, хочу попробовать хоть разок полетать на этом самолете, он ответил: «Не трави душу, самому хочется».

Я ведь закончил летать лет десять назад. Не верите? Даже когда в качестве пассажира входил в самолет, то всегда просил уступить мне место у иллюминатора. И всегда следил, как и что происходит с самолетом. Так, думал, лайнер выруливает, сейчас прожигает свечи, теперь взлетает. А потом слушал, как работает мотор, перед посадкой искал глазами аэродром.

За штурвалом последний раз сидел в пятидесятых. Я тогда побывал в специальной школе, выступал там, и за рюмкой чая узнал от преподавателей, что курсантам негде и не на чем летать. А я хорошо знал Василия Иосифовича Сталина, он в то время был командующим ВВС Московского округа. Я позвонил ему и сказал, что нужны аэродром и самолеты. Василий Иосифович все дал. Тогда я последний раз и полетал.

— А я думал, вы скажете, что любили летать из-за чувства свободы, которое появляется в полете.

— А я всегда чувствовал себя свободным. Мне никто никогда ничего не навязывал. На совете ветеранов у нас был очень говорливый заведующий одним сектором. Очень любил выступать и говорил все время не по делу. Я с трудом сдерживал себя, пока слушал его. А меня успокаивали: «Вы ведь все равно по-своему сделаете». Так оно и было.

— Завистников у вас, наверное, было немало.

— Не думаю, что у меня были завистники.

— Счастливый вы тогда человек, Алексей Петрович.

— Наверное. Одним словом об этом не скажешь. Минуты, когда я чувствовал себя на вершине, случились, когда врачи написали: «Годен во все рода авиации». Ну, подумал я тогда, елки-палки, как хорошо-то!

— В вашей жизни, получается, как в песне: «Первым делом — самолеты!»

— Точно!

— А семья?

— Когда летал, то был не женат. А потом, у меня ведь и жена из ВВС.

— У вас два сына, чем они занимаются? Тоже летчики?

— Нет, они не пошли по моим стопам. И я никогда об этом не жалел. Старший у меня обладает очень хорошим музыкальным слухом. Хорошо играет на гитаре, аккордеоне. Когда обставлял

свою комнату, а денег на все не хватало, то напрокат взял пианино. Он у меня учился в военном институте, языками занимался.

О втором сыне летчик ничего не сказал. А я, почувствовав какое-то напряжение, уточнять не стал.

— Как вы празднуете День Победы?

— Обычно смотрю по телевизору парад, а потом иду на прием в Кремль. В этот раз никуда не пойду. Потому что два дня назад у меня были врачи и наговорили мне всякого. Я сам не свой был, они меня хотели в госпиталь положить.

Я отказался, что мне там делать-то? Тогда они запретили мне выходить из дома. Ну, раз дело касается здоровья, послушаю их.

— Я обратил внимание, что на ваших часах изображен маршал Жуков. А кого из военачальников вы особо выделяете?

— Я не стратег и не тактик. Но Сталин есть Сталин. Он же главнокомандующим был. Большую роль сыграл Жуков. И еще бы я назвал маршала Александра Михайловича Василевского.

— Каким для вас было 9 мая 1945 года?

— Я накануне получил продуктовый паек — американскую тушенку, которую очень любил. Съел полбанки и выставил остаток за окно. К утру она заплесневела, но я все равно ее доел. И к обеду слег. Вот таким у меня был этот день.

— Чувство страха вам знакомо?

— Страх присущ всем. Когда кто-то говорит, что ничего не боится, — не верьте. Но надо уметь побеждать это чувство.

— Что в вашей жизни было самым страшным?

— Я всегда боялся нечестности. Я вообще человек доверчивый и незлопамятный. Хотя мне в жизни делали много нехорошего. В одной из телепрограмм я про себя вдруг узнал, что, оказывается, ненавидел Полевого. Не приехал к нему на похороны, а в ответ на просьбу написать некролог начал сравнивать, кто из нас важнее — Полевой или я. Но я по чисто физическим причинам не мог быть на похоронах Бориса — меня не было в тот момент в Москве. Но я позвонил его вдове, а потом сходил на могилу. Мы с ним не были друзьями, но много общались, ездили вместе в командировки, бывали в гостях. Как мне потом объяснили друзья, эту клевету обо мне распускали нарочно, по заказу, как теперь говорят. Хотели показать, что я зазнался и забронзовел. Обидно.

— Жалеете о чем-нибудь?

— Жизнь меня, конечно, потерла. Я ведь в три года остался без отца. Но ни о чем не жалею. Когда ложусь спать, то многое прокручиваю в голове. Долго не могу заснуть. Раньше все война снилась, а сейчас плохо спать стал. Обо всем успеваю подумать.

Но вообще жизнь свою вспоминаю хорошо. Если бы выпала возможность начать все сначала, я бы снова стал летчиком.

Интервью с Алексеем Маресьевым было опубликовано накануне Дня Победы. Алексей Петрович остался доволен, приглашал на свой юбилей. А потом наступили очередные выходные, которые я провел за городом. Возвращаясь в Москву, услышал по радио, что похороны Алексея Маресьева состоятся на Новодевичьем кладбище.

«Как похороны? — не поверил я. — Я же с ним несколько дней назад интервью делал!»

Но все оказалось правдой. Мне потом рассказали, что, уже собираясь на свой праздник, Маресьев почувствовал себя плохо. Врачи ничего не смогли сделать. Торжество, посвященное 85-летию героя, превратилось в поминальный вечер.

# Проклятие Тамерлана. Кинооператор Малик Каюмов

Малик Каюмов прожил 98 лет и был последним, кто видел прах Тамерлана. О нем так и говорили: единственный свидетель того, что произошло в Самарканде 21 июня 1941 года.

В тот день ученые вскрыли гробницу древнего воина, а на следующее утро началась война. Почему члены экспедиции не прислушались к предостережению старцев, заклинавших не тревожить могилу грозного Тимура?

Ведь предупреждали же старики: «Тот, кто откроет гроб, выпустит дух войны». Или это всего лишь миф? Верить или не верить — личное дело каждого. Но я после поездки в Узбекистан уже не так категоричен в своих утверждениях о том, что все в нашей жизни объясняется лишь законами физики.

Каюмову на момент нашей встречи было 95 лет. Мы разговаривали во дворе его ташкентского дома — обыкновенной с виду хрущевской пятиэтажки. Сидели на улице, расположившись за дастарханом.

Рядом сидел и сын Каюмова. Поначалу присутствие третьего человека меня смущало. Той дело ловил себя на мысли, что переживаю за него: каково это — сидеть и в который раз слушать историю о Тамерлане.

Потом мне объяснили, что это было знаком уважения к дорогому гостю со стороны хозяев — глава семьи ведет беседу, а старший сын при ней присутствует, следя за тем, чтобы на столе постоянно были фрукты и горячий чай.

— Видите, какие у меня березы растут? — гордо улыбнулся Малик Каюмов, указав на рощу вокруг беседки. — Это мои самые любимые деревья, я их специально из Москвы привез. Полюбил их после госпиталя. В Лефортово, где я лежал, — это главный госпиталь Красной армии — росли одни березы. Из палаты я видел их ветви, слушал шум листвы и мечтал, как после войны вернусь в родной Ташкент и обязательно посажу такие же деревья около дома. Друзья удивлялись: «О чем ты думаешь? Тебе ногу собираются ампутировать, а ты о каких-то березах говоришь.»

Меня же в 1944 году под Минском серьезно ранило, автоматная очередь перебила левую ногу. Спасибо доктору Галине Дмитриевне Чесноковой, которая отменила ампутацию. Но с тех пор хромаю. Как Тамерлан.

Меня часто просят рассказать о вскрытии его гробницы, надоели уже. Вы ведь тоже недаром ко мне заглянули. Ну, тогда

слушайте.

В июне 1941 года мне довелось присутствовать при раскопках гробниц Тамерлана, его сына Шахруха и внука Улугбека. Вообще-то идея вскрыть гробницу первой пришла в голову академику Масону еще в 1926 году. Его заинтересовали звуки, доносившиеся из могилы Тамерлана. Но тогда у советского правительства на это не нашлось денег.

Когда в 41 году средства отыскали, Масон уже сам отказался участвовать в экспедиции — слишком уж непрофессионально с научной точки зрения все было обставлено. Теперь я понимаю, что для власти главной была не научная составляющая, а материальная. Наверное, они думали, что в мавзолее, как и в пирамидах египетских фараонов, хранятся несметные сокровища. Недаром же среди участников вскрытия гробниц был человек с прибором, напоминающим миноискатель. А сотрудники НКВД пытались обязать нас не разглашать происходящее в мавзолее.

Работы по вскрытию гробницы начались 17 июня. Первыми открыли могилы Шахруха и Улугбека. А 21 июня приступили к захоронению самого Тамерлана. На его надгробии была надпись, гласящая, что все проходит — и величие, и слава. Тех же, кто потревожит его прах, ждет кара.

Члены нашей экспедиции сразу почувствовали себя неуютно: какая кара? Вдруг правда что-то произойдет? У кого-то даже возникла идея приостановить работу. Но за нами пристально наблюдали из Москвы. И раскопки продолжились.

В самом начале сломалась лебедка, объявили перерыв.

Я вышел из мавзолея на улицу и направился в ближайшую чайхану выпить чаю. Трое сидевших там стариков обратились ко мне с вопросом, имею ли я отношение к происходящему в гробнице.

«Да я там самый главный», — пошутил я. Ведь именно по моей команде включалось освещение, позволяющее производить работу. Тогда один из стариков протянул мне книгу и указал на строки, в которых было написано, что вскрывать могилу Тамерлана нельзя — выйдет дух войны. Я в школе учил арабский, поэтому смог прочитать эти строки.

Я вернулся в мавзолей и передал все своим руководителям. Они выслушали меня и попросили проводить их к этим старикам. Мы вышли на улицу и направились в чайхану, где трое старцев по-прежнему пили чай. Однако, поговорив с ними, члены нашей экспедиции подняли их на смех. Те обиделись, встали и ушли. А мы вернулись в мавзолей и продолжили работу.

Неожиданно погас свет. Но на это никто не стал обращать внимания. Неполадку исправили и могилу все-таки вскрыли.

Первым делом увидели гроб, который, несмотря на проведенные под землей 500 лет, сохранился как новый. Когда его открыли, по мавзолею распространился приятный аромат. Возможно, это и был тот самый дух войны? Но тогда об этом никто и не думал. Все внимание было обращено на кости Тамерлана.

Сразу стало понятно, какой это могущественный человек. В том, что в могиле находятся именно его останки, сомнений не было — антрополог Михаил Герасимов достал травмированную коленную кость. Тамерлана же не зря называли «стальным храмцом» — у него была повреждена нога.

Вообще как ученые обращаются с обнаруженными останками? Только что не дышат на них. А Герасимов буквально схватил череп Тимура, и по мавзолею разнеслось громогласное «Ура!».

Вечером, когда мы отдыхали в гостинице, ребята решили послушать радио. Один из участников экспедиции, который понимал по-английски, поймал иностранную радиостанцию и вдруг побледнел. «Началась война», — перевел он нам передаваемое сообщение. Возникла немая сцена — все же помнили о предупреждении старцев.

Какое-то время мы сидели, как мокрые мыши. Когда я сегодня так говорю, родственники членов той экспедиции на меня обижаются. А мы правда были испуганы.

Когда нас потом вызвал к себе первый секретарь ЦК компартии Узбекистана, то принялся кричать, почему мы не проинформировали его о словах стариков. Руководитель нашей группы оправдывался тем, что не придал им серьезного значения. Останки Тамерлана срочно вывезли в Москву.

На следующий день на центральной площади Самарканда уже стояли войска и целовали знамя перед отправкой на фронт. Формировалась Узбекская дивизия, в составе которой ушел на войну и погиб мой старший брат. Я тоже пошел на фронт как военный оператор.

Подо Ржевом я узнал, что фронтом командует Георгий Жуков, и добился встречи с маршалом. Георгий Константинович внимательно выслушал мой рассказ о вскрытии гробницы и обещал все передать Сталину. Свое слово он сдержал и доложил обо всем Верховному главнокомандующему.

Сталин тут же дал приказ перезахоронить останки Тамерлана. На перезахоронение и восстановление мавзолея был выделен 1 млн рублей, колоссальные по тем временам деньги, на которые можно было месяц содержать целую дивизию.

Тимура и его родственников захоронили со всеми почестями. И тут же Красной армии удалось одержать первую крупную победу под Сталинградом.

Верю ли я сам в проклятие Тамерлана? А как тут не поверишь? Видите, и Жуков тоже поверил. У меня, к слову, осталось очень хорошее впечатление от этого человека. Настоящий полководец.

Удивительное дело — все великие военачальники плохо кончают свою жизнь. И Суворов, и Кутузов, и Жуков. Его ведь побаивались в Кремле, авторитет Жукова был несоизмеримо выше, чем у Сталина. Он запросто общался с солдатами, курил их махорку. А меня угощал водкой.

Георгий Константинович тогда очень удивился, что я не пью. «Первый раз вижу человека, который не пьет водку».

А я маме дал слово, что буду хорошим человеком, не стану ни пить, ни курить. Может, поэтому и живу так долго?

Когда наши войска вошли в Германию, многие принялись хапать брошенное в магазинах добро, все же было доступно. А я даже иголки чужой не взял. Помнил обещание, данное маме.

Она у меня очень мудрый человек была. А отец мой считался самым богатым человеком в Туркестане. Когда ему было 38 лет, он пришел домой, сказал, что его знобит, лег отдохнуть и больше не проснулся. На его счетах было несколько миллионов рублей золотом, он владел кожевенными заводами, садами, ипподромом. Но на следующий день после его смерти оказалось, что мы — нищие. Так сказали компаньоны отца.

Папа вообще не любил деньги, говорил, что золотые монеты делают в карманах дырки. Когда он сватался к маме, то прислал ей в качестве подарков сотни платьев, десятки пар обуви, жемчуга, бриллианты. У мамы хватило мудрости отложить все это добро на черный день, что и позволило ей поднять на ноги пятерых сыновей.

Отец умер незадолго до начала Первой мировой войны. После революции я писал в анкетах, что являюсь сыном бедняка, работника кожевенной мастерской.

Я то время не очень хорошо помню. В памяти остался лишь поход в духовное училище, в которое меня отвел брат. Мы Коран учили. Преподаватель, как сейчас помню, ходил по классу с длинной палкой, которой бил непослушных детей. Один раз и мне досталось. Я тогда выхватил эту палку у него из рук, ударил его самого и выбежал из класса. Вся улица тогда обсуждала: «Ах, Каюмов избил учителя». Я после этого пошел учиться в советскую школу.

В 1929 году в школе появился красивый человек — Николай Николаевич Кладо, сын знаменитого царского адмирала. Почему-то он выбрал меня. Взял за руку и привел на узбекскую киностудию. Мне тогда 18 лет было, я в его фильме «Американка

из Багдада» сыграл первую роль батрака.

Через год Кладо привез меня в Ленинград. Все шестнадцать комнат его квартиры были заполнены книгами. Его мама принесла мне «Войну и мир» и спросила, читал ли я этот роман. А я даже имени автора не знал. Тогда она усадила меня за стол, положила передо мной произведение Толстого и сказала, что пока я его не прочту, ни в какой Ташкент не вернусь.

Конечно, я прочитал. А потом и во ВГИК поступил. Правда, не закончил. Мне самому захотелось снимать кино, какая уж там учеба. Кстати, в 1936 году моя картина получила в Нью-Йорке приз «Золотой голубь».

С тех пор я снял более двухсот фильмов, побывал в 103 странах мира, встречался с Шарлем де Голлем, Хо Ши Мином, Ким Ир Сеном, Мао Цзэдуном. Больше всех меня поразил Неру. Мы с Карменом приехали снимать фильм «Утро Индии». Неру нас принял и говорит: «Где-то я вас видел.» Я ответил, что мы встречались с ним в Ташкенте и в Самарканде. И спросил, что ему понравилось в Узбекистане.

«Решение проблемы женщин, — ответил Неру. — То, как за короткое время удалось освободить их от паранджи и сделать равными мужчинам. Если бы удалось этот вопрос решить в Индии, я был бы самым счастливым человеком».

Но самым главным человеком своей жизни я считаю маму. Она до последнего дня жила со мной, мы с ней очень дружили. Мама всегда мечтала съездить в Мекку. Но в те годы это было непросто, да и возраст у нее был уже солидный.

Тогда я сам поехал туда и привез ей оттуда все, что обычно привозят паломники, — святую воду, Коран, коврик для молитвы и бумагу, подтверждающую, что она побывала в Мекке. В честь этого мама решила пригласить гостей и поставила условие, чтобы среди приглашенных был муфтий.

Я привел его.

Всего собралось сто с лишним человек. А брат мой был министром автомобильных дорог Узбекистана. После того как все разошлись, он говорит: «Ну, прощай партийный билет». Времена-то были строгие. Он от волнения даже водки выпил.

На следующий день в 6 часов утра раздался звонок в дверь. Открываю — на пороге Шараф Рашидович Рашидов, первый секретарь ЦК компартии Узбекистана. С подарками, цветами. Обнял маму, поцеловал: «Я вам завидую, у вас хорошие сыновья».

Я потом пошел провожать его и с удивлением увидел, что машину он оставил далеко от нашего дома. Чтобы, значит, ни шофер, ни охрана не видели, куда он пошел. «За мной тоже следят», — видя мое удивление, объяснил Рашидов.

Мы с ним были знакомы 25 лет. Познакомились в Самарканде на вскрытии гробницы Тамерлана. Туда ведь никого не пускали, а его я брал с собой. Я же там командовал всеми. Ну, вы помните, в начале беседы рассказывал. Рашидов тогда был редактором самаркандской газеты.

Началась война. В 42 году иду я по Ржеву и вижу: какой-то узбек шагает с вещмешком. Пригляделся — Рашидов. Обнялись, поцеловались. Оказалось, ему в госпиталь надо было ехать. Причем своим ходом, так как мест в санитарной машине не было. Я его отвез в госпиталь.

А надо заметить, что мое удостоверение было подписано самим Щербаковым, начальником Главного политуправления Советской армии. Когда я предъявил это удостоверение, у начальника госпиталя глаза на лоб полезли. «Чем помочь?» — тут же спросил он. Я попросил устроить Рашидова, мол, какой из него боец с такой рукой.

Закончилась война, я вернулся домой. В один из дней раздается звонок в дверь. Открываю — Шараф Рашидович с фруктами. Так мы с ним всю жизнь и дружили. Вскоре он стал председателем правления Союза писателей, а потом и первым секретарем ЦК компартии, руководителем республики. Умный был человек, образованный и талантливый.

Всегда интересовался, чем может помочь. Я попросил построить здание кинохроники. Так и сделали. Затем обратился с помощью построить Дом кино. «Место нашел? — спросил Рашидов. — Нет? А вон у меня из окна кабинета вид на барак открывается. Давай его снесем и построим Дом кино». Построили.

Аппетит, как говорится, приходит во время еды. «Надо бы Дом творчества построить», — прошу Рашидова. «Трудное дело, — отвечает, — поливные земли придется занимать». Но через неделю согласился. Через какое-то время я попросил отправить наших узбекских актеров в мастерскую ВГИКа. Решили мы и этот вопрос.

Зачем мне все это было нужно? Так ведь самое главное в жизни — быть добрым и помогать людям. Конечно, любое доброе дело не остается безнаказанным. Но, как говорят узбеки, Бог тоже все видит. Мама всегда говорила: «Люби друга и не мсти врагу. Помоги слабому, накорми голодного. Уважай себя, но не отказывай в уважении другим. Если у самого только одна лепешка, отдай ее другому. Это благородство всегда принесет счастье».

Я никогда не забываю мамины слова. И я — счастливый человек. Хотя в жизни всего было немало. И тонул во время съемок, и в катастрофы попадал — и на самолете, и в машине. Но

видите, все закончилось хорошо.

После разговора с Каюмовым я решил съездить в Самарканд, в мавзолей Тимура. Малик Каюмович в ответ на мой вопрос, безопасно ли подходить к могиле Тамерлана, только улыбнулся. «Ничего опасного там нет. Я, правда, туда не езжу. А вы уж сами решайте. Если уж так сильно хочется побывать на той могиле».

Я взял такси, думая часа через три добраться до Самарканда. От Ташкента предстояло проделать путь в триста километров. Водитель от разговора о гробнице Тамерлана всячески уходил, предлагая мне обсудить подробности политической жизни Узбекистана. «Лучше уж подремать», — решил я. Так и путь короче будет.

Стоило мне так подумать и удобнее устроиться на заднем сиденье, как раздался громкий удар, и нашу машину закрутило. То ли водитель тоже решил расслабиться, то ли, наоборот, побыстрее доехать, но в итоге мы оказались на встречной полосе. Огромный грузовик чудом не расплющил нашу машину. Ехать дальше на ней было невозможно, но самое главное — мы остались живы.

«Это московский журналист, — услышал я объяснения таксиста, которые он давал подоспевшим полицейским. — Едет в Самарканд на могилу Тамерлана». Я вздрогнул — то ли от того, что наконец осознал, что произошло, то ли от упоминания имени грозного воина, о силе проклятия которого буквально час назад разговаривал с Каюмовым.

Пока ждал новую машину — от идеи поездки в Самарканд решил не отказываться — успел подумать о многом. Вспомнил, как вообще добирался до Узбекистана. В аэропорту Ташкента мне «по секрету» объяснили, что восьмичасовая задержка московского самолета, уже было начавшего руление по взлетной полосе и неожиданно заглушившего двигатели, была вызвана неисправностью лайнера. Которую вовремя успели заметить.

Но грустных мыслей не было. Наоборот, решил считать 2 июня своим вторым днем рождения. Да и когда бы я еще провел полдня в узбекской степи, где на высоковольтных вышках устраивали свои гнезда аисты?

В результате до Самарканда мы добрались во втором часу ночи. «Из окон вашего номера открывается вид на мавзолей — Эмир, в котором покоится Тамерлан. Если вы внимательно посмотрите, то сможете прочесть надпись, нанесенную над камнем около усыпальницы», — пояснила девушка, выдавая ключи от номера.

Но от усталости мне было уже все равно, главное — добраться до кровати. Даже перспектива пообщаться с самим

Тамерланом не вызвала бы у меня в ту минуту большого энтузиазма.

Утром следующего дня я, разумеется, первым делом отправился в мавзолей. «То, что вы видите, — начал рассказ экскурсовод, — вовсе не настоящая могила Тимура. Подлинная находится под землей. Считается, что того, кто приблизится к ней, потом обязательно постигнет несчастье. Недаром же из участников научной экспедиции по вскрытию захоронения, которое произошло в июне 1941 года, никого не осталось в живых. Проклятие Тамерлана, что вы хотите. Но вас, как дорогого гостя, мы можем проводить в подземелье. Хотите?»

События двух предыдущих дней пронеслись у меня перед глазами. «Решайте сами», — вспомнил я слова Каюмова.

И вежливо отказался.

В Самарканде я так и не успел толком разглядеть надпись на камне. Только вернувшись в Москву и вспоминая о поездке, вздрогнул от расстройства: как же так, забыл! Спасибо ташкентским друзьям, подсказали.

«Все хорошо, что хорошо кончается», — написано возле мавзолея грозного Тимура.

# Путь солдата. Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов

«Да у вас же антисоветская газета, — отреагировал Язов, услышав мое предложение встретиться. — Разве нет? Ну, тогда приезжайте. Только вам придется ко мне домой прибыть, мой кабинет теперь по домашнему адресу располагается».

Признаюсь честно — с предпоследним министром обороны Советского Союза и членом печально известного ГКЧП (Госкомитета по чрезвычайному положению, пытавшемуся в августе 1991 года навести «порядок» в доживавшем тогда свои последние дни Советском Союзе) Дмитрием Язовым я шел на встречу исключительно по поручению главного редактора еженедельной газеты, в которой тогда работал. Близился очередной День Победы, и главред, решив, что лучшей персоны для праздничного номера не найти, продиктовал мне телефон военачальника.

И вот я в пусть и в домашнем, но кабинете настоящего маршала. Последнего в Советском Союзе, кто был удостоен этого звания. На стене — большой ковер ручной работы, на котором вышит парадный портрет хозяина кабинета в форме и при всех орденах и медалях. На книжных полках — сочинения Плутарха, Ленина, Маяковского. Рядом с книгами — две огромные вазы, на каждой из которых тоже изображен Дмитрий Тимофеевич. По словам Язова, это все подарки от организаций, в которых ему довелось выступать с лекциями.

Дмитрий Тимофеевич для нашего разговора предложил сесть на небольшой диванчик, а не занимать классическую позу интервьюера и интервьюируемого за рабочим столом. «До этого у меня только так и было», — сказал он.

У ног приготовившегося отвечать на вопросы маршала расположилась огненно-рыжая собака — американский кокер-спаниель.

— Дмитрий Тимофеевич, спасибо, что согласились ответить на мои вопросы. Надеюсь, разговор получится.

— Ты задавай свои вопросы, а там посмотрим.

— Давайте начнем с того, каким для вас было 22 июня 1941 года?

— Наша семья жила в Омской области. Конец июня — это как раз время окончания всех посевных работ, начало сенокоса. Как писал Некрасов: «Петровки. Время жаркое. В разгаре сенокос». И вот 22 июня 1941 года в нашем районном центре, селе

Оконечникове, проводился большой праздник. Назывался он по-казахски — сабантуй.

Дело в том, что в Омской области проживало, да и сейчас проживает много казахов. В самом разгаре праздника по радио объявили печальную весть: гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Мы, ребятишки, сразу побежали в райвоенкомат записываться добровольцами на фронт. Но нам было по 16 лет, поэтому никого, разумеется, не взяли. Пришлось возвращаться в свой колхоз. Да и работы там было предостаточно. В 41 году уродился хороший урожай, надо было помогать матерям работать в поле.

Осенью я пошел в 10 класс. Но в ноябре, как только мне исполнилось 17 лет, я вновь отправился в военкомат и, прибавив себе один год, все-таки записался добровольцем. Правда, на фронт меня сразу не отправили. В это время в Новосибирске размещалось эвакуированное из столицы Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета. В это училище меня и командировали.

Через три недели тяжелых тренировок некоторые мои товарищи не выдержали и, признавшись, что они набавили себе год, вернулись по домам. А я сказал себе, что трудности надо учиться переносить, так как это пригодится в фронтовой жизни. Таким образом 28 ноября 1941 года я принял воинскую присягу и стал курсантом.

— Какой год войны вам показался самым сложным?

— Лично для меня таким годом стал 1942-й. В июле 42-го Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин вынужден был издать приказ № 227, который известен своим лозунгом «Ни шагу назад!». Это был самый серьезный, самый строгий приказ за все годы Великой Отечественной войны.

Как раз в это время мне было присвоено звание лейтенанта, и я получил назначение на Волховский фронт командиром стрелкового взвода. В первом же наступлении 28 августа я был тяжело ранен и контужен. Так что 1942 год стал сложным во всех отношениях.

Но были в этот год и радостные вести. Как говорил товарищ Сталин, «в 42-м и на нашу улицу пришел праздник». Под Сталинградом была окружена и разгромлена крупная группировка немецко-фашистских войск. И уже после разгрома под Сталинградом удача фашистам больше никогда не сопутствовала.

— Много ваших однополчан не вернулось с фронта?

— Я служил не в одном полку и не в одной дивизии. Так что сложно сказать. В 1943 году я был ранен во второй раз и после

госпиталя в свою дивизию уже не вернулся. А если вообще говорить о наших потерях в Великой Отечественной войне, то могу сказать следующее.

Сейчас появилось много клеветников, которые пытаются доказать, что Красная армия смогла победить в войне лишь из-за того, что «завалила немцев трупами». Такие утверждения не просто ложны, они кощунственны. В течение нескольких лет мы изучали эту проблему, и Генеральный штаб даже издал специальную книгу, в которой отразил все потери Красной армии и потери противника. И цифры почти одинаковы. Однако следует учитывать, что на стороне гитлеровской Германии воевали Венгрия, Румыния, Италия, часть эстонцев, латышей, литовцев, были французские легионы, испанская дивизия, финны.

— Последнее время некоторые историки говорят о 50 миллионах жертв в войне со стороны Советского Союза. Эта цифра правдива?

— Конечно нет. Хотя при желании можно найти подтверждение и большей цифре. К примеру, если учесть не родившихся детей тех, кто погиб на фронте. Или тех, кто был угнан в Германию и в силу пропаганды побоялся вернуться на Родину. Мы же даем данные по Вооруженным силам.

— Вы говорили, что ушли на фронт, не окончив 10 класс. После войны остались в армии или все-таки пошли в школу?

— Войну я закончил в Митаве, это Курляндия, в звании капитана. Оставаться в армии или нет — это зависело не только от меня. Те, у кого были родители, какие-то знания, конечно, уволились и поступили в институт.

Мне был 21 год, когда закончилась война. Действительно, предстояло окончить десятый класс. Это я сделал в 1953 году при ленинградском Доме офицеров, когда у меня уже было двое детей. В том же году я поступил в Академию имени Фрунзе, которую окончил с золотой медалью. Подождите, сейчас похвастаюсь.

Дмитрий Тимофеевич достал из шкафа несколько дипломов, среди которых диплом с отличием Академии им. Фрунзе, диплом Академии Генерального штаба, Высших командирских курсов.

— Получается, остаться в армии было вашей судьбой.

— А что такое судьба? Что-то вроде неотвратимого предначертания? Нет, судьба судьбой, но и самому надо было работать, служить, продвигаться. На мой взгляд, все зависит прежде всего от самого человека.

— Но у вас наверняка есть какие-нибудь заповеди, благодаря которым вам удалось проделать путь от рядового курсанта до Маршала Советского Союза.

— Я во все это не верю. Это полная чушь, когда начинают рассказывать всякие красивые вещи о том, как кто-то мечтал стать маршалом и носил в солдатском ранце маршальский жезл. Чепуха все это. Для меня всегда было ясно одно: надо добросовестно трудиться, быть честным перед собой. Только тогда придет успех.

Я ведь никогда не стремился что-нибудь получить нечестным путем. Как нынче говорят, по блату. Да и не было у меня никакого блата. Отчим погиб на фронте. Мать была малограмотной крестьянкой, на которой висела семья из шести малолетних детей. Так что я надеялся только на себя, на свои силы. И много работал.

— А как вы стали министром обороны? Ваше назначение состоялось как раз после того, как иностранный летчик Руст посадил свой самолет на Васильевском спуске возле Кремля и маршал Соколов был снят с должности.

— Да, это произошло в конце мая 1987-го. Почему Русту дали сесть около Кремля? Конечно, не из-за того, что мы его проспали и не увидели. Существовало специальное постановление правительства о том, чтобы не сбивать иностранные гражданские самолеты. Оно было принято после того, как советские ПВО сбили мирный «Боинг».

Было известно, что самолет Руста гражданский, так как наши истребители поднимались и докладывали обстановку. Никто, конечно, не предполагал, что он посадит свой самолет на Васильевском спуске.

В этот день ни министра обороны, ни Горбачева в Москве не было. Они находились в Берлине на консультативном совещании стран-участниц Варшавского договора. Так что Соколов ничего не мог сделать. Но ситуацией с Рустом просто воспользовались, чтобы избавиться от маршала.

К этому времени между Соколовым и Шеварднадзе, который тогда был министром иностранных дел СССР, сложились довольно натянутые отношения. Основной причиной недовольства МИД Генеральным штабом было то, что последний открыто выступал против политики Шеварднадзе, шедшего по всем позициям навстречу американцам, часто не в интересах Советского Союза.

Так вот, из-за посадки Руста состоялось заседание Политбюро, на котором обсуждался вопрос о том, кто же виноват в сложившейся ситуации. Было решено, что основная вина лежит на Министерстве обороны, и Горбачев намекнул маршалу Соколову: «Сергей Леонидович, по-моему, вам пора определиться». Стало ясно, что Соколову надо уходить в отставку.

После заседания все члены Политбюро прошли в Ореховый зал. А мы — все, кого приглашали на заседание, — вышли в коридор. Минут через двадцать из Орехового зала вышел заведующий административным отделом ЦК КПСС, взял меня за руку и сказал: «Пойдем».

Когда я представился членам Политбюро, Горбачев обратился ко мне со словами: «Мы посовещались и решили назначить вас министром обороны». Я пытался отказаться от высокого поста, мотивируя отказ своей неготовностью к принятию должности. Но Михаил Сергеевич в шутку пообещал дать мне дополнительные сутки для принятия дел, все засмеялись, и я понял, что вопрос уже решен.

Да и не мальчишка же я был, чтобы, прослужив около 50 лет в Вооруженных силах, ломаться перед членами Политбюро. В этот же день был опубликован указ о моем назначении на пост министра обороны Советского Союза.

— Как вы думаете, почему выбор Горбачева пал именно на вас?

— Сложно сказать. Я несколько лет командовал Дальневосточным военным округом. Это один из самых крупных округов Союза и по территории, и по численности войск. Когда Горбачев прибыл на Дальний Восток, я сопровождал его во время поездок по полкам ДальВО.

Горбачеву понравился мой доклад на встрече с командующим армиями, флотами и пограничными округами. Я не стал скрывать количество происшествий и преступлений, которые были в моем округе.

А потом на Михаила Сергеевича произвела впечатление и огромная экономия хлеба, которая была в наших частях.

В солдатских столовых хлеб клали на отдельный столик, и каждый брал столько, сколько считал нужным. В результате такого подхода нам удалось сэкономить около 9 тыс. тонн хлеба. А именно столько сдавал государству средний колхоз. Естественно, все это понравилось Горбачеву. А потом ему обо мне говорил и министр обороны, и секретарь обкома.

— А еще я слышал, что вашу кандидатуру поддержала и Раиса Максимовна, первая леди СССР. Мол, ей очень импонировало ваше увлечение поэзией.

— Я не думаю так. Раису Максимовну тогда я не знал и стихотворений ей не читал. Я тогда вообще стихами не очень увлекался. Начал писать их в «Матросской Тишине», чтобы как-то поддержать мою дорогую Эмму Евгеньевну. Написал ей в тюрьме около 200 стихотворений. Но это уже другой разговор.

— Дмитрий Тимофеевич, название улицы, на которой стоит

ваш дом, уж больно символично — Маршал Советского Союза Язов живет на улице полководца Александра Невского.

— В эту квартиру мы въехали после августа 1991 года. До этого жили по соседству с Горбачевыми. Но уже на следующий день после моего ареста в ту квартиру пришел назначенный вместо меня министром обороны Шапошников. Евгений Иванович посмотрел квартиру и въезжать в нее не стал. Но и мы там жить тоже больше не захотели.

Ситуация осложнялась тем, что я находился в тюрьме, а Эмма Евгеньевна была в гипсе. 19 мая 1991-го мы с ней попали в аварию. Но, как видите, она смогла справиться со всеми тяготами. Уехала она и из Баковки, где находилась наша государственная дача, положенная мне как министру обороны. Одной-то ей было тяжело. Раньше нам продукты привозили, а теперь ей приходилось самой за несколько километров ходить в магазин. Так что мы оставили все, что связывало нас с прежней жизнью. Но поверьте, ничуть об этом не жалеем.

— Не могу не спросить: как проходил ваш арест?

— 21 августа мы прилетели к Горбачеву в Форос. Следом за нами туда же прибыли Руцкой, Силаев, Бакатин, Примаков. Горбачев нас не принял, а стал разговаривать с ними. И где-то часов в десять на своем самолете он полетел в Москву. Так что путча никакого не было. А если хотите, я могу прочесть вам свою рукопись.

Язов взял с полки красную папку, в которой были сложены стандартные листы бумаги. Ровным почерком на них излагалась история жизни маршала. Первые два листа маршал прочел вслух.

— «Это было в 2 часа 15 минут 22 августа 1991 г. Разрывая густые серые облака, президентский самолет ИЛ-62 шел на посадку в аэропорт „Внуково-2”. Предчувствуя недоброе, я всматривался в иллюминатор в ярко освещенную юпитерами площадку, где суетились какие-то люди в камуфлированной форме, бегали солдаты, от стеклянного здания отходили машины. Перед нашей посадкой в аэропорту приземлился самолет с президентом Горбачевым и его семьей. Вместе с ним летели Руцкой, Бакатин, Примаков и охрана. Под предлогом „поговорим в самолете” с Горбачевым улетел Крючков. Мы — Лукьянов, Ивашко, Бакланов, Тизяков и я — летели из Крыма с временной разницей в 1520 минут.

Подали трапы. Я обратил внимание, что к каждому из трапов подошли по трое крепких мужчин, приняли соответствующие стойки. Я сказал сопровождающему меня полковнику Акимову, что сейчас меня арестуют. „Не может быть, — возразил он. — От президента передали, что вам назначена встреча завтра в Кремле

в 10 утра”.

Спустившись с трапа, я подошел к зданию. При входе в зал Баранников сказал Акимову: „Вы свободны. А вас (обращаясь ко мне) прошу пройти в следующий зал”. Мы вошли в небольшую комнату, где обычно располагалась охрана. Там стоял незнакомый мне молодой человек с копной нестриженных волос. Он довольно бойко представился: „Я прокурор России Валентин Георгиевич Степанков”. И спросил, есть ли у меня оружие.

И здесь же объявил мне, что я арестован по подозрению в измене Родине в соответствии со статьей 64 УПК. Я слышал, как за дверью работали двигатели различных марок автомобилей, представители Баранникова выстраивали колонну, заходили и о чем-то спрашивали его и прокурора. Затем предложили мне идти к машине. Повели к „Волге”. Я сел на заднее сиденье между охранниками, которые были вооружены автоматами Калашникова. На первом сиденье тоже размещался вооруженный офицер КГБ. Наступила зловещая тишина, и только.»

На этом месте голос маршала прервался. Возможно, он устал. А может, неприятные воспоминания вновь захлестнули душу. Отложив в сторону рукопись, Дмитрий Тимофеевич обратился ко мне:

— Давайте дальше свои вопросы. Хватит об этом, что время зря терять.

— Вы часто в людях ошибались?

— Это очень сложный вопрос. Конечно, мне приходилось ошибаться. В том же Шапошникове. Ведь это я рекомендовал его на должность главкома ВВС. А он оказался самым что ни на есть карьеристом. В своей книге «Мой выбор» он пишет, что вышел из партии и гордится этим. А зачем же он тогда в нее вступал?

И потом я, конечно, жалею, что голосовал за Горбачева. А ведь именно он был инициатором развала Союза. Когда мы стали говорить ему о надвигающейся беде, он не стал нас слушать. Амбиций у него оказалось больше, чем ума. И в результате все получилось так, как получилось.

— Форму сегодня часто надеваете?

— Да нет. Только когда встречаюсь с ветеранами, надеваю маршальскую форму без наград. Но обязательно с маршальской звездой.

— Знаете, я и не предполагал, что мы с вами будем говорить обо всем — и о политике, и об экономике.

— А вы что же думаете, что военные — недалекие люди? Конечно, это не так. Неужели вы полагаете, что почти за 60 лет, которые я отдал службе, я так ничему и не научился? Могу рассуждать и о политике, и о сельском хозяйстве. Когда я

командовал Среднеазиатским военным округом, у меня было 5 совхозов, на Дальнем Востоке — 7 совхозов. И между прочим, надои от каждый коровы были весьма и весьма неплохими.

— Если позволите, задам вам такой вопрос: вы верите в Бога?

— Я всегда был и остаюсь в высшей степени атеистом. Ну не верю я, что кто-то создал Землю. Но если человек во что-то верит и считает, что эта вера ему помогает, я ничего против не имею. Я ведь тоже во что-то верю.

— А во что, Дмитрий Тимофеевич?

— Я верю в то, что общественная собственность на средства производства — наиболее прогрессивный общественный строй. Я приверженец учения Ленина.

— Вы сегодня довольны жизнью?

— Такого, чтобы быть всем довольным, наверное, не бывает. Я жалею, что поддерживал Горбачева, способствовал его продвижению. Но и каяться мне не в чем. Однажды ко мне подошел молодой человек и спросил: «Дмитрий Тимофеевич, а вы не хотите покаяться?» На что я вполне искренне воскликнул: «А перед кем, собственно, и за что?»

— А что вам интересно в сегодняшней жизни?

— Интересна сама жизнь. С любым академиком могу говорить на любые темы. Я считаю, что уровень твоего развития определяется не только тем, где ты учился, но и тем, что ты читаешь. Я, например, могу процитировать всего Плутарха. Часа полтора могу читать Владимира Маяковского. На спор продекламирую всего «Евгения Онегина» Пушкина.

Все свое свободное от службы время я посвящал литературе. К сожалению, не могу похвастаться музыкальными познаниями. У меня ведь нет слуха. Но все равно почти на всех постановках Мариинского театра в Петербурге и Большого театра в Москве мы с супругой были. А дома я тоже люблю послушать музыку. Не так давно открыл для себя Ефима Шифрина. Имею в виду его песню «Южная ночь». Очень хорошая песня.

С этой песней связана одна довольно трогательная история. Как мне рассказала жена Язова Эмма Евгеньевна, она как-то решила сделать мужу подарок и купить кассету с этой песней. Но так получилось, что ни в одном киоске ее не было. На улице пошел дождь, уже смеркалось. А Эмма Евгеньевна все равно отправилась на самый край Москвы, где, как ей сказали, могла быть кассета, и все-таки раздобыла «Южную ночь». Радости Дмитрия Тимофеевича не было предела!

Несмотря на его слова об отсутствии слуха, он довольно неплохо танцует. Когда наш разговор подошел к концу и диктофон был выключен, маршал пригласил меня на чашку чая.

В столовой вдруг заиграл магнитофон с «Южной ночью». Дмитрий Тимофеевич немедленно поднялся из-за стола и, пригласив жену на танец, закружился с ней в вальсе.

А потом он читал стихи. И делал это замечательно! Эмма Евгеньевна шепнула мне, что это были его собственные стихи.

Уже прощаясь с Язовым, я задал последний вопрос:

— Если оглядываться на прожитую жизнь, что в ней является вашей гордостью?

— Мое участие в Великой Отечественной войне. То, что мне удалось пролить кровь за Победу. И второе, чем я горжусь, — это то, что мне удалось без всякой «мохнатой» руки честно прослужить более полувека в Вооруженных силах и самому пройти все ступени армейской службы от рядового курсанта в 1942 году до маршала в 1990-м.

По-моему, неплохой путь русского солдата.

# Дон Кихот из Сололаки. Актер Кахи Кавсадзе

Он живет в самом центре грузинской столицы — в старинном районе Тбилиси, который называется Сололаки. Часто ходит по городу пешком, вызывая добрые улыбки не только у туристов, но и у коренных тбилисцев.

Актера Кахи Кавсадзе знают и любят все. Чего стоят только одни его работы в кино — Абдулла в «Белом солнце пустыни», Дон Кихот в фильме «Житие Дон Кихота и Санчо» Резо Чхеидзе, роль Михаила Коришели в легендарном «Покаянии» Тенгиза Абуладзе. При этом кроме блистательной актерской игры — Кахи вот уже полвека выходит и на сцену прославленного театра имени Руставели — Кавсадзе знаменит репутацией хорошего человека.

При личном знакомстве я понял, что он еще и уникальный рассказчик. В просторную трехкомнатную квартиру актера, наверняка роскошную по советским меркам, я пришел аккурат в то мгновение, когда в городе отключили свет. В доме было светло, благо часы только пробили три часа пополудни. Но батони Каха (в Грузии именно так, без отчества, принято уважительно называть собеседника), усадив меня на кожаный диван и придвинув для себя кожаное кресло, какое-то время расхаживал по комнате и эмоционально рассуждал о том, почему люди удивляются, что иногда нет света, ведь его отключают и в Америке, где живет сын Кахи.

Минут через десять маленький моноспектакль для одного зрителя был закончен (стоит ли говорить, что я в очередной раз сожалел, что записываю своего героя не на видеокамеру), и Кавсадзе, расположившись в кресле, согласился ответить на мои вопросы.

За все три часа нашей первой беседы я задал их всего несколько. При этом на каждый хозяин дома реагировал так, что его ответ мог легко стать основой если не фильма, то маленького рассказа.

— Конечно, у каждого человека есть судьба. Все в жизни идет так, как должно. Если, разумеется, человек не совершает каких-то фатальных ошибок.

Но в таких случаях он обычно и сам чувствует, что делает что-то не то, не в ту сторону идет. Тогда надо остановиться и изменить ход своей жизни. Мне это тоже приходилось делать.

Я — счастливый человек! Прожил 26 лет с любимым

человеком. Правда, 23 года из них моя жена была серьезно больна, но это ничего не меняет. Ведь она была рядом со мной.

После ее смерти я не знал, как мне жить дальше. И тогда мой друг, режиссер Мераб Кокочашвили, сказал: «За эти 26 лет ты был счастлив? Был. Часто? Все годы. А сколько есть людей, которые не испытывали чувство счастья даже одного часа». И я успокоился.

Мне повезло работать с хорошими режиссерами. Одного из них, Тенгиза Абуладзе, я и вовсе могу назвать своим другом. Мы много разговаривали с ним. Помню, как он рассказывал мне об идее фильма о том, как мужчина каждую ночь выкапывает тело человека, искалечившего жизнь его семьи. А потом вдруг Тенгиз спрашивает: «А если тело будет выкапывать не мужчина, а женщина?» Я сказал, что так получится значительно интереснее.

В итоге в фильме «Покаяние» именно так все и происходит.

Тенгиз был очень интересным человеком. И замечательным режиссером. Помню, мы снимали одну сцену в «Покаянии», когда мой герой должен биться головой о белый рояль. Как мне в тот день не хотелось сниматься! Вечером предстоял важный спектакль в театре, и я все время думал именно об этом. Пришли мы на съемочную площадку, и вдруг поднялся такой ветер, что съемки были отменены.

Я спокойно отыграл вечером спектакль, а наутро пришел на съемки и хорошо отснялся. Потом признался Тенгизу в своем нежелании выходить на съемочную площадку вчера.

— Почему же ты не сказал об этом? — удивился Абуладзе. — Я бы обязательно отменил съемку!

То, что этот фильм был снят и вышел на экраны, во многом произошло благодаря Эдуарду Шеварднадзе. Фильм снимался по заказу пятого канала телевидения Грузии, единственного, который не контролировался цензурой из Москвы.

«Покаяние» — это фильм, за который мне не стыдно.

И который, уверен, будут смотреть мои дети и внуки.

Сын Ираклий десять лет назад уехал в США. У меня тогда в театре произошел конфликт с режиссером Робертом Стуруа, и сын рассудил: «Тебе за это ничего не будет, а на мне он отыграется». Так оно и произошло. На одной из репетиций Ираклий послал Стуруа куда подальше и ушел из театра.

Он не думал навсегда уезжать в Америку. Когда первый раз увидел Нью-Йорк, то сказал, что никогда бы не смог там жить, так как это «сатанинский город». А на меня, наоборот, Нью-Йорк произвел колоссальное впечатление. Какими же были люди, которые смогли построить такой город! И какими были те, кто заказал им возвести все эти небоскребы и мосты, которые и

сегодня, спустя столько десятков лет, стоят и работают?

Но в итоге получилось так, что друг сына, который уже жил в США, предложил ему работу, и Ираклий переехал.

В Грузию за эти годы он приезжал всего один раз.

А я, наоборот, никогда даже не мог себе представить, чтобы уехать из Грузии. Что я буду делать в той же Америке? Там ведь даже панихид нет.

У нас панихиды — это своеобразный клуб, мы все встречаемся и говорим «за жизнь». Вы знаете, что в Грузии самые большие сплетники — это мужчины?

Или это прекрасное «ничегонеделание», которое есть у грузин! Это же прекрасно!

Моего деда звали Александр, друзья называли его Сандро.

Он родился в 1873 году и был на пять лет старше Сталина, с которым вместе учился в Горийской духовной семинарии. Для детей пять лет — это большая разница. Если вам семь, а мне двенадцать — то между нами пропасть. Маленький Сталин пел в хоре, которым руководил мой дед. И воспринимал Сандро как учителя.

Когда в 1937 году в Москве проходила декада грузинского искусства, то на гастроли поехал и коллектив деда. После выступления артистов пригласили на банкет в Кремле.

Дед рассказывал, что Сталин вышел к гостям с небольшим опозданием, все это было, конечно, красиво срежиссировано. Едва он появился в дверях, как весь зал взорвался криками восторга и аплодисментами.

Сталин пару секунд послушал обрушившуюся в свою честь лавину народной любви и поднял правую руку, ладонь которой была обращена к собравшимся. Как по мановению, зал тут же обратился в тишину. Все не то что говорить — дышать боялись. И вот в этой тишине Сталин тихо произнес:

— Сандро здесь?

Он искал моего деда.

Толпа расступилась. Образовался живой коридор, с одной стороны которого стоял Сталин, а с другой — мой дед. И оба не двигались с места.

Дед же был старше Сталина, к тому же являлся его учителем. Но и положение Сталина тоже было необычным — он ведь был вождь. В итоге они оба пошли навстречу друг другу и встретились аккурат в середине этого образованного из артистов коридора.

Сталин обнял деда:

— Какой красавец!

— Я всегда был красивее тебя.

Все замерли. А Сталин рассмеялся:

— Ты совсем не изменился, — и пригласил деда к своему столу.

Когда было поднято несколько тостов, Сталин обратился к деду с предложением:

— Проси чего хочешь!

— Подари мне трубку, которую сейчас куришь.

Вождь опять улыбнулся. И со словами: «А ты и правда все такой же» — положил трубку в чехол и протянул деду.

Все это и сейчас хранится у меня дома. Чуть рваный чехол, который таким и был у Сталина, и трубка, которая потом долгие годы сохраняла аромат сталинского табака.

Незадолго до смерти деда положили в кремлевскую больницу. В один из дней ему принесли письмо Сталина. На грузинском языке тот писал: «Мне сказали, что вы больны, — это плохо. Но говорят, что должны поправиться, — это хорошо. Живите тысячу лет, ваш Сосо». Годы спустя это письмо очень поможет нашей семье.

Деда не стало в 1939 году. Его место в ансамбле занял мой отец Давид, который был не только замечательным певцом, но и очень хорошим руководителем. Я храню большую фотографию, на которой запечатлен весь коллектив под руководством Давида Кавсадзе.

На первом плане — отец и тогдашний председатель комитета по культуре Грузии. Только отец стоит на несколько сантиметров впереди него.

Подобная вольность стоила отцу жизни.

Когда началась война, все танцоры и певцы ансамбля Кавсадзе получили бронь. Не было ее только. у руководителя, моего отца. И его призвали на фронт.

Потом выяснилось, что бронь на него конечно же была. Вот только по каким-то причинам ее не смогли вовремя обнаружить. Понятно, что таким образом председатель комитета по культуре отомстил отцу.

В 1942 году под Керчью было страшное сражение. Очевидцы рассказывали, что даже море горело. Причем в буквальном смысле — разлилась нефть, и все вокруг полыхало.

Отец принял участие в той битве. Она напоминала Гражданскую войну, так как на стороне немцев воевали грузины, вступившие в ряды отряда «Белый Георгий», которым обещали, что после победы Гитлера Грузии будет возвращена независимость.

К нам в Тбилиси пришла похоронка. Целый год мама получала дополнительную пенсию. А потом оказалось, что отец жив.

На самом деле он попал в плен. Немцы тогда предложили всем пленным грузинам:

«Если у вас за границей есть родственники или знакомые, пусть они напишут нам, и мы вас освободим». Фашисты настолько были уверены в своей скорой победе, что иногда совершали такие вот неожиданные поступки.

У отца родственников за границей не было. Но друзья были — те, кто покинул Грузию в 1921 году после того, как страна потеряла свою независимость и стала одной из советских республик.

Имя Давида Кавсадзе знали за границей, и кто-то написал письмо, что готов взять отца к себе. И его не только освободили, но и предложили создать из пленных такой же ансамбль, каким отец руководил в Грузии.

Он ходил по лагерям смерти и искал грузин. Заходил в барак, обитатели которого вот-вот должны были отправиться в газовую камеру, и по-грузински говорил:

— Если среди вас есть грузины, выходите.

И порою слышал в ответ:

— Я армянин из Авлабара. (Это район Тбилиси.)

— А я азербайджанец из Кахетии! (Это регион в Грузии.)

— Я еврей из Кутаиси.

— Я русский из Сололаки.

И всем им отец говорил:

— Выходи.

Когда какой-то немецкий офицер выразил неудовольствие, зачем отцу так много народа, папа ответил: «Сначала надо собрать людей, а потом уже решим — кто способный, а кто — нет». И если из пленных кто-то действительно не мог петь, отец помогал ему подлечиться и бежать.

Когда я уже стал актером и приехал на гастроли в Австралию, ко мне подошел один человек.

— Вы ведь сын Давида Кавсадзе? Ваш отец спас мне жизнь.

Он пригласил меня в гости и за накрытым столом поведал историю своего спасения.

— Я вышел из строя, но честно признался, что петь не умею. И ваш отец сказал, чтобы я не переживал, а поправлялся и бежал при первой возможности. Так я в итоге и оказался в Австралии.

Одним словом, отец создал ансамбль. Их одели в грузинские национальные костюмы и позволяли устраивать концерты. А нам сообщили, что наш отец не пал смертью храбрых, а попал в плен.

А это означает, что он — изменник Родины и никакая пенсия нам не полагается. Мало того, маму обязали вернуть те деньги, которые она успела получить за то время, пока отец считался

погибшим.

Я хорошо помню, мне тогда было семь лет, как мама из своей и без того скудной зарплаты возвращала деньги. Мы едва могли сводить концы с концами.

Но все равно мы были счастливы — наш отец был жив.

Однажды ночью в дверь кто-то постучал. Мама открыла, но никого не увидела. Лишь на полу перед квартирой белел маленький лист бумаги. Оказалось, это была фотография, на которой был изображен отец и его новый коллектив.

Окончание войны в 1945 году отец встретил в Париже, где его ансамбль пользовался большим успехом. Их уже собирались отправить на гастроли в Америку, как к отцу явился какой-то человек и принялся убеждать его вернуться в Советский Союз. Там, мол, его давно простили, и он сможет соединиться со своей семьей и трудиться на благо родины. И отец поверил этим обещаниям.

Приехав в Москву, он первым делом отправился к своему другу, режиссеру Михаилу Чиаурели.

Тот попытался убедить отца не ездить в Тбилиси. Один из любимцев Сталина, Чиаурели знал, что в Грузии отца обязательно арестуют. Но прямо сказать об этом он не мог. Равно как и уговорить отца остаться в Москве.

А случись это, вся его жизнь могла бы сложиться иначе. Чиаурели мог бы взять его на одну из встреч с вождем и там представить, как сына того самого Сандро Кавсадзе, которого так любил Сталин. После этого отца бы никто пальцем тронуть не посмел.

Но все произошло именно так, как произошло.

Из Москвы папа позвонил нам: «Встречайте, поезд такой-то, вагон такой-то». В назначенный день мы примчались на вокзал, но отца в вагоне не было. Как потом оказалось, его арестовали в Сочи. А мы смогли увидеть его уже только в КГБ, когда нам позволили свидание.

Мы вошли в комнату и увидели поседевшего усталого мужчину, в котором с трудом узнали отца.

Первое, что ему сказала мать, указав на нас с братом:

— Это твои дети.

Мне тогда было десять лет, а брату восемь. Папа посадил нас к себе на колени и первым делом спросил:

— Музыке учитесь?

— Учимся, папа.

Потом отца приговорили к ссылке в Свердловскую область. Мы об этом узнали, когда в очередной раз принесли передачу в тюрьму и у нас отказались ее принять.

«А вот оттуда он уже не вернется», — горько произнесла мама.

У нас дома в тот же день устроили обыск — мы уже официально считались членами семьи врага народа. Вся квартира была перевернута вверх дном.

— Вы что, письма Гитлера ищете? — спросила у солдат мать.

Как мы потом поняли, они искали ту самую фотографию, которую нам сумел переслать отец во время войны. А мать, как только раздался стук в дверь и она догадалась, зачем к нам пришли, спрятала это фото у себя на груди.

Там искать энкавэдэшники не осмелились. И эта фотография у нас сохранилась.

В результате обыск ничем не закончился, но нас фактически лишили квартиры — две комнаты из трех были опечатаны.

И тогда мать отправилась в Москву, к Сталину. Чтобы добиться встречи с вождем, она позвонила Эгнаташвили, коменданту Кремля, который, как все говорили, приходился Сталину родным братом по отцу.

Тот принял маму, но сказал, что встречу со Сталиным он может попытаться организовать лишь через несколько месяцев. Так долго оставаться в Москве мама не могла — в Тбилиси же находились мы с братом. И тогда она показала Эгнаташвили то самое письмо, которое деду прислал в сентябре 1937 года Сталин.

Письмо произвело впечатление, и Эгнаташвили устроил маме встречу с одним из больших чиновников КГБ. Тот бережно достал письмо из конверта (на нем по-русски было написано: «Товарищу Александру Кавсадзе от И. Сталина») и нежно, словно боясь причинить ему боль, обеими руками положил листок на стол перед собой.

«На своем пишет, — прокомментировал он, увидя грузинские слова. А потом продолжил: — Вы даже не представляете, что вы имеете! С освобождением мужа я вам ничем помочь не могу, это не входит в мою компетенцию. А вот с квартирой мы вопрос решим сегодня же».

И правда, мама находилась еще в Москве, когда к нам пришли офицеры и сорвали с запертых дверей печати.

Отец прожил в ссылке семь лет. Мама лишь один раз смогла съездить к нему. Устроилась проводником товарного состава, оставила нас с братом у своей сестры и поехала к отцу. Тогда только в один конец дорога занимала больше месяца.

А так мы обменивались с отцом письмами и фотографиями. Он все удивлялся — неужели на самом деле мы с братом так быстро растем. И мы отправляли ему карточки: на одной стою я, затем мама и, наконец, самый маленький по росту мой брат. На

другом фото уже другая композиция: я, мой брат и самая маленькая — мама.

В 1952 году мы хоронили сестру матери. Помню, было очень жарко на улице, и вдруг у меня началась какая-то дикая истерика: я принялся рыдать и не мог остановиться. Потом мы узнали, что в это мгновение в ссылке умер мой отец. Спустя время нам вернули его вещи — письма и наши фотографии, которые он хранил.

Мамы не стало, когда ей было 68 лет. Она умерла у меня на руках. Никогда не забуду, как она изогнулась, ее глаза потеряли фокус, а с уст сорвалось имя отца: «Даташка». И она ушла навсегда.

Я не знаю, как они познакомились с отцом. Мама об этом никогда не рассказывала. Но они очень любили друг друга. Всегда. Мама осталась одна, когда ей было двадцать девять лет, и всю жизнь прожила одна.

Я хотел перевезти из Сибири прах отца. Но мне друзья сказали: «Ты приедешь туда, тебе укажут на могилу под номером и скажут, что здесь похоронен твой отец. Ты перевезешь останки в Тбилиси. И потом всю жизнь будешь думать — действительно ли это могила твоего отца или нет. Подумай хорошенько, прежде чем это сделать».

Я подумал и решил оставить все так, как есть. Если уж у моего отца такая судьба — быть похороненным в Сибири, значит, так оно и должно быть.

Когда Хрущев прочитал доклад о культе личности Сталина, тысячи людей стали приходить к памятнику Сталину, который раньше стоял в районе Сухого моста в Тбилиси. И дело было не в том, что все они хотели защитить Сталина, нет. Просто народ посчитал себя оскорбленным — ведь получалось, что все тридцать лет, что правил диктатор, они были слепыми баранами, которые поклонялись не тому, кому надо, а тому, кому приказывали. Если бы Хрущев просто сказал, что Сталин был такой и сякой, и на этом остановился, то такой волны возмущения, может быть, и не поднялось. Но Хрущев заявил, что прав был только он один, и теперь верить следовало, соответственно, ему. Это уже было прямое оскорбление, и народ не выдержал. Это, кстати, был первый удар по Советскому Союзу, казавшемуся несокрушимым.

Доклад был прочитан Хрущевым 25 февраля 1956 года, а уже в начале марта о нем знала вся Грузия. Поначалу митинги носили мирный характер.

Я с друзьями тоже был там, мы даже принесли к памятнику огромный венок. Толпа была громадная, наверное, в несколько тысяч человек. Памятник стоял на двух мраморных плитах —

справа и слева. На одну из этих плит, как на сцену, поднимался очередной выступающий и говорил речь.

Помню, рядом со мной в толпе стоял один мой знакомый, Илико Ломидзе. И вдруг он, почти не размыкая губ, говорит мне: «Хочешь, я сейчас всю толпу поставлю на колени?»

А надо заметить, что Илико был прирожденным трибуном, у него даже рот, когда он начинал говорить, словно складывался в трубочку-рупор. Но одно дело пламенно и громко произносить речи, а другое — поставить на колени тысячи человек, да еще возле памятника Сталину.

Разумеется, я ему не поверил. И тогда Илико, хитро посмотрев на меня, зычно произнес:

— Да здравствует товарищ Сталин, человек, которому мы верили, вместе с которым победили в войне!

И далее продолжал в таком же духе. И когда толпа уже полностью была под обаянием его выступления, он неожиданно закричал:

— На колени!

И тысячи человек опустились на колени. Это было очень страшное зрелище!

Чем вообще страшен митинг? Там нельзя выражать мнения, отличного от точки зрения собравшегося большинства.

И если бы кто-то позволил себе в тот момент не стать на колени, его бы просто разорвали на месте.

Илико трижды то поднимал толпу с колен, то заставлял на них опуститься. Когда все закончилось, он хитро посмотрел на меня. Вот, мол, а ты сомневался. С тех пор я никогда не хожу на митинги. А когда их вижу, то начинаю искать в толпе человека, который может в любой момент крикнуть: «На колени!»

Митинги продолжались несколько дней, народ даже на ночь не расходился. По городу ездили грузовые машины, на открытых кузовах которых стояли переодетые в костюмы Ленина и Сталина артисты. И когда машины делали остановку, толпа скандировала: «Ленин, поцелуй Сталина!» И артист в костюме Ильича целовал своего облаченного в наряд вождя всех времен и народов коллегу. Потом команда менялась: «Сталин, поцелуй Ленина!» И артисты опять исполняли волю собравшихся.

Числа 8 марта среди митингующих стали звучать такие разговоры: «Надо отправить Хрущева в отставку и поставить на его место Молотова!»

Кто-то предлагал отправить телеграмму Мао Цзэдуну и попросить у него вооруженную помощь. Из уст в уста передавали, что Мао Цзэдун уже прислал ответную телеграмму и вот-вот отправит железнодорожный состав с войсками.

Ну, этого власти уже допустить конечно же не могли.

И на улицы Тбилиси были выведены войска.

В нашей компании было пять человек. Четверым удалось спасти, а один наш друг был убит в уличной перестрелке. Мой брат в те дни пел в Опере — отменять спектакли никто не решился, это было бы равноценно объявлению чрезвычайного положения.

9 марта, когда противостояние достигло пика, мы с братом от Оперы, расположенной на проспекте Руставели, с трудом добрались до дома. Наши окна выходили на набережную Куры, где стоял памятник Сталину. Солдаты сбрасывали трупы молодых людей в реку, и она была красной от крови. Все это происходило, заметьте, в 1956 году!

Мы потом рассказывали о том, что пережили, и все удивлялись — о событиях в Тбилиси никто ничего не знал. Все было обставлено втайне. Родственникам даже не позволили нормально похоронить своих расстрелянных детей — возле гроба позволили находиться только отцу или матери. Потом уже, спустя годы, было дано разрешение по-человечески перезахоронить этих несчастных ребят.

Когда мы с братом пришли в ту ночь домой, наша мать открыла нам дверь и, не впуская в дом, сказала: «На улице убивают ваших друзей! Вы должны быть со своим народом!»

И фактически выставили нас за порог. Мы, конечно, не пошли на улицу, это было физически невозможно — там ходили солдаты и стреляли. Мы отсиделись в подъезде и под утро вернулись домой.

С мамой о том дне мы никогда не говорили.

Она думала, что я стану художником. Я тоже никогда не думал, что стану актером. Как-то взял и нарисовал лошадь. Получилось довольно хорошо. Мама, которая увидела мой рисунок, сказала: «Может быть, ты станешь художником?» Но настаивать на этом не стала.

Она была врачом, хорошим, надо заметить. Но сама всю жизнь мечтала быть художником и поступить в Академию художеств. Но бабушка была категорически против. Она считала, что в жизни надо иметь нормальную профессию, которая точно обеспечит кусок хлеба. И заставила маму пойти в медицинский.

Мама всю жизнь жалела о том, что не смогла осуществить свою мечту. И поэтому на меня никак не давила и предоставила возможность все решить самому.

А я долго не мог разобраться в себе — какая профессия мне ближе. Удивительно: мы жили в доме, где имели квартиры самые известные деятели культуры Грузии, а мысли связать свою жизнь

с театром или кино меня никогда не посещали.

Когда мне исполнилось 17 лет и я заканчивал школу, меня неожиданно пригласили сниматься в кино. Я успешно прошел пробы и был утвержден на главную роль.

А для начинающего актера есть два самых важных человека. Это первый режиссер — им для меня стал Леонид Варпаховский, знаменитый режиссер, которому после ссылки не позволили вернуться в Москву и он приехал в Тбилиси, работал вторым режиссером на картине, в которую меня пригласили.

Спустя годы Варпаховский все же уедет в Москву и в 1966 году поставит в театре имени Моссовета спектакль «Странная миссис Сэвидж». Это был легендарный спектакль, первой исполнительницей главной роли стала Фаина Раневская, потом миссис Сэвидж играла Любовь Орлова, а в конце — Вера Марецкая.

Так что с режиссером мне повезло. Как и с первым партнером, им был любимец Грузии Гоги Шавгулидзе.

У меня с ними сложились очень хорошие отношения.

Начались съемки. И надо же было такому случиться, что в один из дней я отправился купаться на реку, неудачно нырнул и получил тяжелую травму ребер. Ни о каком продолжении съемок не могло идти и речи, и мою роль сыграл другой человек. А я почти целый год пролежал в постели, так как не мог даже двигаться.

Но знаете, я очень благодарен судьбе за то, что не снялся в том фильме. Потому что произойди это, я никогда бы не стал актером. Ну вышел бы фильм, я стал бы популярным в Тбилиси парнем и на этом все и закончилось. Поступил бы наверняка в политехнический институт, куда пошли все мои друзья.

А так я имел возможность целый год лежать дома, читать, слушать оперу и размышлять о том, чем мне нужно заниматься в жизни.

Я обожал оперу и знал наизусть все знаменитые оперы, мог пропеть их от первой ноты до последней.

Отец Софико Чиаурели Михаил собирал оперные пластинки, у него была громадная коллекция. А мы с Софико дружили, так как ее двоюродный брат жил в нашем доме. Она приходила к нему в гости, и мы часто вместе играли. Потом я приходил в гости к Софико и имел возможность слушать пластинки из коллекции Михаила Чиаурели.

Потом, когда я уже мог передвигаться, я стал ходить в кино. На улице Плеханова располагалось сразу три кинотеатра — «Октябрьский», «Комсомольский» и еще какой-то, не помню уже название. Тогда показывали фильмы, как объявляли титры,

«захваченные в качестве трофеев».

Какие это были замечательные ленты! Мне очень нравилась «Флория Тоска», по одноименной опере Пуччини.

Я наизусть знал и фильм, и музыку. По ночам лежал в кровати и прокручивал фильм в голове. Там перед самым финалом показаны охранники, которые маршируют вдоль стен тюрьмы. И мне не нравилось, как они это делают. Почему-то казалось, что, держа оружие в руках, маршировать следует совсем иначе. И я выбирался во двор и начинал маршировать.

Одним словом, когда через год я поправился, то решил пойти в театральное училище.

В приемной комиссии сидел весь цвет нашего театра, мои соседи по дому — Хорава, Васадзе. А я был совершенно не подготовлен, даже басни не знал.

Но на мою защиту встал молодой Котэ Махарадзе, будущий муж Софико Чиаурели, и Лиля Иоселиани, сестра знаменитого Джабы Иоселиани. Тот был положительным мальчиком, которого ставили в пример, этаким маменькиным сынком.

И в конце концов ему это надоело, ионв одной из драк нарочно пырнул человека ножом. Он рассказывал, что, когда его забирала милиция, он ликовал! В тюрьме он стал вором в законе. А потом умудрился стать профессором театрального института.

Но это так, к слову.

А в театральный меня все-таки приняли. Моим первым педагогом стал режиссер Михаил Туманишвили. Это было моим большим везением.

Михаил занимался с нами один год. Но даже за это время он успел сделать самое главное — научил нас свободно себя чувствовать на сцене. Это очень важно!

Правда, потом он ушел, и другие педагоги стали все делать наоборот.

Однажды я остался в институте на ночное дежурство. Тогда была такая практика — 1 мая и 7 ноября педагог и несколько студентов по ночам дежурили в институте. Чтобы, наверное, враги не ворвались в здание и не совершили по случаю коммунистического праздника какое-нибудь злодейство.

И вот, сидим мы ночью в институте, делать нечего, и преподаватель, который дежурил вместе с нами, предложил выполнить несколько этюдов.

Его первым заданием было изобразить геологов, которые переходят через горную речку, потом идут по мостику и, наконец, выбираются на тропинку. Я, как и все, немного пошатывающейся походкой перешел через воображаемый мостик, а потом, выйдя на воображаемую тропинку, огляделся и, отвернувшись к стенке,

справил малую нужду. Ну а что — человек шел-шел, и вполне естественно, что ему захотелось в туалет.

Какой же скандал из-за этого устроил педагог! Как я посмел так вольно себя вести, что это вообще за этюд! А закончил он свою гневную проповедь обвинением в том, что я помочился на него!

Да, бывало и такое.

После института я начал работать в театре имени Руставели. И вот уже более полувека выхожу на эту сцену.

Я ведь одно время был парторгом театра.

Мне исполнилось 28 лет, когда великий грузинский актер Эроси Манджгаладзе, который тогда был парторгом, стал уговаривать меня вступить в партию. Тогда в год принимали троих — двоих артистов и одного рабочего.

Я сказал:

— Хорошо. Но почему я должен платить членские взносы?

— Как тебе не стыдно, Кахи? Ты всегда будешь артистом, а значит — никогда денег у тебя не будет. Получается, будешь 20 копеек платить. Тебе жалко для этих дегенератов 20 копеек? Я буду за тебя платить.

Произнеся эти слова, Эроси достал монету и подбросил ее. Ну, отказать самому Манджгаладзе я не мог.

Меня тут же приняли в кандидаты в члены партии, а потом и в саму партию. Эроси с радостью передал мне партком. Сам он уже устал от этого.

Мне выделили большой кабинет, я там работал. У меня дома уже дети росли, и тексты было негде учить. А в кабинете я мог уединиться.

Но через два года сказал:

— Хватит. Иначе уйду из театра и заявлю, что делаю это из-за парткома.

И меня отпустили. Это был в 1989 году.

Я потом шутил: «Конечно бы ваш СССР разрушился, если парткомом руководили Котэ Махардзе и Кахи Кавсадзе. Все же антисоветчики были».

Мама успела застать мой успех.

Слава, конечно, пришла после выхода на экраны фильма «Белое солнце пустыни».

Не обидно ли мне, что из всех картин, в которых я снялся, в первую очередь вспоминают именно эту комедию? Нет, конечно. Наоборот, я очень счастлив. Потому что мне удалось сняться в фильме, который любили и любят миллионы.

Это был тот случай, когда все совпало — и сценарий, и режиссура, и моя игра. А то, знаете, как часто бывает — фильм

хороший, а ты сыграл неважно. Или наоборот. А в «Белом солнце.» все сложилось, как надо.

Хотя, конечно, не все проходило гладко.

Как-то мне надо было лететь на съемки, и я пришел к главному режиссеру театра Серго Закариадзе, исполнителю главной роли в великом фильме «Отец солдата».

Отпрашиваюсь у него, а он не отпускает, говорит, что у меня спектакль. Я попытался уговорить его:

— Да я в этом спектакле в эпизоде играю, моя роль — пятый слева во втором ряду. Я вам завтра несколько человек приведу, кто меня легко заменит.

— Нет, на сцену должен выйти именно ты, — стоит на своем Закариадзе.

Тогда я не выдержал:

— Батоно Серго, вы замечательный актер. Но всему миру об этом стало известно после того, как вышел фильм «Отец солдата». Почему же вы меня лишаете такого шанса?

Но он меня на съемки так и не отпустил. Пришлось доснимать нужные сцены во время моего отпуска.

Так что не все складывалось гладко, не все было просто.

За окном уже стемнело, а света так и не дали. Впрочем, продолжить беседу при свечах у нас все равно бы не получилось — в шесть часов Кахи Кавсадзе должен был быть в бассейне, куда ходит с завидной не только для своих почти восьмидесяти лет регулярностью.

Я откланялся, но уходил с твердой уверенностью, что еще обязательно вернусь в этот дом. Тем более что приглашение от хозяина было получено.

На кнопку дверного звонка квартиры знаменитого актера я нажимал через пару месяцев, когда вновь оказался в Тбилиси. В этот раз Кахи принимал меня как доброго знакомого. На столе, кроме закусок, стоял графин с красным вином и… один стакан. Кавсадзе тут же пояснил, что после перенесенной операции сам не пьет, но очень любит, когда его любимым вином угощаются гости дома.

В тот вечер, слушая вторую часть воспоминаний актера, я понял, что у выражения «за себя и за того парня» может быть и еще одно значение. Ибо стоило мне осушить бокал с вином, как Кахи тут же наливал новый, с неподдельным интересом спрашивая, понравилось ли мне, и давая совет, чем лучше закусывать.

Посидели мы в тот раз, конечно, знатно. Да и угощение располагало. Но дело было, конечно, не столько в прекрасном вине, сколько в рассказах батони Кахи.

— Есть ли у меня враги? Ну я же не дегенерат, конечно, есть.

И с режиссерами не всегда сразу удавалось находить общий язык. После того, как Резо Чхеидзе утвердил меня на роль Дон Кихота в своем фильме, я обратился к нему:

— У меня было 100 врагов. А теперь — 1100. И первый из них — вы!

У нас тогда с ним были разногласия, и я ему прямо об этом сказал.

Кстати, на съемках «Дон Кихота» решилась судьба моего сына Ираклия. Он приехал ко мне в тот момент, когда режиссеру как раз понадобился молодой человек в кадр. Чхеидзе увидел моего сына. Ираклия тут же загримировали и вывели на площадку. После этого он снялся еще в двух фильмах и в итоге решил стать актером.

Вообще, первая рука должна проиграть. Так говорят при игре в карты или в рулетку. Только тогда ты сможешь почувствовать вкус победы. У меня, например, именно так было с моим первым фильмом. А сыну сразу повезло.

Когда он сказал мне, что хочет пойти в театральный, я ему честно сказал, что в театре его будут ждать удары в душу и сердце, но никак не деньги. И если он готов к этому, то может идти и поступать.

Я ни в коем случае не отговаривал его. Просто честно предупредил. Потому что это самое важное. Если ты идешь на Северный полюс, то должен знать, что там холодно, и взять теплые вещи, а не стонать потом из-за мороза.

И точно так же было с моей дочерью.

Мои дети оба стали актерами. Это был их выбор, к которому я отнесся с уважением.

Но своего «Белого солнца…» у них пока не случилось.

Прозвучит неправдоподобно, ноя в первый раз увидел этот фильм только в 2000 году. На Московском кинофестивале была ретроспектива фильмов Рустама Ибрагимбекова, который написал сценарий для «Белого солнца пустыни».

Я приехал, мы поздравили Рустама со сцены. И так получилось, что не успели мы спуститься в зал, как начался фильм.

И мне уже было неудобно выходить. Что делать? Смотреть не хочу, но и выходить неудобно.

Смотрю, Толя Кузнецов, сыгравший роль красноармейца Сухова, сидит в зале. Я прохожу мимо и говорю тихо:

— Толя, а я ведь фильм не смотрел.

— Ну, тогда пора уже посмотреть.

И так я в итоге остался в зрительном зале.

Я вообще не люблю на себя смотреть.

Это не поза, правда. Недавно про меня сняли фильм документальный. Режиссер отказалась мне показывать отснятое. Но на озвучании я себя все же увидел. Думал, что приду в ужас. Но неожиданно спокойно посмотрел. И мне это не понравилось — значит, старею. Что-то изменилось во мне, раз терпеливо на себя смотрю. А раньше категорически не мог.

Когда я в тот раз смотрел «Белое солнце.», меня интересовало — почему фильм стал культовым. И я под конец понял — режиссер Мотыль не лукавит.

Он до конца хотел быть честным. Другое дело, что ему не дали снять так, как он хотел.

Финал ведь совсем другой был. То, что взрывается баркас, придумали потом. А в сценарии изначально была перестрелка между мною и Суховым.

Мой Абдулла поднимается на мачту и видит, что Сухов в море. Он перепрыгивает на палубу и в воздухе стреляет в Сухова, а Сухов — в него.

Получалось, что я его просто ранил, а он меня — смертельно. Это все было снято. Как я выплываю, а за мной черным следом в воде стелится кровь. Специально для этой сцены бычью кровь приносили. Потом показано, как я выхожу из моря и медленно иду к Сухову. А он спокойно стоит, так как знает, что я уже не в силах что-то сделать. Я иду-иду и падаю плашмя. Три дубля сняли, у меня потом голова болела от ударов о землю. Навсегда это запомнил.

Затем камера отъезжает и показывает, как Сухов удаляется вдаль. И вдруг он слышит женский рев. Поворачивается и видит: бегут жены, наваливаются на мертвого Абдуллу и по-восточному оплакивают. Сухов стоит в шоке: мать твою, он защищал женщин от этого убийцы, а они ничего не понимают. Сухов отворачивается и, обалдевший, уходит.

Но нас заставили переснять — баркас взрывается, Абдулла погибает. А Сухов остается в живых.

Мы не спорили. Все равно было бы снято так, как требовало руководство студии.

Никогда не забуду, как первый раз почувствовал свою популярность. Мы с женой сели в такси. И когда подъехали к дому, водитель отказался взять денег. «Я вчера видел ваш спектакль!» — сказал таксист.

Фильм «Белое солнце пустыни» в Грузии не имел особой популярности. Вот в России — да. Меня везде узнавали, даже очень везде.

Однажды мои дети приехали из Америки. Одну ночь должны

были провести в Москве, а потом лететь в Тбилиси. Багаж им не дали, так как он транзитом ехал в Грузию. Я тогда снимался в Москве, устроил их в гостиницу, где жил сам — при посольстве Грузии. Но ребятам понадобились их вещи.

И тогда я решил попробовать им помочь.

Во Внуково стояла огромная, в километр, наверное, очередь к окошку, в котором принимала женщина, решавшая такие вопросы — выдать багаж или нет. И вот я попросил толпу пропустить меня, чтобы задать ей всего один вопрос.

Обращаюсь к ней, а она сидит и что-то пишет. Не поднимая головы, отвечает мне: «Не положено!» Что делать? Я говорю ей: «А вы меня знаете!» Она мельком взглянула на меня: «Не знаю. Не положено». Я не сдаюсь: «Нет, вы меня знаете, и, кстати, очень хорошо». Тогда она более внимательно посмотрела на меня и говорит: «Неужели Кавсадзе?» То есть не Абдулла, а Кавсадзе. Я кивнул.

Тогда она вышла из своей будки, закрыла окошко и сказала: «Идем!» А когда толпа начала возмущаться, рявкнула: «Будете выступать, вообще не вернусь».

Мы с ней прошли через весь аэропорт и вошли в огромный ангар, площадью напоминавший ипподром. Там хранился весь багаж аэропорта Внуково. «Вашингтон где?» — спросила она работников. Когда ей указали на угол, где лежали чемоданы рейса из Вашингтона, женщина распорядилась: «Выдайте ему все, что захочет. Надо будет, вообще все отдайте!» Я поблагодарил ее, а она лишь улыбнулась: «Ну что вы!» И ушла.

Другим знаковым фильмом стала для меня картина Резо Чхеидзе «Житие Дон Кихота и Санчо».

Тоже была непростая история. Когда я узнал, что Резо снимает на «Грузия-фильм», то думал, что меня пригласят на пробы. И вдруг слышу, что пробы уже закончены и на роль Дон Кихота утвержден Отар Мегвенетухуцеси. А меня даже не пригласили на пробы. Хотя кого только не пробовали, даже из России актеров приглашали.

И вот в один день иду я по студии и встречаю Резо Чхеидзхе. Мы с ним поздоровались. И я замечаю, что он как-то пристально на меня смотрит.

— Что ты так на меня смотришь, словно первый раз видишь?

А он в ответ предлагает зайти к нему в кабинет и поговорить. Заходим, и он тут же начинает:

— Кахи, попробуем?

— Что попробуем?

— Ну, пробу сделаем?

— Какую?

— Дон Кихота.

— А что это такое?

— Ты что, не знаешь, что я снимаю кино?

— Нет, первый раз слышу.

Он с ума сошел, как это так — Резо Чхеидзе снимает кино, весь мир должен знать, и вдруг я не знаю.

— Да, я снимаю. «Житие Дон Кихота».

— А что это такое?

— Ты что, не знаешь этого произведения?

— Не знаю. А-а-а! Это где про высокого худого и маленького толстого? Дон Кихот — это высокий или маленький?

— Что ты дурака валяешь? Попробуем?

— Резо, почему ты обманываешь? — не выдержал я наконец. — Ты хочешь галочку поставить, что и Кахи попробовал. А у тебя же все решено уже! А я положил и на Дон Кихота, и на того, кто это написал!

Резо принялся говорить, что ничего не решено еще.

В конце концов дал мне текст сцены, в которой Дон Кихота посвящают в рыцари. Очень большой текст.

— Завтра сможешь прийти на пробы? — спрашивает.

— Резо, я же тебе сказал, что положил на Дон Кихота и на того, кто это написал.

Хотя на самом деле мне эта книга очень нравится. Недаром Достоевский сказал, что когда во время Второго Пришествия Бог спросит, чем люди занимались все это время и увидит «Дон Кихота», то за одну эту книгу простит все грехи.

Но я все равно продолжал разговаривать с Резо в прежнем духе.

— Ты же лет десять про это произведение думаешь?

— Да!

— А я, по-твоему, за ночь смогу приготовить? Мне нужен месяц.

И Чхеидзе согласился. Не забуду, на календаре в тот день было 18 марта. Я сказал, что 18 апреля мы встречаемся на съемочной площадке. Все, повернулся и ушел.

Мне было интересно, что думают о Дон Кихоте великие люди. Случайно нашел маленькую книжку Михаила Чехова, где он описывает всех классических героев. Про короля Лира так пишет: «У него движущаяся звезда в уме». У Гамлета эта звезда — «в сердце». У Мефистофеля — «в зрачках». У Санчо — «в ягодицах», ему на все наплевать. А вот у Дон Кихота звезда — «чуть выше головы». Когда я это прочитал, все встало на свои места. Получается, Дон Кихот и не на небе, и не на земле. После этого текст уже легко было учить.

Я очень подготовился. Если честно, у меня была только одна задача — сыграть пробы. И все, уйти и не играть уже больше ничего. Наконец наступил этот день. Я в 8 утра пришел к гримеру и только в 15 часов вышел на площадку.

Смотрю — вся киностудия собралась. Хотел сначала всех выгнать, но потом думаю — пусть видят. Все же знали, что Отар уже утвержден на эту роль, а он мой очень хороший друг.

Опять стычка случилась с Резо.

— Между прочим, я снимаю только один дубль, — сказал он.

— Между прочим, я тоже больше одного дубля не делаю!

— И очень хорошо!

— И очень хорошо!

Он обратился к оператору: «Ломер, готов? Внимание!»

Тут я опять не выдержал:

— Оператора спрашиваешь, готов он или нет, а меня не спрашиваешь?!

Наконец начали снимать. Я вышел и все сделал. Сколько лет я в кино, но никогда не было такого, чтобы оставался доволен. А тут был единственный раз, когда сам понимал, что сделал все, как полагалось. Произнес свой монолог, камера отключилась, и я отклеил усы.

— Ты что? Еще дубль!

— Нет, я же сказал, что только один дубль будет.

И ушел домой.

Потом узнал, что у Резо на самом деле все было решено и сниматься должен был Отар. Но после моих проб Резо уже ничего не мог сделать. Собирался большой худсовет, который тайно выбирал, кто будет играть Дон Кихота. И выбрали меня.

Мы потом с этим фильмом много стран объездили.

Театр наш тоже часто гастролировал.

Но больше всего запомнилась, конечно, первая поездка за границу. Помню, мы должны были ехать в ФРГ, была тогда такая страна — капиталистическая половина Германии.

Главными желаниями было выпить кока-колу и посмотреть порнографический фильм. Мне сказали, что в порнофильме все делается до конца.

Мне однажды надо было в фильме девушку поцеловать, а так было стыдно. Не мог себе представить, как при всех — режиссере, операторе, осветителях — можно что-то сделать.

Потому в этот раз было просто интересно — как это возможно при людях? Как профессионалу интересно.

А кока-колу хотел выпить, потому что всю жизнь слышал, что это капиталистический напиток. Отрава и гадость, которую специально капиталисты придумали. И она, мол, не утоляет

жажду, а, наоборот, вызывает ее. Чтобы, значит, больше продать!

Когда в Германии я наконец выпил кока-колу, то испытал невероятное чувство счастья!

Оставалось посмотреть фильм. Мне было тогда лет 35.

С нами все время находились кагэбэшники. И я прямо сказал одному из них, что хочу посмотреть порнофильм.

«Я тоже», — признался он. И мы с ним вместе пошли в специальный кинотеатр. И вот в зале погас свет, началось кино и. я обалдел! Было большое потрясение.

У меня в жизни их было два. Когда Нью-Йорк увидел и когда порно посмотрел! Вот там можно научиться системе Станиславского — публичное одиночество! На высшем уровне!

Что касается того, лучше за границей в то время жили или нет.

Не в этом дело. Там по-другому жили. Как-то один человек начал при нас ругать своего президента. Я с ума сошел, думал, его арестуют. Но он просто был свободен, и этого мне, приехавшему из СССР, было тогда не понять.

В Германии у меня брали интервью. Корреспондент спрашивает, сколько я получаю. Разумеется, рядом сидит кагэбэшник.

Чтобы не уронить честь державы, я назвал самую большую зарплату, которая была у нас в театре. «И все?» Я сказал, что еще в кино снимаюсь, и опять назвал максимальную ставку. «И все?» Я сказал, что еще постановочные получаю. Хотя 1500 рублей за фильм Тенгиза Абуладзе «Древо желания» мы поделили на 20 человек. Я лично получил около 22 рублей. Корреспондент опять не унимается: «И все?» Тут я уже не выдержал: «А что ты еще хочешь? Отстань от меня!»

Потом только я понял его удивление. Если бы я у китайского артиста спросил, сколько он получает за кино, и тот бы ответил:

— Тарелку борща.

— И все?

— Если большой текст, мясо тоже дают.

— И все?

— Когда съемки кончаются, дают по две порции борща.

— И все?

Тут бы наверняка уже не выдержал китаец:

— Две порции! Что еще хочешь?

Когда я это понял, мне не стало обидно. Мне вообще никогда не бывает обидно. Там — так устроено, а здесь — так.

Зато хуже меня живут в Африке. Это не утешение. Это просто судьба.

Я родился здесь, а Роберт де Ниро — там.

Мне вот жалко, что Европа не видела великих грузинских актеров Хорава и Васадзе. Я видел, как Лоуренс Оливье играл Отелло. Но наш Хорава был совсем другой, от его игры мурашки по коже шли.

У Лоуренса был высокий голос, и он очень переживал из-за этого. Все время старался говорить ниже. А Орсон Уэллс переживал из-за своего маленького носа. «Все страсти, что кипят во мне, тушит этот нос», — говорил он.

Наш Васадзе был действительно великий артист. Мне Миша Ульянов рассказывал: «Когда я увидел Васадзе на сцене, то мне стало стыдно за свои мечты тоже стать артистом. Куда мне было хоть немного дотянуться до такой величины?»

В театре моя жизнь тоже складывалась не так гладко, как может показаться со стороны.

Знаменитый грузинский режиссер Михаил Туманишвили, руководивший одно время театром имени Руставели, меня люто ненавидел.

Однажды у меня с ним произошел гениальный разговор. Режиссеры вообще очень часто любят беседовать с молодыми актерами. Только одного они не понимают — вовсе не обязательно, что больше него знают. Просто режиссер — заказчик, а актер — исполнитель. Потому артисты их слушают, а режиссеры думают, что они самые умные.

Но молодые — это опаснейшие люди. Я тогда был молодой. Туманишвили собрал нас, мы слушали его и молчали. И тут зашел разговор про случайных людей в театре. Говорят же, что у театра такая притягательная сила, что уйти из него нельзя. Вдохнув пыль кулис, актер уже не уйдет.

Нас, молодых, тогда многих приняли в театр. А Миша Туманишвили уже был в театре легендой. И вот он говорит: «Есть случайные люди в театре. Год работают, три, четыре, а уйти не могут. Хотя могли бы стать гениальными врачами или строителями. Но — не уходят и в итоге так и умирают, ничего не сделав. Но такое бывает. Вот, например, Кахи — совершенно случайно попал в театр».

При этом все знали, что мой приход в театр был совсем не случаен. Правда, на тот момент на сцене я ничего не делал — сначала еще в массовке хоть с палкой стоял, а потом и это отняли, вовсе в тени остался.

А мои друзья в это время уже кандидатами наук стали, профессорами. Как-то собрали «консилиум» и говорят мне: «Уходи! Ты же ничего там не делаешь!» Один-единственный сказал, что я должен остаться в театре. Я на тот момент пять лет в театре служил и малюсенькие эпизоды играл. Хотя в институте

хорошо учился, даже стипендию именную получал.

Но в театре не складывалось. Хозяином же был Миша Туманишвили. Таких, как я, он не воспринимал. Я был высокий, сильный. Он таких серьезно даже не рассматривал.

И вот в итоге сказал, что я случайно попал в театр: «Зачем он в труппе, никто не понимает. А ведь посмотришь на него — сильный, красивый. Может, стал бы гениальным врачом!

Но нет, он заражен пылью кулис, не может уйти». Туманишвили сидит, разглагольствует, а мы все, нас много, стоим и слушаем.

И тут я не выдержал: «Знаете, Михаил Иванович, я не случайно в театр попал. У меня весь род стоял на сцене. Все Кавсадзе пели, все артисты. Прадед был священник, но тоже учил песни. Я даже родился в доме, где живут великие артисты — Хорава, Васадзе, Тамара Чавчавадзе, Цуцунава.

В детстве учился музыке, пел в хоре, ходил в театры. Так что вполне закономерно оказался в театре, случайно тут ничего не получается. А случайно попали как раз вы! Почему вы пришли в театр? У вас отец, соседи, друзья были артистами? Нет. Просто после фронта в военной форме пришли в институт, и вас приняли. Почему вы пришли в театр, я вас спрашиваю? И какая, в итоге, прекрасная случайность — совершенно гениальный режиссер появился! А у меня искусство, музыка, театр, простите, в яйцах (я ему тут же показал где). Но, к сожалению, не могу все это достойно преподнести. Но у меня это здесь!» И я снова схватил себя за это место. Он молчит.

А я повернулся и ушел.

Потом ко мне друг пришел: «Кахи, ты погиб». Я ответил: «Подожди, еще посмотрим. Ну а если погиб, значит, погиб».

После этого разговора опять какое-то время просто стоял на сцене, не было работы.

Какие-то ребята хотели взять меня в дело — они изготовляли музыкальные инструменты, а я должен был быть руководителем. Предложили денег в десять раз больше, чем я в театре получал. Но я ответил: «Не могу, я артист».

Маме сказал об этом предложении. Она посоветовала: «Нет, Кахи, оставайся в театре. А дальше посмотрим». Я поблагодарил ее: «Спасибо, мама. Я тоже так ответил».

А потом появился режиссер Роберт Стуруа. Белла Мирианашвили, Гоги Кавтарадзе, Софико Чиаурели, начали делать какие-то этюды. Что-то начало меняться. Это заметил Миша Туманишвили, ему все не нравилось страшно. Какая-то группа самостоятельно что-то делает в его театре! Плохой знак — отдельно от хозяина что-то делать. А мы один спектакль в

постановке Стуруа сыграли, другой. А потом Мишу уволили из театра. Как он в свое время уволил великих актеров Васадзе и Хорава.

Художественным руководителем стал До до Алексидзе.

А потом этот пост занял сам Стуруа.

Туманишвили ушел. И написал книгу даже — как это так, такой режиссер уходит из театра!

При нем у нас был завтруппой, который давал артистам хорошие советы. Если говорил — уходить, они уходили и действительно добивались успеха в другой сфере. Мне он тоже сказал:

— Кахи, ты же ничего не делаешь. Пока молод, уходи, учись другой профессии.

— Не уйду.

— Ну у тебя же в жизни есть сверхзадача?

— Есть! Чтобы Туманишвили сказал, что Кавсадзе — артист!

— Главная задача жизни такая? Ну тогда ты маленький человек.

— Что поделаешь? Некоторые большие люди, некоторые — маленькие. Значит, я — маленький. Но я — такой!

— Ну, дело твое.

Такой у нас с ним состоялся диалог. А потом сам Миша оставил театр. Мы со Стуруа делали какие-то спектакли, пришел успех, пришел.

Туманишвили в это время создал Театр киноактера. У него была такая привычка — он в свой театр ходил пешком из района Ваке. Я тогда уже популярным был, в кино снимался, меня узнавали. Ездил на «Волге». И вот как-то еду и вижу: Миша идет в театр. Я остановился: «Давайте подвезу». Он отказывается. Тогда я сказал: «Хорошо, идите, а я за вами поеду».

Короче говоря, сел он в мою машину. Едем, и я у него спрашиваю, как дела в театре.

— Ну что тебе, Кахи, сказать. Молодые у меня актеры еще, непросто все. Опыта у них нет. Если бы у меня был хотя бы один такой артист, как ты.

Я переспрашиваю:

— Что говорите?

— Если бы хоть один артист, как ты, в моей труппе был, я бы знал, куда вести театр.

— Все! Больше не говорите ничего! — сказал я ему. Довез до театра и уехал.

Потом уже у меня, конечно, появились новые задачи. Но самая главная, психологическая, была выполнена.

Один из дорогих для меня фильмов с моим участием — это

«Мелодии Верийского квартала» Георгия Шенгелая. О том, что Георгий собирается снимать этот фильм, я узнал от него за кулисами театра Руставели.

В тот день я играл спектакль, а Георгий пришел просто как зритель. И между делом сказал, что запускается с новым фильмом. «Здорово! А кого я там буду играть?» — тут же спросил его я. Шенгелая ответил, что все роли уже распределены. И чтобы я, мол, не обижался. После этого он пошел в зрительный зал, ая — на сцену.

Так получилось, что в этом спектакле я танцевал. И делал это, признаюсь без лишней скромности, совсем неплохо. У нас был очень талантливый хореограф Юрий Зарецкий, который и поставил эти танцы.

Шенгелая после спектакля подошел ко мне и сказал: «Ты будешь сниматься у меня! Сыграешь роль учителя танцев».

Как потом ругался Зарецкий! Оказалось, что первоначально на роль учителя танцев был утвержден он.

Я был хорошо знаком с Верико Анджапаридзе, великой актрисой и матерью Софико Чиаурели.

Она была очень интересной женщиной. По соседству с нами жила семья ее родного брата, и она вместе с Софико часто приходила к ним в гости. Мы вместе играли с Кэти Анджапаридзе, сестрой Софико, и с нею. Потому я всегда относился к Чиаурели, как к двоюродной сестре.

Потом я бывал у них дома. У Михаила Чиаурели была большая коллекция пластинок с операми, которые я слушал. Рубинни, Руффо, Карузо. Все это я впервые услышал у них. Оперу «Паяцы» и вовсе выучил наизусть — от начала и до конца.

Но, конечно, с Верико мы не часто разговаривали. Все-таки она всегда была Верико Анджапаридзе!

Но вот когда я учился на втором курсе театрального института, то со сцены поздравлял ее с 60-летием. Я должен был вскрыть запечатанный свиток, прочитать приветственный текст, который был написан на нем, и потом снова его запечатать. От волнения у меня никак не выходило это сделать — прочесть прочел, а запечатать — не могу.

В конце концов, мне уже из зала стали кричать: «Уходи! За кулисами запечатаешь!»

А я так растерялся, не знал, что делать. Тогда со своего места поднялась юбилярша и обняла меня.

Нам не довелось, к сожалению, вместе сниматься. Правда, в одном фильме мы, пусть и в разное время, но снялись — в «Покаянии» Тенгиза Абуладзе.

Анджапаридзе появляется там в самом последнем эпизоде и

задает знаменитый вопрос о том, ведет ли дорога к храму. И когда слышит отрицательный ответ, то удивляется:

«Зачем же тогда дорога, если она не ведет к храму?»

Тенгиз очень хотел снять в этой роли именно Верико. Но стеснялся предложить ей, так как роль была совсем малюсенькая. А когда предложил, она отказалась:

— Мало ли старых актрис в Тбилиси? Почему именно я?

Тогда Абуладзе собрался с духом и сказал, что заплатит ей за эти съемки, как за несколько съемочных дней.

— Вот с этого и надо было начинать, — ответила Верико и согласилась.

Она вообще была не только великой актрисой, но и очень мудрым человеком.

Я, надеюсь, тоже что-то понимаю про жизнь. Самое главное, что я понял, — никогда ничего не надо делать силой.

Вот есть в природе мужчина и женщина. Они рождены для того, чтобы встретиться, и мужчина обязательно должен полюбить женщину. Если этого не произойдет, элементарной физической жизни не будет.

Но если сделается насильно — это великое преступление. Лучше убить человека, чем изнасиловать.

Для того чтобы все получилось само, должен быть ум и терпение. Чего у дебилов нет. Они все силой хотят.

Я не люблю слова «терпеть другую нацию». Кто ты такой, чтобы терпел другую нацию? Ты должен, если не умеешь любить, уважать. А это совершенно другая вещь. Ты обязан уважать!

Мой девиз: «Не жалеть!» О том, что было.

Часто сетуют: «Я отдал ему все, аон.»

Но ты же это сам сделал? Почему тогда жалеешь? Значит, хотел тогда. Значит, в тот момент это доставляло тебе удовольствие. А сейчас жалеешь?

Когда мой сын уезжал в Америку, я ему сказал, чтобы он никогда не говорил: «А вот я думал.»

Не надо так говорить. Потому что вначале надо обо всем подумать и уже не жалеть об этом.

Кто-то спросил меня, что в жизни главное. Я без паузы ответил — форма! Важно не ЧТО, а КАК! Все люди объясняются в любви, все кутят, все делают гадости. А вот КАК это делается — главное. Все ведь люди разные, даже близнецы, отличается форма!

У меня первая большая психологическая травма была, когда погиб мой 26-летний друг. Тело отвезли в морг. А мы пришли к нему домой и сказали его отцу, что Аполлон попал в аварию.

«Хапо машину разбил?» — спросил тот. Только об этом,

допустить, что могло что-то более страшное случиться, мужчина не мог. Мы ответили: «Да, разбил». — «А где он сейчас?» — «Пойдемте».

Мы повезли его в больницу — прошли основное здание, повернули к моргу. Он понял, куда мы идем. Спускаемся в морг. Зашел. Там лежат несколько мертвых, накрытых простынями. Отец узнал своего сына по руке, которая была видна.

Знаете, как он отреагировал?

Кахи поднялся со своего места и следующий текст рассказывал, проигрывая происходящее.

Взял руку сына и усмехнулся, потом еще раз и начал смеяться. Вышел на улицу, сел в машину и только там заплакал. Другой бы, наверное, иначе сделал. Кто-то бы сразу свалился.

Радости и трагедии зависят не от их масштаба, а от нашей чувствительности. Все дело в нашем отношении к этим вещам! Все разные, абсолютно все!

Почему у одного актера есть успех, а у другого нет? Потому что каждый актер действует так, как только ОН понимает. И это по-разному действует на зрителя. На сцене стоишь, бывает, и держишь зрителя. Он все время с тобой.

А стоит подумать о постороннем, как тут же чувствуешь, что зритель отошел от тебя.

Ты ничего не сказал, не сделал, но чувствуешь это. Потом приходится прилагать усилие, чтобы вернуть внимание зала.

Поэтому я уверен: пусть будет плохо, но по-твоему!

Почему Нико Пиросманашвили был таким художником? Потому что рисовал так, как именно ОН ощущал.

Почему детские рисунки меня совершенно поражают?

Потому что дети рисуют, как только они чувствуют. Пиросмани был ребенок изнутри. Чист, как слеза детская. Потому и был гений.

Беседа для будущей книги была завершена. Встреча с Кавсадзе стала тем редким случаем, когда я сразу понимал, что обязательно напишу о ней. Потом мы просто болтали и созванивались по разным поводам.

Как-то я показывал Тбилиси своим московским друзьям. Специально выбирал не избитые туристические маршруты, а старался показать улочки, на которых бывают лишь местные и которые ярче всего передают дух этого дивного города.

И вдруг, совершенно неожиданно, среди прохожих заметил высокую фигуру Кавсадзе. Конечно же я представил актера своим друзьям.

Они были счастливы. И потом, когда их спрашивали о поездке в Тбилиси, отвечали: «Мы видели Грузию. Нам руку

пожал сам Кахи Кавсадзе».

# Часть четвертая. Эпоха соучастников

# Украсть Пиросмани. Братья Кирилл и Илья Зданевичи

В 1969 году на экраны вышел фильм Георгия Шенгелая «Пиросмани» о великом художнике-самоучке.

Конечно, имя грузинского гения было известно и до этого, но для широкого круга так громко оно прозвучало впервые.

Ну а звездный, с позволения сказать, час Пиросмани пробил, как ни странно, благодаря Андрею Вознесенскому и Раймонду Паулсу, сочинившим песню «Миллион алых роз». И конечно, Алле Пугачевой, в 1982 году ее блестяще исполнившей.

Сюжетом для стихотворения Вознесенского стала легенда о безответной любви Пиросмани к французской актрисе Маргарите, ради которой он «продал картины и кров».

Принято считать, что художник родился в 1862 году, сам он называл годом своего рождения 1863-й. Первая выставка его работ прошла в Тифлисе, всего за несколько лет до смерти художника. Случилось это благодаря братьям Зданевичам. Которые, собственно, и стали первооткрывателями Пиросмани, его первыми биографами. Да и сама выставка проходила в их тифлисской квартире.

Я знал о Зданевичах. Но почему-то был уверен, что их потомки должны жить где-нибудь в Париже. Отчасти я оказался прав, и в дальнейшем станет ясно, что я имею в виду.

Но все равно, попав несколько лет назад в Тбилиси и услышав в разговоре своих новых знакомых фамилию Зданевич, не мог не поинтересоваться — не о потомке ли тех самых братьев идет речь. Оказалось, так и есть — говорили о дочери Зданевича-старшего.

Пара телефонных звонков — и вот я уже в гостях у Мирель Кирилловны. На ее доме висит мемориальная доска, где написано, что «здесь жил и работал народный художник СССР Аполлон Кутателадзе». Знаменитый в советские годы живописец, ректор Академии художеств Грузии, Аполлон Кутателадзе был мужем Мирель Зданевич и отцом ее сына Карамана, тоже ставшего художником.

Мы познакомились с Мирель Кирилловной, и я стал часто бывать у нее. Как правило, через несколько минут после моего прихода хозяйка говорила: «Ну, соловья баснями не кормят», уходила на кухню, откуда возвращалась с подносом, уставленным чашками с кофе и всевозможными сладостями.

А затем садилась в свое любимое плетеное кресло и

принималась за рассказ. Каждый раз такой интересный, что по дороге домой я хранил стойкое молчание, не вступая ни в какие разговоры с попутчиками, боясь расплескать те дорогие истории, в которые меня посвятила дочь и племянница знаменитых Зданевичей.

При первых встречах, буду честен, мне несколько раз хотелось поправить Мирель Кирилловну: мол, в книгах и интернете это событие описано по-другому. Но я вовремя сдерживал себя, в конце концов осознавая невероятное — передо мной сидит непосредственный свидетель событий, о которых историки и журналисты писали лишь понаслышке.

«Только не спрашивайте меня про Пиросмани, — в день знакомства предупредила меня Мирель Кирилловна. — Об этом вам лучше почитать в книге. И про Илью Зданевича не спрашивайте, о нем тоже все написано».

Но в итоге конечно же мы говорили обо всем, не обходя стороной ни судьбу родного дяди моей собеседницы, ни истории, связанные с Пиросманом. Именно так братья между собой называли необычного живописца.

Конечно же я ожидал увидеть в доме Зданевич хотя бы одну картину Пиросмани. Но, как оказалось, опоздал на несколько лет.

— Все работы Пиросмани были отданы либо в музей, либо проданы, так как на что-то надо было жить, — вспоминала Мирель Кирилловна. — У нас дома оставалась только самая знаменитая работа Пиросмани — картина «Черный лев». От папы она перешла ко мне. Я так ее любила, часто разговаривала с ней. Знала ее наизусть и все равно рассматривала, удивляясь тому, как в творении Пиросмани органично сочетаются янтарные добрые глаза льва и хищно оскалившаяся пасть.

Но однажды в один из дней 1992 года, в одиннадцать часов вечера в нашу дверь постучали. Я выглянула в окно — перед домом стояли люди с автоматами. Я крикнула сыну, что к нам пришли какие-то бандиты. Но он отмахнулся и сказал, чтобы я открыла. Я так и сделала. На непрошенных гостях еще и маски оказались. Они прямо с порога заявили, что им нужна картина Пиросмани.

— У нас ее нет, — попыталась обмануть их я. — Мы все сдали в музей.

— Да я даже знаю, где она находится, — ответил один из молодчиков. — Давай иди за мной, я тебе покажу.

И что вы думаете? Он привел меня к тайнику, в котором была спрятана картина Пиросмани. Поначалу он хотел вырезать холст из рамы. Но тут уже вмешался мой сын и сказал, что картина такая старая, что если резать холст, то она рассыплется. И

поэтому ее надо брать целиком. Что грабители и сделали, прихватив с собой еще несколько картин отца.

Я пережила такой шок, что на несколько дней потеряла способность слышать. А потом ничего, пришла в себя. Когда сын привел домой голландских журналистов, я перед телекамерой попыталась с юмором рассказать о том, что случилось. Как сидела в кресле и пробовала взывать к совести бандитов. «Как вам не стыдно заниматься такими вещами, — говорила я им, — ведь вы еще молодые люди! Идите работать!» Но в ответ мне посоветовали замолкнуть и радоваться тому, что оставили меня в живых.

— Имя Мирель мне придумал дедушка, который преподавал французский язык и вообще обожал все парижское, — продолжала Мирель Кирилловна. — А папа хотел назвать меня Маквалой. Так что я даже благодарна дедушке. Он тогда как раз вернулся из Парижа, где у него, возможно, был роман с какой-нибудь Мирель. А может, на него повлиял только что вышедший роман «Мирель».

Это были удивительные люди. Дедушка моей собеседницы, Михаил Зданевич, родился в семье высланных на Кавказ участников польского восстания за независимость от России.

В итоге Зданевичи остались в Грузии навсегда. Михаил в Тифлисе преподавал в гимназии французский язык.

В столице Грузии он женился. Его избранница, Валентина, носила фамилию Длужанская и только в сорок лет, после того, как ее разыскала родная сестра, узнала о том, что на самом деле их родителями были грузины Гамкрелидзе.

Первым ребенком у Михаила и Валентины Зданевич стал мальчик, которого назвали Кириллом. Два года спустя родители ожидали пополнения. Они даже не сомневались в том, что на этот раз родится девочка. Но на свет появился Илья.

Однако Валентина, страстно мечтавшая о дочери, не собиралась мириться со столь неожиданным поворотом дела и воспитывала Илью, как девочку.

Годы спустя Зданевич-младший запишет в своих воспоминаниях: «Меня одевали девочкой. Мать не хотела примириться с тем, что у нее родился сын вместо дочери. В дневнике ее записано: «Родилась девочка — Илья, волосики — черные, цвет глаз — темносиний». Поэтому я носил кудри до плеч. Каждый вечер моя няня Зина делала груду папильоток, снимая по очереди книгу за книгой с полок дедовской библиотеки, и я проводил ночь с несколькими фунтами бумаги на голове. Так с полок исчезли Пушкин, Грибоедов, Державин, Гоголь. Во сне эти писанья входили мне в голову, и я постепенно

становился поэтом.

«Слишком кудри», — сказал инспектор Н-ской гимназии, когда в 1902 году меня повели держать соответствующий экзамен. Но я был так очарователен, что экзамен был разрешен, и мое появление было первым случаем совместного обучения в России в 1902 году. Теперь это обыкновенно, но мое путешествие в гимназию с ранцем, в юбке, было сенсационным.

Старания сделать меня девочкой были непрерывны. Но я пользовался своими привелегиями, часто ходя в женскую гимназию, посещая места, где написано «для дам», вызывая и тут всеобщее восхищение. Моя дружба с подругами продолжалась до тех пор, пока с одной из них я не сделал плохо. Мне было уже двенадцать лет. Положение стало невыносимым.

Я был дважды избит, и дамы заявили в полицию. По постановлению мирового судьи мои родители должны были одеть меня в штаны.

Я пошел и остриг кудри. Моя ненависть к прошлому так возросла, что я решил перестать ходить вперед, как я делал, будучи девушкой, а стал ходить назад, пятиться раком, словом, черт знает что».

Несмотря на своеобразную манеру воспитания, Илья вырос большим любителем красивых женщин, имел репутацию «бабника» и был трижды женат. Что же касается манеры «ходить назад», той с этим все обошлось. После того как мальчик упал со скалы, у него словно отрезало желание экспериментировать со способами передвижения.

Спустя годы вместе со старшим братом Кириллом Илья стал одним из самых передовых художников наступившего XX столетия.

После окончания Первой тифлисской гимназии братья Зданевичи отправились в Петербург. Кирилл поступил в Академию художеств. А Илья — на юридический факультет университета. При этом сам он воспоминал, что занимался в Петербурге еще и тем, что открыл «Школу поцелуев»:

«Школа поцелуев» была первой в России лигой любви. Это кончилось двумя убийствами, тремя самоубийствами и четырьмя витийствами. Я назову имена витий — все они пошли плохой дорогой. Это были Хлебников, Маяковский, Крученых и — прости меня, Дева Мария — названный в честь меня Ильей, Эренбург. Я закрыл Школу, как закрывают рот, и возненавидел землю».

Илья Зданевич стал футуристом. В 1913 году в Политехническом музее в Москве он прочитал доклад «Футуризм Маринетти», в котором озвучил «мотив башмака». Поднявшись на трибуну переполненного зала, молодой человек

продемонстрировал публике башмак, заявив, что это — самое прекрасное на земле. Так как «именно башмак дает возможность потерять связь с землей».

А Кирилл Зданевич в это время уже находился в Париже. Да и куда было ехать человеку, решившему стать художником?

«На одну из его выставок в столице Франции, — рассказывала мне дочь Кирилла Мирель Зданевич-Кутателадзе, — пришел Пабло Пикассо. Увидев работы Зданевича, он прямо на холсте написал: «5 +». Я потом спрашивала отца, где эта картина с оценкой Пикассо. Папа ответил, что все осталось в Париже».

Сам Кирилл Зданевич записал воспоминания об этом событии. Отпечатанные на пишущей машинке разрозненные листы его до сих пор неопубликованной книги хранятся в архиве Национального музея Грузии. «Гордости моей не было предела, — писал художник. — После выставки племянник Оскара Уайлда, мой друг Ллойд, повел меня к портному Де-Лазари и скомандовал: «Одеть мусье Сирила». Я окончательно превратился в парижанина».

Конец мирной жизни пришел в 1914 году — началась мировая война. «В мае 1914 года русский посол вызвал меня и еще несколько человек, — вспоминал Кирилл Зданевич. — Нам в категорической форме было предложено ехать на родину и по своим призывным пунктам провести «дополнительные занятия». Да ия соскучился по Тбилиси. И вот, прощай Франция!»

Кирилл скучал не только по Тифлису и родителям. В доме Зданевичей на улице Бакрадзе хранилось их главное с братом сокровище — коллекция картин Пиросмани.

«Стены во всех комнатах, террасы и коридоры, даже кладовые и ванная были завешаны от потолка до пола необыкновенными по рисунку и краскам картинами. Много картин, не поместившихся на стенах, было свернуто в рулоны и стояло в углах. Все эти картины принадлежали кисти одного и того же художника, но очень редко можно было найти на них его грузинскую подпись: «Нико Пиросманишвили», — описывал квартиру Зданевичей их друг, писатель Константин Паустовский.

О Пиросмани — в то время совершенно неизвестном художнике — Кирилл Зданевич узнал в 1913 году в Петербурге от художников Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, которые только вернулись из Молдавии и привезли забавные вывески, найденные ими в Тирасполе. В Грузии Кирилл тоже обнаружил такие вывески. Оказалось, что их автор — местный художник Нико Пиросманишвили.

«У Кирилла были знакомства с крестьянами, духанщиками, бродячими музыкантами, сельскими учителями, — вспоминал

Константин Паустовский. — Всем им он поручал разыскивать для него картины и вывески Пиросмана. Первое время духанщики продавали вывески за гроши. Но вскоре по Грузии прошел слух, что какой-то художник из Тифлиса скупает их якобы для заграницы, и духанщики начали набивать цену.

И старики Зданевичи, и Кирилл были очень бедны в то время. При мне был случай, когда покупка картины Пиросмана посадила семью на хлеб и воду. Мария бегала на Дезертирский базар продавать последние серьги или последний жакет. Кирилл носился по Тифлису в надежде перехватить хоть немного деньжат, старик брал со своих недорослей плату вперед.

Наконец, хмурый Кирилл (чем больше он бывал растроган, тем сильнее хмурился) принес картину, молча развернул ее, сказал: «Ну, каково?» — и картина после этого несколько дней провисела на почетном месте в гостиной».

Открытие Пиросмани — это памятник, который братья Зданевичи возвели себе при жизни. Даже если бы они ничего больше не сделали в жизни: Кирилл не написал ни одной картины, а Илья — ни одной строчки, их имена все равно остались бы в истории мировой культуры.

Все началось с коллекционирования, а закончилось изучением биографии художника и его подробным жизнеописанием, которое составил Кирилл Зданевич.

В 1926 году он писал: «Отец Пиросманишвили (крестьянин-садовод) жил в Кахетии, где и родился Нико в 1863 году, в селении Мирзаани. Со смертью отца, сына 6–8 лет отправили в Тифлис. Здесь Нико жил у некоего военного Калантара, здесь же начало первых попыток рисовать акварелью. Подросшего Нико опекун спросил, чем он хотел бы заниматься. Последовал ответ: быть художником, что, однако, не понравилось, и юноша служил на железной дороге кондуктором, всего восемь лет, пока болезнь не прекратила эту профессию. Через некоторое время Нико открыл торговлю молочными продуктами, украсив помещение изображениями коров. Постепенно он достиг благосостояния. Воспоминания людей, знавших Нико в то время, рисуют его таким: удачливый, добрый к людям, веселый компанеец за столом, не знавший счета деньгам, вспыльчивый, но отходчивый. Писал картины и дарил знакомым. Но пришла тяжелая любовь к «француженке» балерине Варьете (актриса Маргарита), приведшая к катастрофе.

В течение года разоренный Нико выброшен на улицу, и вот начинается скитальческая жизнь художника профессионала, не имеющего даже своей комнаты».

Далее жизнь художника (не имевшего, кстати, никакого

образования) напоминает крутую лестницу, ступени которой ведут то вверх, то вниз. Пиросмани живет исключительно на деньги, к сожалению, весьма и весьма незначительные, которые получает за свои живописные работы. Чаще всего это были вывески на духанах, за которые его кормили и угощали вином. Гонорар (иногда это был всего рубль в день) он тратил на то, чтобы купить краски, которые носил в чемодане с нарисованным человечком в цилиндре на крышке, и заплатить за ночлег.

Когда деньги закончились и приобретение холста стало непозволительной роскошью, Пиросмани попробовал писать на обычной клеенке, запасы которой в любом духане были неограниченны (ими покрывали столы). В результате художник открыл для себя новый способ письма. Работы самоучки пользовались все большим успехом у духанщиков, которые стали регулярно заказывать ему вывески для своих заведений. Для души и очень редко на продажу (не потому, что не хотел, просто не покупал никто) Пиросмани писал картины, на которых чаще всего изображал животных: львов, жирафов, верблюдов, ишаков. Один раз он написал икону — Святого Георгия. Нико был верующим человеком. Известно его высказывание: «Я верю в своего Святого Георгия. Когда я ложусь спать, он появляется с кнутом у моего изголовья и говорит: «Не бойся!» А наутро моя кисть сама рисует».

Художник жил в подвалах и жалких хибарах, голодал, часто болел, много пил. О нем говорили, что он «пил, чтобы работать, и работал, чтобы пить». В конце его жизни вино все чаще и чаще сменялось водкой.

После того как Пиросмани заинтересовались братья Зданевичи, его жизнь немного изменилась. В 1913 году в Москве состоялась выставка неопримитивистов «Мишень», на которой наравне с картинами Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Марка Шагала были представлены четыре работы Нико Пиросмани. Одной из них был портрет Ильи Зданевича.

Сам Илья в 1913 году писал в своей статье для тифлисской газеты: «Ублюдки Европы — ваши поэты, живописцы, музыканты, критики и профессора, молодые и старые не стоят сантиметра его клеенок».

В Тифлисе Пиросмани становился все более и более известен. На свои собрания его несколько раз приглашали увенчанные успехом художники, однажды даже собравшие деньги для вечно голодного Нико. В городской газете был опубликован фотопортрет Пиросмани, сделанный придворным фотографом Кларом. Сегодня именно это изображение помещено на грузинскую денежную купюру в один лари.

Но недолгое признание вскоре сменилось унижением — в той же газете появилась карикатура, смысл которой сводился к тому, что Пиросмани надо еще учиться и учиться и тогда, «лет через двадцать», его, может быть, допустят на выставку молодых художников. Для 54-летнего Нико появление карикатуры стало большим ударом, от которого он, по большому счету, так и не оправился.

Пиросмани все больше и больше замыкался в себе. Его единственным утешением были работа и водка. Художника не стало в мае 1918 года. Он умер накануне Пасхальной недели, так и не дожив до всемирной славы. Которой был обязан не только своим работам, но и братьям Зданевичам.

Кирилл Зданевич, собиравший сведения о художнике буквально по крупицам, в 1926 году писал о последних днях Пиросмани, цитируя слова владельца винного подвала Созиалишвили, куда часто ходил Нико: «.Приходил ко мне каждый день и садился один за стол, никто не видел его в компании, и угощенья ни от кого не принимал. Знал грузинскую литературу, любил Важа-Пшавела, сам писал стихи и был поэтом, но тетрадь с ними утерялась. Любил грузин, но не любил власть имущих, полицейских и др. Редко, но жаловался на забвение».

Так шли годы. Слово Арчилу Майсурадзе: «Весной 1918 г. Пиросманишвили под вечер вошел в подвал на Молоканской ул. № 29, лег спать на пол, он был уже болен. Через три дня я случайно вошел вниз и в темноте и холоде увидел Нико. Сначала я его не узнал и закричал: «Кто ты?» — «Я», — ответил Николай, ия по голосу узнал его. Сам же он не узнал меня, только сказал: «Мне плохо. Три дня я здесь лежу и не могу выйти». Я тотчас привел фаэтон, и с ним сел Илья Мгалоблишвили (теперь умерший) и повез его в больницу, кажется, Арамянца, где художник и умер через полтора дня. Имущества от него ничего не осталось.»

— Сегодня раздаются мнения, будто Пиросмани открыли не братья Зданевичи, а кто-то другой, — говорила Мирель Зданевич-Кутателадзе, любезно познакомившая меня с семейным архивом братьев Зданевич. — Называют, например, имя художника Михаила Ле-Дантю. Но ведь его в Тифлис привез именно Кирилл Зданевич, который дружил с ним, и именно он рассказал ему о том, что есть такой художник. А сам Ле-Дантю увидел работы Пиросмани в одном из духанов, он вообще большую часть времени проводил там.

Михаил Ле-Дантю, потомок обрусевших французов, учился вместе с Кириллом в Академии художеств в Петербурге, откуда был исключен за «левизну артистических идей», как вспоминал

Илья Зданевич. Он же оставил такое описание друга своего брата: «Ледантю был не только превосходным художником, но он был и самым зрячим художником своего времени. Один порок, и притом наследственный, преследовал Ледантю — он был пристрастен к вину. Той дело, приходя к нему, я заставал его пьяным или отсыпавшимся после попойки. Ледантю стыдился, пытался скрывать свой недостаток, но вино было сильнее его. Я думаю, оно и послужило причиной его гибели.»

— Когда Илья с Кириллом только начали покупать Пиросмани, — вспоминала Мирель Зданевич-Кутателадзе, — над ними все издевались. Тогда этого художника никто не понимал. Но братья все равно устроили у себя дома однодневную выставку работ Пиросмани, имевшую некоторый успех.

В 1922 году в Грузию приехал Константин Паустовский, в то время — корреспондент газеты «Закавказский гудок». Знакомые сняли ему комнату в доме у Зданевичей, со старшим сыном которых будущий знаменитый писатель подружился.

Когда Паустовский приехал в Тифлис, Илья Зданевич уже жил в Париже, а Кирилл постоянно был занят. Потому писатель общался с родителями братьев, в основном — сих матерью, Валентиной Кирилловной.

Другим его собеседником была жена Кирилла Зданевича Валерия, которую Паустовский в своих мемуарах вывел под именем Мария. Как-то она попыталась продать серьги, чтобы помочь мужу купить картину Пиросмани.

В 1936 году Валерия Валишевская стала женой Константина Паустовского.

На тот момент у Кирилла уже была другая семья, и никаких обид между ним и Паустовским (в семье Зданевичей писателя звали просто «Лауст») не возникло. Константин Георгиевич написал предисловие к книге Кирилла Зданевича «Нико Пиросманишвили». А Кирилл Зданевич оформил книгу Паустовского «Бросок на юг».

На ее страницах писатель высказал свое первое впечатление от творчества братьев

Зданевичей, которое он испытал, поселившись в доме на улице Бакрадзе.

«На столах горами были навалены рисунки, главным образом кубистические. Все женщины на этих рисунках были похожи на подруг неандертальского человека. Иногда огромные молнии с широкими хвостами разрубали на этих рисунках падавшие во все стороны дома. Очевидно, так было изображено землетрясение. Я не решался спросить Кирилла Зданевича, что значат эти рисунки. Кирилл был неразговорчив.

Брат Кирилла — Илья — уже второй год жил в Париже и подружился там с Пикассо. Об Илье у Зданевичей говорили так, будто он только что вышел за дверь. Все делалось, как любил Илья. Никто не смел трогать его вещи. К этому все, особенно Валентина Кирилловна, отнеслись бы как к кощунству.

Первое время я добросовестно читал поэмы Ильи — «Осла напрокат» и «Янко, круль албанской», — но мало что понимал в них. У меня начинала болеть голова. Но я не мог признаться в этом: непонимание стихов Ильи было для его родных и друзей признаком полной бездарности и мещанства».

Много лет спустя, когда закончится уже вторая по счету мировая война, Константин Паустовский и Кирилл Зданевич станут большими друзьями. Писатель навещал друга в Тбилиси, где они ходили на стадион болеть за тбилисское «Динамо». А Зданевич ездил к Паустовскому в Москву.

— Я тоже каждый раз, когда приезжала в Москву, — рассказывала мне Мирель Зданевич-Кутателадзе, — обязательно приходила в писательский дом в Лаврушенском переулке к Паустовскому. И каждый раз у меня от смеха болел живот, таким Константин Георгиевич был веселым человеком. Одно время он был женат на Валерии Валишевской, первой жене отца. Валерия была сестрой известного польского художника Зиги Валишевского, чьи работы висели в кабинете писателя. Сама Валерия тоже была художницей, но, кажется, никогда не работала.

Она была довольно своеобразной женщиной. После того как Валишевская разошлась с моим отцом, она вышла замуж за доктора Навашина и уехала с ним в Америку. После возвращения в СССР они развелись. Тогда-то Валерия и стала женой Паустовского. Удивительно, что она воспитывала сына Навашина Сергея, а своего родного сына Павла не хотела видеть.

У меня с Валишевской сложились хорошие отношения. Мы встречались, когда она была женой Паустовского. Я любила бывать у них. Константин Георгиевич был очень умным и интересным человеком. Они с папой дружили. Помню, мы все вместе ездили на Оку, где Паустовский обожал удить рыбу. После рыбалки варили замечательную уху.

Папа и Паустовский одно время были влюблены в одну женщину — Ольгу Ивинскую, ставшую последней любовью Пастернака. С нею папа познакомился во время заключения в Воркуте. Я даже один раз была с папой у Ивинской в гостях. На меня она произвела очень хорошее впечатление. Борис Леонидович знал об этой влюбленности, знал о том, что она платоническая, но все равно, кажется, ревновал. Папа очень

любил Пастернака. Когда тот умер, ездил в Переделкино на его похороны.

После окончания Первой мировой (Кирилл находился на фронте, а Илья был военным корреспондентом газеты «Речь» и успел поработать у военного министра Керенского) и большевистского переворота в Петрограде братья приехали в Тифлис. Теперь это была столица независимой Грузии.

Вместе с художниками Сергеем Судейкиным и Ладо Гудиашвили Зданевичи расписывали стены артистического кафе «Химериони». Илья иногда брался за кисть (в 1922 году он придумал роспись для ткани, из которой жена художника Судейкина Вера сшила себе платье), но все больше и больше тяготел к литературе. Да и узоры для платья Судейкиной (впоследствии ставшей женой композитора Игоря Стравинского) были выполнены в виде букв, из которых состояли слова заумных стихов.

Все поступки Зданевича объяснялись его приверженностью футуризму. Он на самом деле был человеком будущего. На придуманном им сто лет назад «ывонным языке» будет говорить «продвинутая» интернет-молодежь XXI века. Только в двухтысячных этот язык назовут «языком подонков».

Интернет-язык нового столетия и тексты Зданевича на самом деле весьма и весьма схожи. Точнее, их объединяет полное отсутствие правил — как слышу, так и пишу. «Превед, медвед», «афтар, выпей иаду», — эти выражения прочно вошли в обиход жителей виртуальной реальности.

«Здесь ни знают албанскава изыка и бискровнае убийства дает действа па ниволи бис пиривода так как албанский изык с руским идет ат ывоннава.» — между тем уже сто лет назад писал Зданевич.

Самая известная вещь Ильи Зданевича, написанная на «ывонном языке», — пьеса «Янка, круль албанскай». Уже находясь в эмиграции, он так вспоминал о создании этого произведения: «Как человек неталантливый и ленивый, писал я его долго и в два приема. Начал писать его в тюрьме при старом режиме. Послал в цензуру напечатать первую версию. Цензор Римский-Корсаков, сын композитора, он, кажется, здесь в Париже, придрался к фразе «ю асел.» и, считая, что это пародия на царствующую особу, запретил «Янку» к печати. Революция меня вывела на свободу. Я принялся писать вторую версию, проводя дни в Таврическом и в доме Кшесинской. «Харам бажам глам», — было написано после речи Керенского по поводу принятия портфеля министра юстиции против желания Совета, а «ае бие бао биу бао» — после речи Ленина о том, кто выиграет от войны.

Раз «Янку» не удалось напечатать в Петербурге, я издал его в Тифлисе — в мае 1918 года. Тогда я и обзавелся своей книгой. Вот вам секрет моих проделок и моей молодости. Это ничего, что я был знаменит, когда в 1913 Маяковский робко начинал свои выступления».

После «Янки» Илья Зданевич сочиняет драму «Асел напракат», а уехав в 1921 году во Францию, берет псевдоним «Ильязд» (от имени и первых букв фамилии) и пишет автобиографическую книгу «Илиазда». Он вообще вольно обращался с именами, под которым выходили в свет его произведения. Статья о Пиросмани в газете «Закавказская речь» от 10 февраля 1913 года была подписана «И-вич». А книгу о Гончаровой и Ларионове (из-за дружбы с последним футурист не позволил своим чувствам к художнице перейти грань отчаянного флирта, да и мама, его главный судья, не одобряла этих отношений) Зданевич издал под именем «Эли Эганбюри».

В Тифлисе с другим поэтом-футуристом Алексеем Крученых Илья Зданевич открыл Университет «Сорок первый градус» (цифры в названии были выбраны по географической параллели, на которой, кроме столицы Грузии, находятся Нью-Йорк, Париж и Константинополь.

В 1919 году вышел в свет оказавшийся единственным номер газеты «41 градус». В небольшой заметке на второй полосе можно было прочесть: «Модной темой светских разговоров является решение вопроса — поэт или нет Илья Зданевич. Признанный арбитр С. Андреева, как говорят, решает этот вопрос отрицательно».

«Арбитр С. Андреева» была еще и признанной красавицей Тифлиса, в которую был влюблен Илья Зданевич. Впрочем, чувство к Андреевой он сочетал с влюбленностью в Веру Судейкину, в художницу Наталью Гончарову, в жену художника Василия Шухаева Веру, которой посвятил роман «Ларижачьи», написанный уже в эмиграции, в Саломею Андроникову.

Сама Саломея, одна из муз Серебряного века — подруга Ахматовой и Цветаевой, модель Петрова-Водкина и Серебряковой, вспоминала об Илье: «С Ильей я дружила до самой его смерти. По существу, он мне был самый старый товарищ с 1908 года. Он только что окончил гимназию и в конце года уже надел студенческую тужурку. Приехав в Петербург к сентябрю, он стал у меня бывать и даже влюбился. Второй раз влюбился уже в Париже. Как настоящий романтик (да, он был романтик и добр, красный каблучок, невзирая на свой футуризм). Он являлся лично и писал одновременно письма, которые подсовывал под дверь (в одном из писем Илья писал Саломее: «.меня влечет к Вам

некоторый авантюризм Вашей натуры. Вы, конечно, искательница приключений, а потому родственны мне». — И. О.).

Он делал (именно делал, сам и все) замечательные книги (издавать начал еще в Тифлисе 41 градус). Считался знатоком первым во Франции по искусству книги. Его экспромт обо мне:

На улице парижской Колизея
Жила годов пятнадцать Саломея,
Порядок домовой 4 дважды,
Прохожий, снимите шляпу
Каждый».

В 1921 году в Константинополе Илья встретился с братом Кириллом — тот возвращался из Парижа в Тифлис.

— Папа был храбрым человеком и доблестным офицером, — рассказывала Мирель Кирилловна Зданевич-Кутателадзе. — Когда началась Первая мировая, он сам вернулся из Парижа и пошел добровольцем на фронт сражаться за царя. У него была масса наград. Когда ему предлагали повышение в звании, он отказывался и говорил, что предпочитает, чтобы ему дали орден. У него было два Георгиевских креста, другие ордена. В советские годы, когда в семье не было денег, он продавал эти награды коллекционерам.

А Илья ждал парохода, который должен был отвезти его во Францию. Теперь на учебу ехал младший брат. О том, что эта встреча станет главным рубежом в их жизни, братья не знали.

В Париже Илья Зданевич, окончательно ставший для всех просто «Ильяздом», дружил с Пабло Пикассо, Марком Шагалом, Максом Эрнстом, Соней Делоне, Альберто Джакометти, Хоаном Миро, многие из которых написали его портреты. Одним из его друзей был драматург Жан Кокто, в одном из своих писем Илье прямо заявивший: «Вся ваша жизнь — это большой звездный путь».

Ильязд создавал эскизы костюмов для Дома моды Коко Шанель, а затем несколько лет был его директором. Его первой женой стала модель Дома Шанель семнадцатилетняя Аксель Брокар, которая родила ему двоих детей. В 1927 году на свет появилась их дочь Мишель. Крестной матерью девочки стала Коко Шанель. Мишель Зданевич никогда не была замужем, всю жизнь прожила в Париже и работала в библиотеке.

Вторым ребенком в семье Зданевича и Брокар, чьи отношения скоро исчерпали себя, был мальчик Даниэль, подробных сведений о судьбе которого отыскать не удалось. Известно лишь, что в 2009 году его не стало.

Следующей женой Ильязда была принцесса Нигерии Ибиронике Акинсемоин. После того как во Францию вошли

фашисты, женщину отправили в концентрационный лагерь. Там она заболела туберкулезом и умерла вскоре после освобождения. Ее похоронили на грузинском кладбище в Левиле. В этом браке у Ильи родился сын Шалва, который потом учился в Лондоне под присмотром тифлисской возлюбленной Зданевича Саломеи Андрониковой.

— Сегодня Шалва живет в Париже, его квартира находится в районе Оперы, — вспоминала Мирель Зданевич-Кутателадзе. — Он пишет романы и раз в год, под Рождество, звонит моей сестре, которая теперь тоже живет во Франции. Иногда Шалва присылает ей открытку, но каждый раз на ней нет обратного адреса. Сын Ильи и принцессы Нигерии — один из возможных претендентов на престол. Но он никогда не был в Нигерии, так как это опасно. Там же очень серьезный расизм, а мой двоюродный брат — мулат.

В 1989 году он был у меня в гостях в Тбилиси. Шалва немного знает русский язык. Пока ему не исполнилось десять лет, на русском с ним разговаривал Илья. Во время своего приезда, увидев надпись на холодильнике на нашей кухне, он прочел его по слогам: «Москва». Другие гости тут же принялись шутить, что Шалва на самом деле — шпион. От отца он унаследовал любовь к кошкам. Правда, в отличие от Ильи, державшего семь котов, у него жил всего один.

В третий раз Илья Зданевич женился на художнице Элен Дуар, взявшей псевдоним мужа, как вторую фамилию. При этом все ее родственники выступали категорически против этого брака. Выбор Элен, которая была довольно состоятельной женщиной, казался им мезальянсом.

Но она очень любила Илью. Ее кисти принадлежит последний портрет Ильязда. После смерти мужа Элен Дуар-Ильязд приезжала в Тбилиси, привозила его работы на выставку и познакомилась с племянницами Ильи.

— Элен была обеспеченной женщиной, ее первый муж был богатым человеком, — вспоминала Мирель Зданевич. — Она на 20 лет пережила Илью. Во время ее приезда в Тбилиси в 1989 году мы с ней много общались. И знаете, у меня было ощущение, что мы говорим на одном языке. Хотя французскому меня учил только дедушка и, казалось бы, что я могла тогда запомнить?

Илья Зданевич умер в 1975 году и похоронен на грузинском кладбище Левиль под Парижем (не зря же он писал о себе: «Я не русский. У меня грузинский паспорт, и я сам грузин»).

Элен Дуар-Ильязд передала работы Ильи в музей современного искусства Парижа «Бобур» и основала общество «Ильязд», которое существует и поныне.

После встречи в Константинополе в 1921 году братья Зданевичи расстались на сорок один год.

Узнав о том, что Грузия стала советской республикой, Илья решил не возвращаться на родину. При этом он категорически отказывался принимать французское подданство.

Даже загородный дом Ильязда напоминал строения, которые возводят грузинские крестьяне.

Кирилл же первое время чувствовал себя в советском Тифлисе вполне уверенно.

Рисовал агитплакаты, работал в театре и даже в цирке. На эскизах декораций кисти Зданевича, которые и сегодня можно встретить в художественных салонах Тбилиси, стоят две латинские буквы «K. Z.».

В 1925 году в Тифлисе Кирилл Зданевич встретил свою судьбу.

— Моя мама, Ольга Петрова, приехала в Тифлис со своим первым мужем, который был большим советским начальником, — рассказывала Мирель Зданевич-Кутателадзе. — Отсюда они должны были ехать в Италию, куда маминого супруга посылали в командировку. Но мама заболела брюшным тифом и никуда ехать конечно же не могла.

Ее муж уехал и присылал ей деньги, на которые мама и жила.

Когда после болезни у нее отнялись ноги, маму взяла к себе семья Чолокашвили. У них дома был артистический салон, где собирались актеры, писатели, художники. Там мама и познакомилась с папой. Он называл ее «клубника со сливками». Таким было его первое впечатление — во время их знакомства мама сидела в кресле, бледная после тифа, с красной чалмой на голове. Она была моложе отца на десять лет. Они поженились в 1926 году, когда мама уже была беременна мною. Свидетелями на их свадьбе были друзья папы — поэты Тициан Табидзе и Паоло Иашвили.

Были ли мои родители верующими? Этот вопрос я стала задавать себе только в последнее время. У нас дома не было икон. Возможно, бабушка все отдала своим вновь обретенным грузинским родственникам, она им многое отдавала. О вере у нас дома не говорили. Я сама крестилась только в сорок лет, в один день со своим сыном Караманом. Мой дедушка Михаил, хоть и поляк, был православным. А на кресте, установленном на могиле его дедушки, я видела массонский знак.

В начале тридцатых мы переехали в Москву, где родилась моя сестра Валентина. Мы тогда жили в Сивцевом Вражке, и, помню, я пешком отправилась на Арбат, в родильный дом имени Грауэрмана. Там на черной доске мелом записывали, кто

появился на свет в этот день. Вернулась домой и говорю папе: «Опять девчонка!» Сестру назвали Валентиной, в честь бабушки. Они были полные тезки — обе Валентины Кирилловны.

Я обожала своих тифлисских бабушку и дедушку. Когда началась война, из Москвы мы приехали к ним.

Начало войны застало нас в подмосковном Кратове, где мы снимали дачу. Для папы было очень важно, чтобы его дети дышали свежим воздухом. И мы с мая перебирались в Кратово, а папа приезжал к нам на выходные.

Лето 1941 года мы оставались на даче, где возле нашего дома копали окопы. И после объявления воздушной тревоги в них прятались. Я хорошо помню два скрещенных в небе луча прожектора и между ними — вражеский самолет. А папа в это время поднимался на крышу нашего дома, чтобы сбросить с нее фашисткие зажигалки, до которых у немцев, к счастью, дело не дошло. Соседи кричали: «Кирилл Михайлович, спускайтесь! Немцы вас заметят по вашим белым штанам». Он действительно был в белых штанах.

В эвакуацию мы уехали только в ноябре 41-го. Папа пришел домой и сказал маме, что завтра отправляется последний эшелон в Алма-Ату и мы должны собираться. «Зачем нам Алма-Ата, где мы никого не знаем, — ответила мама. — Давай поедем в Тбилиси». И мы на последнем эшелоне сумели уехать. Уже бомбили Москву. Помню, как на перроне переговаривались: «Сталин остался в Москве! Значит, не все так плохо». Папа сумел «выбить» для нас отдельное купе, а сам остался в столице. Добирались мы неделю. Здесь, конечно, была совсем другая жизнь — тихая, сытная. У нас дома всегда была кукурузная мука, лобио.

Сам папа приехал в Тбилиси несколько недель спустя. Вместе с ним приехали Дмитрий Налбандян с женой (он был родом из Тбилиси, окончил здесь Академию художеств и затем стал одним из самых известных советских мастеров, писавших в основном портреты вождей. — И. О.) и художник Аполлон Кутателадзе.

Аполлон с папой были очень дружны. И я его хорошо знала. Причем не только его, а всех его жен и детей. Тогда у меня и мысли не было, что через несколько лет мы станем с ним мужем и женой. Папа, кстати, очень переживал из-за этого. Все-таки Аполлон был старше меня на 25 лет. Но я никогда не чувствовала этого. Наоборот, иногда даже уставала от его энергии, ему до всего было дело, все интересовало. Потом папа, конечно, успокоился. А после того, как у нас родился сын Караман, он и вовсе был на седьмом небе от счастья.

Дедушка умер во время войны. Причиной смерти стал

несчастный случай — дедушка работал бухгалтером в Ортачалах и каждый день, несмотря на свой возраст, добирался до работы на трамвае. И в один из дней, когда он пытался подняться в трамвай, его столкнул на мостовую какой-то мешочник, возвращавшийся с Верийского рынка. Дедушка упал, ударился головой и погиб на месте. Я его очень любила, он был очень добрым человеком.

Бабушки не стало в 1942 году. Я читала одно из ее писем сыну Илье в Париж, в котором она пишет: «Если ты еще скажешь что-нибудь дурное о Кирилле, я перестану с тобой общаться».

Дело в том, что Илья был зол на моего отца за то, что тот передал безвозмездно в дар музею Грузии большую часть работ Пиросмани. Папа просто понимал, что иначе картины все равно отберут. А для Ильи это было странным. Он же уехал в Париж, оставив все картины Пиросмани в Тифлисе, так как не знал, что уезжает навсегда. И он возмущался — какое право брат имел распоряжаться картинами, которые они собирали вместе?

Даже когда в шестьдесят девятом году Грузия повезла работы Пиросмани на выставку во Францию, папа переживал, как бы Илья не начал там выступать по поводу того, что эти картины принадлежат ему.

Подобные опасения, судя по всему, были и у организаторов выставки в Лувре. В результате Илье Зданевичу даже не прислали пригласительного билета. Илья сам купил входной билет и пришел на выставку принадлежавших ему шедевров, как обычный посетитель. Ходил по Лувру, смотрел картины и говорил: «Это моя картина, и это моя, и это».

Папа отдал много картин в музей, но что-то осталось. Моя любимая работа Пиросмани — «Арсенальная гора ночью». Я с детства любила эту картину. Но после того, как папу в 1949 году арестовали и на 15 лет отправили в Воркуту, мы остались без копейки денег. И мама отнесла картину Ираклию Тоидзе. Тот прямо сказал: «Я не люблю Пиросмани. А потому дам тебе деньги и возьму картину. А ты, когда соберешь всю сумму, сможешь прийти и забрать полотно обратно». И так и случилось — после того, как папа вернулся из лагеря (он был освобожден через девять лет), он выкупил картину обратно. И уже продал ее Лиле Брик, которая понимала или делала вид, что понимала, искусство Пиросмани. Потом, когда моя сестра переехала во Францию, она видела эту картину на одной из выставок. Оказалось, Брик завещала ее кому-то из своих друзей.

Я, кстати, несколько раз была у Лили Брик в гостях. Но на меня она не произвела приятного впечатления. Может, потому, что я уже шла к ней с отрицательным отношением. Она же все время предавала своих друзей. Брик была очень сухой, худой

женщиной. И шлейф Маяковского прямо-таки физически ощущался за ее спиной. У нее дома была хорошая коллекция произведений искусства. Помню, она показывала мне альбом с литографиями Пикассо. Но мне, честно говоря, этот художник никогда не нравился.

Я прямо говорила папе: «Ты — лучше». Он смеялся и отвечал, что я ничего не понимаю. Папа ведь лично знал Пикассо. А Илья и вовсе был с ним дружен. На его свадьбу Пабло изготовил макет для пригласительных билетов.

Илья общался со всем парижским бомондом. А папа был дружен со всем цветом бомонда советского. Когда он вышел из лагеря, его буквально одевала-обувала вся литературно-художественная Москва. Одним из друзей папы был Маяковский. Папа рассказывал, как присутствовал на похоронах поэта. С ужасом вспоминал, как его подпустили к глазку, вмонтированному в печь крематория, в которую ввезли гроб. Он потом неделю не мог прийти в себя. «Но ведь тебя же никто не заставлял смотреть», — говорила я отцу.

Папа не видел Илью больше сорока лет. Странно вообще, что его выпустили за границу. В Париже он пробыл полтора месяца. На вокзале в Париже его встречал брат, держащий в руках плакат: «Я — ИЛЬЯ ЗДАНЕВИЧ». Папа потом говорил, что все равно узнал бы его. На что я ответила, что, возможно, Илья бы не узнал папу. Ведь они так долго не виделись. И не переписывались, это было опасно.

В 1949 году в московскую коммуналку, где жили отец с мамой и сестрой, пришли и устроили обыск. При этом сотрудники органов то и дело выходили в коридор и кому-то звонили по телефону: «Знаешь, ничего нет!» Они, видимо, искали золото, серебро, дорогие рамы из-под картин. А у отца дома были только книги и картины Пиросмани, которые тогда никого не интересовали.

Известие об аресте папы я получила в Тбилиси. Поводом стало общение с английским журналистом, аккредитованным в Москве. Того очень интересовал Пиросмани, он даже, кажется, что-то купил у папы. Я жила в то время на улице Бакрадзе, где конечно же не было телефона. О трагедии с отцом мне в письме сообщила мама. Причем до меня дошло только второе ее письмо, первое, очевидно, было перехвачено в Тбилиси. При этом мама так написала обо всем, что я поначалу ничего не поняла. Пошла с этим письмом к Аполлону Кутателадзе. И тот мне сразу сказал, в чем дело. Его, оказывается, уже вызывали на допрос и требовали компрометирующих показаний на Кирилла Зданевича. Меня, как ни странно, на допрос не вызвали ни разу.

Конечно же мы боялись, что папу могут расстрелять. Тем более что некоторых его друзей уже постигла такая участь. Для всех нас большим ударом стал арест и расстрел журналиста Михаила Кольцова. Я помню, как он вернулся из Испании, где писал о гражданской войне. Все считали его героем и вдруг — смертный приговор.

Кирилла осудили по 58-й политической статье и приговорили к 15 годам заключения. Для нас это был шок. Я и сама ждала ареста. Каждую ночь прислушивалась к шуму за окном — не за мной ли явились. Тогда же в Тбилиси шли почти поголовные аресты. Но, к счастью, обошлось.

Папа вернулся через девять лет. Он не любил вспоминать о лагере. Если рассказывал, то только какие-то забавные истории. Например, все заключенные и даже начальство знали, что папа — большой болельщик тбилисского «Динамо». В один из дней, когда проходил важный футбольный матч, специально для папы лагерное начальство, которое к нему относилось очень хорошо, включило «тарелку» радио, по которой передавали репортаж с матча. И папа один стоял в пургу на плацу и внимал тому, что происходило на стадионе. В тот раз «Динамо» проиграло. Заключенные на следующий день сделали для отца траурную повязку, которую он повязал на руку и с нею ходил.

А мама в это время обменяла жилье в Москве на комнату в Тбилиси и переехала в Грузию. Когда папа освободился, ему дали комнату на Кутузовском проспекте. Очень хорошую, между прочим. Но потом он все равно переехал в Грузию. Папа обожал Тбилиси, все время рвался сюда. Они с братом были истинными патриотами Грузии.

Я в 17 лет попробовала уехать в Москву, где хотела поступить в институт прикладного и декоративного искусства, тогда существовал такой. Им руководил художник Александр Дейнека. Мне не хватило всего одного балла, чтобы поступить. Меня «срезали» в пользу дочери какого-то генерала. Папа потом поехал в Москву к Дейнеке. А тот ответил: «Ну откуда же мне было знать, что это твоя дочь?»

Но я ни о чем не жалею. Потому что в Тбилиси я встретила Аполлона Кутателадзе, своего будущего мужа, замечательного человека. Народный художник СССР и Грузии, он был ректором Академии. Аполлон много рисовал вождей — Сталина, Ленина. Но у него эти картины все равно получались поэтическими, а не как у того же Налбандяна, который просто бездушно изображал требуемый объект.

Работы мужа хранились в Музее революции в Москве, в Институте марксизма-ленинизма в Тбилиси. Где они находятся

сейчас, я понятия не имею. В начале 90-х, когда все начало рушиться, сын пошел в Институт марксизма-ленинизма, но ему сказали, что не отдадут картины. Потом вроде обещали, но потребовали какие-то бумаги. Так в итоге все работы и пропали.

Я намного пережила мужа. Все мои близкие уходили друг за другом — в 69 году не стало папы, в 72-м — мамы, а в 75-м — Аполлона.

Папа очень любил моего мужа, они дружили. Но творческая судьба отца была совсем непростой. Он все время где-то работал, чтобы прокормить семью. Даже для рекламы снимался. А мама занималась детьми и домом. Только после ареста отца она пошла работать в артель, которая расписывала батик.

Бедный папа, он так нуждался всю жизнь. Во время войны работал в театре имени Руставели, в цирке писал плакаты на военные темы. Я помню эти работы отца. А выставок у него не было. Он постоянно ходил на комиссии, представляя на их суд свои работы. И каждый раз получал отказ. Все понимали, какой на самом деле художник Кирилл Зданевич, но клеймо «формалист» было для него смертельным. В Москве он готовился к выставке, но там с ним случился инсульт, и так ничего и не состоялось.

Конечно, мне обидно, что отец и его брат недооценены.

А ведь именно папа создал первый полный каталог работ Пиросмани. И как художник он был очень талантлив. А его работы стали покупаться музеями лишь после смерти. Да и на встречу с братом за границу его, скорее всего, выпустили лишь благодаря положению моего мужа. Хотя нам с Аполлоном однажды заграничную поездку запретили. В анкете на вопрос, есть ли у вас родственники за границей, я ответила отрицательно. В результате мне эту анкету вернули, и я увидела, как на ней рядом с вопросом о родственниках и моим ответом было чьей-то рукой размашисто написано: «Дядя Илья».

Одно время на доме на улице Бакрадзе, где жили братья Зданевичи и где ими была собрана коллекция работ Пиросмани, висела мемориальная доска. Но потом ее украли, видимо позарившись на металл, из которого она была сделана.

— Конечно, если бы папа жил в Париже, у него была бы совсем другая жизнь. Мы с сестрой как-то спросили у него, почему он не остался в Париже, как сделал его брат. Ведь Илья Зданевич был на Западе весьма востребованным художником, работал у Шанель, выставлялся. Говорили, что после смерти он оставил только ценных бумаг на два миллиона долларов.

Папа на наш вопрос ответил коротко: «Тогда бы у меня не было вас». И больше на эту тему мы с ним не говорили.

Мирель Зданевич успела встретить свой 85-й день рождения. Ее не стало несколько месяцев спустя, в ноябре 2011 года.

В свое время она дала мне несколько фотографий из архива братьев Зданевичей, которые я не успел ей вернуть. Совпало, что снимки я принес в дом Мирель Кирилловны на девятый день после ее кончины.

Возможно, я пришел в неурочный час, а может, еще по какой-то причине, но за столом на кухне, где еще пару месяцев назад меня принимала Мирель Кирилловна, в одиночестве сидел Караман, ее единственный сын.

— У вас есть пять минут? — обратился он ко мне. — Останьтесь, пожалуйста. Сегодня 9 дней, как не стало мамы. И мне хотелось бы вам что-то рассказать.

У меня были великие предки. Они создавали в Грузии эпоху.

Первая выставка братьев Зданевичей — картин деда и работ его брата Ильи — состоялась в Грузии в 1989 году. Как раз перед 9 апреля (трагическим днем, когда перед парламентом республики советскими войсками саперными лопатками и газом «черемуха» была разогнана мирная манифестация. — И. О.) успели.

Из Парижа приехала целая делегация. Вдове Ильи Элен Дуар было уже за семьдесят, но я до сих пор ощущаю себя счастливым мужчиной, так как видел такую женщину.

Элен привезла в Тбилиси картину Пикассо — портрет Пиросмани, который принадлежал Ильязду. Сказала, что этот портрет должен увидеть родину Пиросмани. А директор музея тут же спрятал работу Пикассо у себе в кабинете.

И когда мы собрались ехать в Мирзаани, родовое село Пиросмани, рисунка уже не было.

Но Элен быстро поняла, в чем дело. Мы вместе с ней пришли в кабинет директора, она взяла его за ухо и спросила: «Где Пикассо?» Директор конечно же тут же достал портрет. И в Мирзаани мы приехали вместе с Пикассо, поставили его на видное место.

Тогда приезжал и сын Ильи Шалва, директор Центра Помпиду.

А спустя какое-то время уже я поехал в Париж. Как меня принимала Элен! Ее фамилия во Франции очень известна, как в Грузии, например, Дадиани, а в России — Трубецкие.

И какое-то время родственники отказывались с ней общаться, не могли понять и принять то, что она вышла замуж за грузина.

С какими людьми она меня познакомила! Как-то утром заехала за мной и сказала, что хочет познакомить со своей знакомой. Мы приехали к очень пожилой женщине, ей было,

наверное, за 90. Это была подруга художника Брака. Она подвела меня к деревянному шкафу и стала показывать работы Брака. А я в тот момент так плохо себя чувствовал после вчерашней пирушки, что мечтал только о том, чтобы старушка побыстрее закончила и отпустила нас. Глупый был.

В другой раз Элен познакомила меня с подругой Модильяни. Какая это была женщина!

А однажды Элен повела меня к своей сестре, которая жила в районе Елисейских Полей. Нас встретила старая женщина, пригласила в роскошную квартиру. Когда мы сели за стол, из соседней комнаты на кресле-каталке выехал, как мне показалось, столетний старик. Это был муж сестры Элен, «сахарный» магнат, которому в свое время принадлежал чуть ли не весь Вьетнам. У Элен была очень знатная семья.

А Илья жил на улице Мазарини. Когда я пришел в его дом, то поймал себя на мысли, что оказался не в Латинском квартале Парижа, а в тбилисском районе Вера. Там был итальянский дворик, старый-старый дом.

Илья ведь не был богатым человеком. Но когда он заходил в кафе «Флор» на Сен-Жермен-де-Пре, то все посетители вставали и снимали перед ним шляпу. Потому что он был большим интеллектуалом.

Он говорил, что Пиросмани был самым великим художником, более значительным, чем Пикассо и Брак. Потому что Пикассо и его друзья воровали идеи у Маринетти, а Пиросмани ни у кого ничего не воровал. Он рисовал так, как мог. И его талант был от Бога.

Париж — это прекрасный город. Только там можно понять, что такое успех!

У меня был ученик, Антон Баланчивадзе, внучатый племянник Жоржа Баланчина. В один из дней он пришел ко мне за советом. У него появилась возможность поехать в Париж, и он не знал, как поступить.

Тогда я посадил Антона перед собой и сказал: «Поезжай в Париж. Там разыщи Порт де Ней, который построил Наполеон. Спустись по лестнице до винного магазина и купи самого дешевого вина. Только возьми большую бутылку, маленькую не бери. Затем дойди до Сены и садись рядом с клошарами. Они с утра там сидят и пьют вино. Когда ты придешь, их вино уже закончится и они будут тебе рады. Выпей с ними эту большую бутылку дешевого вина. И после этого к тебе явится ангел, который покажет правильную дорогу».

Антон потом так и сделал. И рассказал мне, что на второй день после этого его разыскали из одной галереи и предложили

контракт.

Я очень люблю Париж. А тогда вернулся в Грузию. И это было, наверное, единственное, чего мама не могла мне простить.

Почему я так поступил? Не знаю. Хотя на самом деле знаю, конечно. Я вернулся из-за мамы. Потому что ее бы тут просто убили. Она бы не смогла жить одна. А так яееи похоронил достойно.

Она была великой женщиной. А этого никто здесь не ценил и не понимал.

Мама сумела правильно организовать жизнь нашей семьи. Мой отец Аполлон не зря носил такое имя — его обожали женщины во всем Советском Союзе. В Москве у него была мастерская на Масловке, так туда толпами приходили красивые натурщицы. Потом то же самое было и в Тбилиси. Но мама сумела смириться со всеми любовными увлечениями отца. И это был единственно верный путь.

Но это не значит, что мама была такой мягкой. Наоборот, она была настоящим шляхтичем — жестким, принципиальным, с чувством собственного достоинства. Просто она умела понять отца.

У Аполлона ведь была непростая жизнь. Он был офицером Белой армии. У него было много жен и много детей. Один из них, Тариел, во время советско-финляндской войны попал в плен. Потом, как и всех пленных, его отправили в лагерь. Потом, уже сражаясь на Великой Отечественной, он снова попал в плен. И поступил в грузинский отряд, который сражался на стороне немцев. После окончания войны он жил в Италии, там его и арестовали. Приговорили к расстрелу.

Когда эшелон вез брата вместе с другими заключенными в лагерь, где смертный приговор должен был быть приведен в исполнение, он выбросил из окна вагона кусок салфетки, на котором написал свое имя и адрес отца. И какая-то женщина в Тамбове подняла этот листочек и переслала отцу.

Аполлон тут же пошел к Берии и попросил не расстреливать его сына. К папиным словам прислушались. Он был уже известным художником, автором портретов Сталина, Орджоникидзе, народным художником.

И брата помиловали. 12 лет он провел в лагере.

После войны папа стал ректором Академии художеств. Когда Хрущев решил закрыть подобные учебные заведения в республиках СССР, то в Тбилиси приехала министр культуры Екатерина Фурцева. И папа не просто отстоял Академию, но и на свой страх и риск выстроил для нее новое девятиэтажное здание. Когда Фурцеву привезли в новостройку, она сказала: «Ну хоть бы

пять этажей было, куда уж девять?»

Но папа умел убеждать женщин. Он пригласил Екатерину Алексеевну на обед, они пообщались, и все вопросы были сняты.

А потом в Грузии наступили непростые времена. Она могла пойти по дороге разума. Бог послал нам выдающегося мыслителя Мераба Мамардашвили. Но он же послал и Звиада Гамсахурдиа. И Грузия выбрала путь национализма.

Может, меня погубит вино. Но я рассказываю вам правду. И мне больше некому ее рассказать.

Когда я уходил из дома Зданевич-Кутателадзе, то случайно бросил взгляд на бутылку из-под вина, которая смотрела на меня этикеткой. Бутылку незадолго до этого принесла помощница Мирель Кирилловны по хозяйству, все эти дни она оставалась в доме. Когда я пришел, женщина выбежала на улицу и купила в ближайшем магазине то, что попалось под руку. На бутылке было написано — «Пиросмани».

# Мудрец. Историк, искусствовед Виталий Вульф

Говорят, у телевизионного ведущего судьба очень коротка: показывают по телевизору — помнят, перестали — тут же забыли.

Виталий Вульф исключение. Его не стало весной 2011 года, а имя автора «Серебряного шара» по-прежнему не оставляет равнодушным: кто-то вспоминает с восхищением и обожанием, а кто-то категорически не приемлет и раздражается.

Так получилось, что я хорошо знал Виталия Яковлевича. Знакомство с ним было для меня огромной честью, великой удачей и большим счастьем.

Наше общение началось во время подготовки большого юбилейного материала, посвященного Марлен Дитрих.

Вульф рассказывал о ней так, как умел только он, создавая абсолютное ощущение своей причастности к судьбе кинодивы. А я записывал его монолог. Статья увидела свет, понравилась не только читателям.

Затем мне предложили сделать интервью с самим Вульфом. Текст тоже получился неплохим.

«У тебя природная легкость письма», — сказал мне Виталий Яковлевич, который вообще не был большим любителем говорить комплименты.

Чего не скажешь о его желании выслушивать мнения друзей о своих программах. Знающие люди набирали номер его домашнего телефона уже при появлении на экране финальных титров, иначе было не дозвониться.

В последние годы его жизни мы виделись не так часто. Виталий Яковлевич был увлечен своим новым детищем — радио «Культура». Помню, утром я прочитал в новостной ленте о его назначении на должность главного редактора.

А вечером Виталий Яковлевич уже позвонил мне в Париж: «Приезжай, есть работа».

Сотрудничества не получилось. О чем не жалею — одно дело приятельствовать, а совсем другое — находиться в положении начальник — подчиненный. Вульф буквально горел работой, во время приездов в Москву мне удавалось разве что поговорить с ним по телефону.

У Виталия Яковлевича появился помощник, чей номер телефона он продиктовал мне, как показалось, с какой-то гордостью. Но надо отдать должное Вульфу: ни разу мне не пришлось договариваться о встрече или разговоре через третьих

людей.

Мы были знакомы десять лет. И всегда находились в разных весовых категориях — и возрастных, и социальных. Но каких-то барьеров в общении я не чувствовал никогда.

Вульф мог рассказать об Ольге Книппер-Чеховой, вдове великого Антона Павловича, а в другой раз дать совет, как правильно собирать чемодан в поездку.

У каждого был свой Виталий Вульф. Большинству вспоминается его неторопливая манера рассказывать увлекательные истории о знаменитых и подзабытых героях прошлых лет, в судьбах которых он умел найти неожиданные грани. А у меня с именем Вульфа в первую очередь ассоциируется его уютная квартира в районе Арбата, где мне не раз доводилось бывать.

Именно там Виталий Яковлевич был самим собой. Нет, он не играл на экране. Просто, согласно законам жанра, должен был казаться стойким солдатом. И лишь дома мог признаться, как на самом деле устал.

«У меня ощущение, что накопилась уже тысячелетняя усталость», — как-то произнес он. Я наивно предположил, что в таком случае необходимо устроить передышку, взять таймаут. «О чем ты говоришь?! — по-доброму возмутился Вульф. — У меня записи программы, а потом выступление в Петербурге. Когда мне отдыхать?»

Своей жизнью Виталий Яковлевич доказал, что невозможное все-таки бывает возможно. Если бы не пример его биографии, сложно было бы поверить, что простой юноша из Баку сумеет покорить Москву, что выпускник юридического факультета станет едва ли не самым авторитетным искусствоведом страны, что обладающий не самой выдающейся дикцией рассказчик превратится в одного из популярнейших телеведущих. И что в шестьдесят лет — именно в этом возрасте к Вульфу пришло признание и популярность — жизнь, по большому счету, только начинается.

Никогда не забуду, как однажды я пришел домой к Виталию Яковлевичу, и он стал рассказывать об актрисе Валентине Серовой. Его повествование о звезде сороковых было таким же захватывающим, каким бывало во время телевизионных эфиров. Но самое интересное случилось после того, как перипетии трагической судьбы Серовой были рассказаны и мне пришла пора уходить.

За окном в этот момент начался сильнейший ливень.

И Вульф предложил дождаться его окончания. «А я пока прочту вам стихи Симонова, которые он посвятил Валентине

Серовой», — сказал Виталий Яковлевич.

Он взял с полки томик стихов, расположился в своем любимом кресле и принялся читать. Это было настоящее театральное действо! По оконному стеклу лупили капли дождя, а хозяин дома, уютно сидя в глубоком кресле, читал пронзительные строки.

Больше всего в тот момент мне хотелось, чтобы дождь продолжался как можно дольше.

Вульф был мудрым человеком и мог ответить едва ли не на любой вопрос. В том числе и о науке самой жизни. Как-то в одной из газет появилась не очень добрая заметка о нем.

Я позвонил Виталию Яковлевичу, надеясь как-то поддержать его. Но он был совершенно спокоен: «Мало ли кто что будет говорить. А завтра напишут, что я украл слона. И что, мне идти в зоопарк и требовать справку, что это неправда?»

Хотя когда появлялись обидные статьи о его друзьях и коллегах, Вульф поднимался на защиту. Он умел заставить уважать и себя, и других. «Если надо, я становлюсь суровым, как Ледовитый океан, — говорил он. — Потому что лгать не дозволено никому!»

Одним из его ближайших друзей был Олег Ефремов. Когда знаменитый режиссер и актер ушел из жизни, Виталию Яковлевичу было впору выражать соболезнования, как члену семьи. Он так обожал Ефремова, что мне даже было страшно встречаться с Вульфом на похоронах худрука МХАТа, я не знал, какие слова следует говорить в этом случае.

Помню, Вульф стоял возле церкви Новодевичьего монастыря, где в тот момент отпевали Ефремова. А потом мы вместе пошли на Новодевичье кладбище.

Когда все было закончено, еще долго бродили по аллеям некрополя и Виталий Яковлевич вспоминал, вспоминал, вспоминал. Это была одна из его самых блестящих лекций об истории Художественного театра, ведь мы проходили мимо могил всех его основоположников и великих актеров.

Дружбой с Виталием Яковлевичем дорожили. Костями Вульфа бывали Марина Неелова, Алла Демидова, часто приходили выдающийся хореограф Юрий Григорович и его жена, балерина Наталья Бессмертнова.

Как-то в доме сломался лифт. Я как раз уходил от Вульфа, когда мне навстречу по лестнице на пятый этаж медленно поднималась чета Григорович и Бессмертнова. Виталий Яковлевич умел дружить. Когда кому-то из его близких было плохо, он немедленно подставлял свое плечо. После смерти Бессмертновой он не отходил от Григоровича, и его следующая

программа была посвящена именно великой балерине.

Воистину: мы начинаем по-настоящему ценить человека, лишь когда его уже нет. Мы часто виделись с Вульфом, о многом говорили. Но только сейчас я понял, что самых главных вопросов ему так и не задал. Да и записать воспоминания Виталия Яковлевича удосужился всего один раз, накануне его юбилея.

Помню, как резанула его фраза: «Я реально смотрю на вещи. Переворачиваю последнюю главу своей жизни. Кто знает, сколько я еще проживу. А жизнь сама почему-то оказалась трудной».

В тот раз хозяин дома, усадив меня на диван красного дерева, где обычно располагались гости, а сам заняв свое любимое кресло, принялся говорить.

— Я искренне никогда не думал о возрасте. Когда мне исполнилось 60 лет, я думал: «Как 60? Кому? Мне?» Это был последний юбилей, который я отмечал. Хотя мои дни рождения всегда любили.

На старой квартире в Волковом переулке (одна комната была 14 метров, другая 8) собирались большие компании. Кто там только не бывал — Олег Ефремов, Василий Катанян, Александр Годунов, Юрий Григорович, масса известных и неизвестных людей.

А сейчас у меня нет никакого желания отмечать юбилей. Что это за праздник? Я бы много дал, чтобы все об этой дате забыли. Уеду в Париж, буду в свой день рождения в городе, который обожаю.

Знаешь, на самом деле жизнь была очень непростой.

И когда я иногда, очень редко, правда, вспоминаю что-то неприятное. Я вообще-то себе не позволяю погружаться в депрессию. Как только чувствую ее приближение, беру книжку и забываю о грустном. Я научился избавляться от негативных эмоций. Я их отрезаю.

Период работы на Первом канале был не таким легким.

Я понимал, что не очень интересую руководство. Да и получал мало. Нельзя себя, разумеется, сравнивать с массой людей, но на ТВ все-таки другие деньги. Но главное — я перестал получать удовольствие от работы. Понял, что это мало кому нужно. Одна программа в месяц — это ноль.

На Втором канале, где я работаю сегодня, мой «Серебряный шар» выходит семь раз в месяц — две премьеры и пять повторов. Здесь другая атмосфера, другое отношение, и я это чувствую. Очень благодарен за это Олегу Добродееву.

Я реально смотрю на вещи. Переворачиваю последнюю главу своей жизни. Кто знает, сколько еще проживу. А жизнь сама почему-то оказалась трудной.

Я был человеком очень доверчивым, очень наивным, легкомысленным. Всегда много читал, всегда тянулся к театру. Любил его. Сейчас этого нет, я охладел к нему. У меня свободный вечер, а мне не хочется в театр. Он стал другим. С его авангардом, кривлянием режиссеров. Понятно, что жизнь меняется, все идет вперед. Но меняется она, к сожалению, не в сторону развития и углубления культуры, а в сторону антикультуры. Все ведь поглотила попса.

Я очень отчетливо помню все, что пришлось пережить лично мне. Хотя родословную свою знаю плохо. Бабушка и дедушка были состоятельными людьми, но они погибли до революции, поэтому я об этом знаю только по рассказам родителей.

Папа, известный юрист, приехал в 1924 году в командировку в Баку. Однажды, прогуливаясь по городу, он помог молоденькой девушке поднять сумочку. Этой девушкой стала моя мама. Через неделю они поженились. Поначалу отец категорически не хотел иметь детей. Но после моего рождения, по словам мамы, смыслом его жизни стал я. Все мои желания безоговорочно исполнялись. Единственное, на чем настоял папа, — чтобы я получил не театральное, как я хотел, а серьезное, то есть юридическое, образование.

Я окончил юридический факультет МГУ в очень тяжелое время, еще был жив Сталин. В Москве у меня не было никаких шансов устроиться на работу. И я уехал в Баку, где жили родители. Но и там тоже не было работы по специальности. Пришлось поступить учителем в школу. Два года преподавал логику в двух школах, 47-й и 134-й.

И каждый год ездил в Москву сдавать экзамены в аспирантуру во Всесоюзный институт юридических наук. В 55 году я получил три пятерки. Папа был еще жив, он меня баловал очень. Я же был единственным ребенком. И вдруг мне сообщают, что меня не приняли. Я сохранил эту справку. «Выдана Виталию Вульфу в том, что он вступительные экзамены сдал на „отлично”. Администрация не считает возможным зачислить его в аспирантуру». Для меня это было первое проявление антисемитизма. Других мотивов не принять меня не было.

Я снова вернулся в Баку. Папа не выдержал этого, он переживал за меня и понимал, что преподавание в школе — это не то, чем должен заниматься его сын. Папа умер 25 января 1956 года. Это был первый удар молотком по мне. Я вдруг понял, что мне надо вести дом, содержать маму, теток.

Ровно через неделю после смерти отца меня приняли в бакинскую адвокатуру. Лет пять я там проработал. У меня даже дела какие-то остались.

От природы у меня был единственный дар — устная речь. Я имел огромную практику, ко мне стояли очереди. Я принимал дома, в папином кабинете. Стал зарабатывать очень много денег. И это вызывало в адвокатуре удивление: молодой парень, Буратино такой, и вдруг стал столь популярен. А мама понимала, что мне все равно надо ехать в Москву. Через год она заставила меня снова поехать сдавать экзамены. В 57 году я в четвертый раз приехал в Москву. И меня приняли. Но теперь я мог учиться только в заочной аспирантуре.

Москва после смерти Сталина была уже другой. Чувствовалось хрущевское послабление. Я вообще считаю, что Хрущев — недооцененная фигура. Первый человек, разрушивший стену сталинизма. Несмотря на все свои политические грехи, которые у него были.

Будучи аспирантом, я не мог позволить себе остаться в Москве. В Баку жили мама, тетка — папина сестра, уже была моя личная жизнь. И тогда я стал зарабатывать, откладывать деньги и на три месяца уезжал в Москву.

Здесь и решилась моя судьба. Важным человеком в моей жизни стала Мария Ивановна Бабанова, великая русская актриса. Я не пропускал ни одного ее спектакля, бывал у нее дома.

А впервые увидел ее при довольно забавных обстоятельствах. Как-то с приятелем мы проходили мимо Московского театра Драмы, так раньше назывался театр имени Маяковского. И увидели на афише название спектакля, который давали в тот вечер. Шла «Таня» Арбузова. Мы подумали, что это будет спектакль о Зое Космодемьянской. Купили билет. И вот на сцене появилась уже немолодая женщина с удивительным, неземным голосом. Ни о какой Зое речи не шло. Но я уже и забыл об этом. Смотрел на Бабанову и. Никогда больше в театре я так не плакал.

Приезжая в Москву, я снимал комнату в доме на Погодинской улице, в квартире большого режиссера МХАТа Бориса Вершилова. Его уже не было в живых, были живы его вдова и две дочери. Вершилов был учителем Татьяны Дорониной. В его доме я впервые услышал ее имя, там к ней относились, как к богине.

И так я ездил взад-вперед: Баку — Москва, Москва — Баку. Одновременно поступил в Институт права Академии наук Азербайджана. В 1962 году защитил кандидатскую диссертацию. Как сейчас помню тему: «Обязанность доказывания в английском уголовном процессе». Но я все это не любил. Каждый вечер болтался по театрам: МХАТ, Малый, Вахтанговский.

А потом в Баку приехал на гастроли «Современник».

Я подружился с Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Леонидом Эрманом. Когда очередной раз приехал в Москву, то

первым делом пришел в этот театр, который на долгие годы стал мне вторым домом. И в Баку уже не вернулся.

Возникла первая официальная неприятность — мне посылали громовые телеграммы о том, что я обязан вернуться в институт. Чуть ли не к уголовной ответственности хотели привлечь.

С моей стороны это была не наглость и не смелость. Может, было не очень этично не предупредить дирекцию о своем уходе. Но я же не думал, что останусь в Москве. Я женился в тот момент, получил московскую прописку. Меня приняли в московскую коллегию адвокатов. А потом я расстался с женой, и мне стало негде жить. Я снимал углы, денег-то у меня не было. Тяжело было. Длилось все это довольно долго.

В Москве я часто бывал в доме дочери великого актера МХАТа Александра Вишневского Наталии Александровны, или Наталиши, как ее все называли. Помню, в большой комнате ее квартиры на улице Немировича-Данченко, сегодня это Глинищевский переулок, висел портрет Станиславского с надписью: «Будь знаменитой артисткой в отца, будь чудесным человеком в мать и оставайся премилой, нежной Таточкой, которую я так люблю. К. С. Станиславский, 1935 год».

У нее дома бывали очень интересные люди. Я встречал там Марию Роксанову, первую Чайку Художественного театра. Сама Наталиша часто навещала Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову. Вернувшись домой, рассказывала о вдове Чехова.

Я запоминал.

Когда Ольги Леонардовны не стало, София Станиславовна Пилявская позвонила сообщить об этом в театр. Ей сухо ответили: «Мы повесим об этом объявление». Я был на ее похоронах на Новодевичьем кладбище, ее похоронили в одной могиле с Чеховым.

Обстановка квартиры Книппер-Чеховой осталась неприкосновенной и после ее смерти.

В спальне вдовы Чехова я запомнил большую старую кровать, старый шкаф и портрет красивой женщины, на котором было написано: «Ольге Книппер с любовью. Сара Бернар». На другой стене висело много фотографий Чехова.

Пока была жива София Ивановна, я приходил в тот дом. Однажды застал там настоящий переполох. Оказалось, из Германии пришло письмо от Ольги Чеховой, племянницы Книппер-Чеховой. Та практически всю жизнь прожила в Берлине и во времена Гитлера была любимой актрисой Третьего рейха.

И вот, это был 1964 год, Ольга Чехова собиралась приехать в Москву, чтобы проведать Бакланову, Аллу Тарасову и Павла Маркова. Она просила снять для себя и своей массажистки номер

в гостинице «Националь». Стали думать, как поступить. Позвонили Алле Константиновне Тарасовой, но та категорически заявила, что ни с какой Ольгой Чеховой встречаться не намерена. В итоге все тоже решили, что приезд Чеховой преждевременен. Я отправился на Центральный телеграф и послал в Мюнхен письмо.

В 1967 году я открыл газету «Вечерняя Москва» и узнал, что существует такое заведение — Институт международного рабочего движения, который набирает научных сотрудников — кандидатов наук. Я, что называется, с улицы пришел в этот институт, и меня взяли младшим научным сотрудником с окладом 170 рублей. Но это было настолько не по мне.

Я советское-то трудовое право плохо знал, а о западном вообще понятия не имел. А институт занимался на самом деле изучением общественного сознания западных стран.

И чувствовал я себя в этом секторе права ужасающе. Вдобавок по-прежнему негде было жить.

Помог Олег Ефремов. В это время строили кооперативный театральный дом в Волковом переулке. Попасть в этот кооператив у меня не было никакой возможности, я же никакого отношения к театру не имел. И тогда Олег ввел меня в состав художественного совета «Современника», чтобы можно было вступить в кооператив. И я получил однокомнатную квартиру на первом этаже. Первое, что я сделал после этого, — уехал в Баку, безумно бездарно распродал вещи и привез в Москву маму. Все вроде складывалось хорошо.

А через месяц меня вызвал к себе завотделом института и сказал, что мне необходимо написать заявление об уходе. Такой работник, как я, им не нужен. Вышел я от него, стою в коридоре, глаза полны слез. И идет Мераб Мамардашвили, сегодня он известен как знаменитый философ. А тогда он работал в нашем институте. Директором был член-корреспондент АН СССР Тимофеев. Хотя на самом деле никакой он был не Тимофеев. Настоящая его фамилия — Деннис, он был сыном генерального секретаря компартии США Юджина Денниса. Пока его родители занимались тем, что готовили мировую революцию, мальчика привезли в СССР. Он получил псевдоним Тимофеев, из Тима превратился в Тимура. По-английски говорил свободно, но с ужасным акцентом. И он создал этот институт.

Когда Мераб узнал, что меня хотят уволить, то удивился: «Ты что, с ума сошел? Зачем уходить? Ты чем хочешь заниматься? Театром? Так и занимайся. Просто, когда будешь писать тему работы, присобачь слово „социальный”. Скажем, „Театр и социальная реальность”. И работай себе спокойно».

Я так и сделал. Подал заявление и перешел в новый отдел,

где работали очень образованные люди — философы, писатели. Их уровень был для меня недосягаем, они обсуждали вещи, о которых я понятия не имел. Мы подружились, я стал их таскать по театрам. И вдруг нашего завотделом на два года посылают в Америку. Кто-то должен был возглавить отдел вместо него. Стали обсуждать: кто, что, как. Мераб предложил мою кандидатуру. Он, мол, дипломат, пусть и возглавит отдел. «Как, Вульф же беспартийный!» — возразили ему. «Ну и что, пусть будет завотделом с приставкой и. о. — исполняющий обязанности», — отвечал Мамардашвили. И я стал «и. о». Мне дали зарплату 300 рублей, очень большую по тем временам. Отдел я возглавлял 30 лет.

Хотя руководитель я был никакой, ничем, по сути дела, не руководил. Но ко мне хорошо относились Тимофеев, его жена. Я часто бывал у них дома. «Виталий, как вы работаете? У вас же нет планов», — журил меня директор. Я что-то отвечал, потом приходил в отдел и просил сотрудников, чтобы они меня не подводили и вовремя сдавали планы. Так на легком обаянии и работал.

В это же время я написал первую статью о движении хиппи. Помню, как один из недоброжелателей спросил меня, как я могу писать о хиппи, если я их ни разу не видел.

На что я ему ответил: «Простите, а как же пишут о революции? Вы ведь тоже ее не видели?» Принес статью в журнал «Театр». Там проходил практику молодой выпускник ГИТИСа. Звали его Миша Швыдкой. Статья имела большой резонанс.

На Запад меня не выпускали, хотя я делал много попыток выехать. Ездил только в социалистические страны — Болгарию, Румынию, Венгрию. Особенно часто ездил в Будапешт, где подружился с одной переводчицей, в доме которой и жил. Много читал у нее из того, что у нас не издавалось. Тогда же у меня родилась идея стать переводчиком пьес.

Я понимал, что это единственная возможность приблизиться к театру.

Вместе с Сашей Дорошевичем перевел «Сладкоголосую птицу юности», которая была поставлена во МХАТе. Началась какая-то новая полоса жизни. В это же время в институте я защитил докторскую диссертацию, стал доктором исторических наук.

В 92 году я отправился в Нью-Йорк преподавать в университете. Мог бы работать там по сегодняшний день, если бы не моя безумная тоска по России. У меня была прекрасная квартира на Манхэттене, куда ко мне приезжали друзья из России. Была работница, которая готовила еду.

Ира Колпакова, знаменитая балерина, работавшая в

американском театре балета, отговаривала меня от возвращения: «Ты что, сумасшедший, куда ты поедешь?»

А я не мог без дома. Хоть и общался только с американцами, мыслил все равно на русском языке. И к удивлению многих, под Новый, 94 год вернулся в Москву.

До отъезда в Штаты я записал несколько программ на ТВ. А когда вернулся, застал уже развал «Останкино». Но оказалось, что мои программы любит Влад Листьев. Он позвал меня к себе. «Приходите. Но при одном условии: вы скажете, где у вас лежит текст и как вам удается незаметно подглядывать в него». Только когда Влад пришел в студию на запись и увидел, что никаких бумажек на самом деле нет, поверил, что я каждый раз импровизирую.

Начав работать на ТВ, я пережил вторую волну недоброжелательности. Первая была, когда я стал переводить пьесы. Кто такой этот Вульф? — раздавались голоса. Почему его ставят? Появлялись статьи, зачем я нужен, как могу заниматься театром, не имея театрального образования.

Переживал я это довольно болезненно. Сейчас вспоминаю об этом с улыбкой. А тогда переживал. Были такие дамы.

Я вообще всех своих врагов помню. И сдачи даю. Но не сразу. А как против меня накручивали Ефремова. У нас с ним в результате испортились отношения. Все время нужно было бороться.

Да и сейчас есть недоброжелатели. Всем нравиться нельзя. Несколько лет назад одна газета написала, что я сделал программу о гастролях Большого театра и Юрия Григоровича в Австралии за то, что меня «на халяву» взяли в поездку, так и было написано. Не разобравшись при этом, что меня в Австралию послал Влад Листьев, бывший страстным поклонником Грига.

Поэтому я особо ценю отношение зрителей. Чувствую их любовь, когда выступаю. Недавно был в Питере, выступал в 1300-местном зале мюзик-холла. Не было ни одного свободного места.

Много чего было в моей жизни. Были периоды ужасного одиночества, которые я переламывал в себе. Особенно после смерти мамы. Я с ней сдружился в последние годы ее жизни. Когда был мальчиком, больше любил отца и теток, которые баловали меня. А мама заставляла заниматься.

Как перебарывал? Есть один способ — работа. Но только та, которая доставляет тебе радость. Тогда ты сможешь выйти из любого кризиса.

Прожита большая жизнь. Что я накопил? У меня хорошая квартира, которую оформила Альбина Листьева, вдова Влада. Придумала интерьер, сделала все. Есть машина, которую меняю

каждые четыре года. За руль, кстати, впервые сел в 50 лет. Видишь, получается, у меня был долгий старт.

Зачем обсуждать, что бы я делал, если бы. У моего друга есть внучка, и я неожиданно почувствовал нежность, когда возился с ней. Жалею, пожалуй, только об одном — что у меня нет детей. Я был бы, наверное, сумасшедший отец. Но жалеть о чем-то. Сейчас это нелепо.

Я очень люблю Марину Цветаеву. В мои годы по-особому понимаешь и ценишь ее стихи.

Я знаю правду! Все прежние правды — прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться.
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем — поэты, любовники, полководцы?
Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе, застынет вьюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

О том, что у Вульфа проблемы со здоровьем, я знал. Сам Виталий Яковлевич рассказывал об этом совершенно спокойно, даже пытался шутить. «Врач, когда увидел, что я приезжаю на процедуры за рулем, едва с ума не сошел, — говорил он. — И чуть ли не приказал, чтобы меня привозил водитель».

Он боролся с недугом много лет. И несмотря на то, что прекрасно осознавал всю опасность своего диагноза, об уходе не думал.

Последний раз мы виделись с ним в декабре 2011 года. Меня долго не было в Москве, и в тот приезд мне хотелось непременно увидеть Вульфа. Когда до назначенной встречи оставалось чуть больше часа, Виталий Яковлевич позвонил: «Знаешь, у меня тут дело важное появилось, давай часа через три ты придешь ко мне на канал „Культура”?» Но через три часа он позвонил снова: «Нет, я плохо себя чувствую. Давай не сегодня».

В ответ я задал глупый вопрос: «Вы тоже простудились, да? Вся Москва сейчас гриппует». Вульф помолчал и ответил: «Нет, все гораздо серьезнее. Знаешь, набери меня вечером, и, может, я смогу тебя принять».

Мы действительно все-таки встретились в этот день. Часов в десять вечера Виталий Яковлевич предложил зайти к нему, в ту самую квартиру в районе Арбата. В доме чувствовалось, что хозяин очень серьезно болен. Он уже не вставал, и я, глядя на него, не мог поверить, что всего несколько дней назад Вульф записывал очередную программу и даже в этот день собирался идти на работу.

Но наш разговор ничем не отличался от предыдущих встреч.

Я подарил ему свою новую книгу, он показал мне очередное издание своих работ.

Мы говорили о жене Сергея Прокофьева Лине, о которой он собирался делать новую программу, о Святославе Рихтере, Елене Булгаковой. Обсудили даже вопрос воспитания детей. Виталий Яковлевич снова признался, что единственное, о чем сожалеет, — что не стал отцом. И почти строго сказал мне: «Не бойся баловать сына. Излишняя строгость не нужна никому. Меня отец баловал нещадно, исполнял любой каприз. И ничего, кажется, не самый плохой у него сын вырос».

Лишь когда я поднялся уходить, Виталий Яковлевич спросил: «А я сильно сдал, да?» Разумеется, я принялся убеждать его, что все совсем не так, он в прекрасной форме, надо просто как следует отдохнуть. Но он лишь махнул рукой: «Ладно, это все неважно».

На другой день я улетал из Москвы. Зимой 2012-го несколько раз звонил Виталию Яковлевичу из-за границы, поздравлял с праздниками, выслушивал от него приятные слова о своих книгах, которые он успел прочесть.

А потом Вульф попал в реанимацию, и 13 марта 2012 года его не стало.

Уход Виталия Вульфа был ожидаем, он был серьезно болен. Но все равно стал полной неожиданностью. Я был за много тысяч километров от Москвы и не мог прийти проститься с Виталием Яковлевичем. По телевидению в этот день показывали его программы, а я решил прослушать запись нашего последнего разговора.

Виталий Вульф был юристом по образованию и телеведущим по профессии. Но в душе он был артистом.

Как артиста его и проводили в последний путь — аплодисментами.

# Свидетель. Актер Федор Чеханков

Он был ведущим актером Театра Российской армии.

В кино снимался не так много. А его все равно узнавали на улицах и улыбались при встрече. Было в Федоре Чеханкове какое-то обаяние, которое не давало ему затеряться среди, говоря языком сегодняшним, более «:медийных» лиц.

Что сделаешь, если пребывание каждого из нас в этом мире ограничено строгими рамками. У кого-то они широки, у кого-то не очень.

Многих из моих собеседников уже нет в живых. И мне очень дорого, что я успел записать их рассказы, щедрые на детали, о которых могли знать только они. Чеханков имел звание народного артиста России, довольно часто появлялся на телевидении. И все равно, как мне казалось, испытывал чувство обиды от недостаточной востребованности. Ну артист, как иначе.

За несколько лет до его ухода я оказался у Чеханкова в гостях. Все стены квартиры были завешаны картинами на балетную тему: портрет Мариса Лиепы в гримерной, набросок Майи Плисецкой в роли Кармен, работы Владимира Васильева. Возникало впечатление, что попадаешь не в жилище ведущего актера Театра Российской армии, а в дом танцовщика Большого театра. С этого, собственно, и начался наш разговор.

— Федор Яковлевич, может, вам надо было в хореографическое училище идти? Вы только что не живете в Большом театре — бываете на всех премьерах, дружите со многими балеринами, даив балете вряд ли кто разбирается лучше вас.

— А я недавно предложил одному из танцовщиков Большого выйти со мной в программе «К барьеру» — я бы его через пять минут уделал в пух и прах. Но это все шутки. А в хореографическое поступить я не мог, так как приехал в Москву из Орла. Там никакого училища не было. А поскольку в столицу я приехал в 17 лет, то поступать здесь было поздно. Хотя всегда мечтал именно об этом.

— А я думал, вы драматическим артистом хотели быть. Как мама.

— Мама была ведущей актрисой Орловского театра, и ее слава не раз выручала меня в детстве. А в школу ее из-за меня вызывали часто. Помню, во время одного из уроков черчения преподаватель начал меня стыдить: «Чеханков! Что ты о себе думаешь? Ты же двух прямых провести не можешь! Что из тебя выйдет в будущем? Пожалей мать!» А я ему (теперь и не

представляю, как мне это могло прийти в голову) ответил:

«А вы за меня не волнуйтесь! Я поеду в Москву и женюсь на Александре Александровне Яблочкиной. И жизнь моя будет обеспечена!»

Яблочкиной, к слову сказать, тогда было 90 лет. В школе, разумеется, все слышали, что она — великая «старуха» Малого театра. Маму вызывают в школу: «Ваш сын растет альфонсом. Он хочет жить за счет старых женщин». Из-за этого даже педсовет собирали, как же — учащийся Чеханков намерен себя продавать! Только благодаря маминой популярности меня удалось отстоять. А я, видимо, уже тогда интуитивно метил в училище Малого театра. Куда, к слову сказать, впоследствии и поступил.

— А при чем здесь в таком случае балет?

— Ну как же, балет стал самым ярким потрясением моего детства. Когда совсем мальчишкой увидел в орловском кинотеатре фильм «Мастера русского балета» и открыл для себя, что существует такое искусство, то уговорил маму написать письмо Галине Улановой. Тогда ведь именно с ее именем олицетворялось само слово «балет». Мне было лет 14. Мама написала, но Галина Сергеевна, разумеется, не ответила — мало ли таких писем она получала.

— А о чем ваша мама писала Улановой?

— О том, чтобы Галина Сергеевна рассказала, что нужно для того, чтобы стать артистом балета. Помню, как сидел в полупустом зале кинотеатра и смотрел, как она танцевала на киноэкране. «Кто эти люди, что у них за жесты», — думал я. Перед зеркалом дома, конечно, кривлялся, ставил, когда мама уходила, на патефон пластинку Шульженко и танцевал. Удивительное дело, но я даже не ходил в танцевальный кружок. Я вообще никакие кружки не посещал. Хотя маленьким уже выходил на драматическую сцену, играл Сережу Каренина, например.

Уланова мне не ответила. А Ольга Васильевна Лепешинская — другая знаменитейшая балерина той эпохи — ответила. Дело в том, что каждый год на зимние каникулы я ездил в Москву. Мама волновалась, но отпускала. Никогда не забуду, как по двенадцать часов ехал на автобусе из Орла, в районе Тулы мне всегда становилось плохо, укачивало. За 11 дней каникул успевал посетить 13 спектаклей. А потом возвращался домой и с трепетом перебирал собранные театральные программки.

Году в 56-м я во время очередных зимних каникул увидел в филиале Большого театра спектакль с участием Лепешинской.

Я вел торжественный вечер, посвященный ее 90-летнему юбилею. И сказал, что ровно 50 лет назад посмотрел ее

спектакль. Ничего тогда не понимал — что такое подъем, верчение, фуэте (это сейчас я могу диссертацию написать), но был потрясен. Естественно, отправился после спектакля к служебному входу. И вместе с двумя сотнями человек дождался ее выхода. Тогда народные артисты СССР ездили на больших черных лимузинах «ЗиС». До сих пор перед глазами стоит картина, как Ольга Васильевна вышла из подъезда и села в такую машину.

Я вернулся в Орел и написал ей письмо. И она ответила. В конверте лежало ее фото и надпись: «Благодарю за теплые слова. Желаю счастья. Ольга Лепешинская». Эта фотография была со мной всю жизнь.

— Вы дружите с Владимиром Васильевым, великим исполнителем партии Спартака. Когда я писал очерк о Владимире Викторовиче, именно ваши воспоминания о нем стали одним из самых ярких штрихов к его портрету. За что я вам, конечно, очень благодарен.

— Мы знаем друг друга уже полвека. У Щепкинского театрального, в котором учился я, и у хореографического, где занимался Володя, был общий двор. Тогда ведь хореографическое находилось на Пушечной улице. Когда я поступил на первый курс, то Володя и Катя Максимова, ставшая в будущем его женой и партнершей, учиться уже заканчивали. «Щепкинцев» пускали в их столовую. Обед, как сейчас помню, стоил 1 рубль 20 копеек. А когда меня выгоняли с занятий по марксизму-ленинизму (не потому, что был диссидент, просто не мог усидеть на месте — скучно было), я шел к приоткрытым дверям балетного училища и слушал: «Закрыли ножки, открыли. Батман, плие».

Летом 58 года состоялся смотр хореографических училищ. Тогда все впервые увидели Рудика Нуриева, Володю Васильева, Катю Максимову. Я тоже был в зале Чайковского, и все это видел и помню. О том, что Володя станет ведущим солистом мира, никто не думал. А вот о Кате все было понятно уже тогда. Помню, как в столовой ее, маленькую и в бантах, подводили без очереди к кассе. И когда мы начинали возмущаться, нам говорили: «Она — лауреат фестиваля молодежи и студентов». Хотя Катя сейчас говорит, что этого не было. Но я-то помню.

Кстати, удивительное дело — когда я приехал в Москву, то мама сняла мне угол в коммунальной квартире на улице Москвина. А потом я узнал, что Володя и Катя, поженившись, тоже жили на этой улице. Там у них была их первая коммуналка. А еще неподалеку располагалась школа, в которой учился Андрюша Миронов. Каждый день, опаздывая на занятия в Щепкинское, я встречал мальчишку в форменной курточке, тоже

бежавшего на урок. Когда на экраны вышла картина «А если это любовь?», в одном из героев я узнал полноватого мальчика, с которым часто сталкивался на улице.

— Вы дружили с Мироновым?

— Дружил я с его женой Ларисой Голубкиной, с которой служил в одном театре. Не могу сказать, что мы каждый день перезванивались. Но общались с Андреем довольно часто.

Я бывал у них дома, и мы порою допоздна засиживались на кухне, рассказывая друг другу о своих проблемах или просто болтая о музыке. Тогда сонная Лариса являлась нас «разнимать» и разгонять. Андрей ввел меня в дом своих родителей — Марии Владимировны и Александра Семеновича.

Между репетицией и спектаклем Андрей часто приезжал отдыхать именно к маме, на Арбат. Тогда не было таких, как сегодня, автомобильных пробок на Садовом кольце и дорога от Театра сатиры до Арбата занимала минут десять. Обычно он дремал, свернувшись калачиком, на своем любимом диванчике красного дерева, что-то перекусывал и снова мчался в театр.

В жизни Андрей не всегда был таким, каким казался публике, — легким и лучезарным. В компании, в застолье был действительно потрясающим. Кто имел неосторожность хоть раз встретить с ним Новый год, уже ни с кем другим встречать этот праздник потом не мог. А вот с утра он бывал довольно сумрачным. Я бы даже сказал, неприветливым. Все-таки нагрузки испытывал огромные. Правда, как человек воспитанный, свое раздражение скрывал.

Андрея не стало 16 августа. А через день на Рижском вокзале я встречал поезд, на котором из Латвии возвращалась Мария Владимировна. Мы с ужасом шли навстречу приближающемуся вагону — что сказать матери, потерявшей единственного сына? Мария Владимировна стояла у окна: спокойная, как скала, аккуратно причесанная. Вещи были давно уложены и стояли в тамбуре. Мы молча вошли в поезд, взяли ее чемоданы, она молча села на заднее сиденье моей машины. Не зная, что сказать друг другу, мы поехали. Наконец Мария Владимировна произнесла: «Конечно, я полное дерьмо. Я после этого жить не должна. Но у меня не хватит сил сделать это самой. Я буду жить. Жить во имя его».

Она не плакала никогда. Даже на похоронах. Иногда позволяла себе расслабиться, заходя в комнату Александра Семеновича, где на кровати были разложены фотографии Андрея, статьи о нем, его интервью. Она называла ее «мой мавзолей». В углу стоял гримировальный столик Андрея, который ей отдали из Театра сатиры. Рядом висел костюм Фигаро, тот самый, в котором

Андрей играл своей последний спектакль. На столе лежала его коробка грима, ему предназначавшиеся засохшие цветы и его сверток с теннисными вещами, которые он оставил ей в последний день постирать. Однажды, выходя из этой комнаты, она мне сказала: «Федь, как страшно — я же никогда больше не услышу их голосов!» В этой сдержанной фразе и выразилось все ее одиночество.

— Ваша карьера в Театре армии начала складываться с первого дня?

— Можно сказать и так. Например, в труппу я был зачислен с зарплатой в 69 рублей. А уже через год мне прибавили десять рублей, так как за это время я сыграл три главные роли. Правда, когда мне в месткоме утверждали повышение жалованья, то предупредили, что у меня есть задатки звездной болезни. «В чем она выражается?» — спросил я. Оказалось, все дело было в моих поклонницах. Когда я играл спектакль на малой сцене, они приходили, садились в первом ряду и смотрели на меня в бинокль. Когда я потом спросил, на что же они смотрят, девчонки ответили: «На выражение глаз». Стоило мне, отыграв свою сцену, уйти за кулисы, они демонстративно начинали читать книгу. Меня за это чуть ли не вызывали к начальству: «Скажите вашим!» А я-то был ни при чем. И никогда поклонниц не шугал. А вот Лариса Голубкина (после «Гусарской баллады» у нее была совершенно дикая популярность) своих поклонниц не любила, и они платили ей взаимностью.

Мы играли с ней в спектакле «Солдат и Ева» (она — Еву, я — Солдата). Выходили после спектакля, а на улице стояла огромная толпа, в основном из-за нее, конечно. Программы «Артлото», которая сделала меня популярным, тогда еще не было. Стриглись под Голубкину, следили, как и куда она идет, — выставляли одного человека у метро, другого у ее квартиры.

— А вы на метро ездили?

— Ну а как? Иногда, если рубль был лишний, на такси. Лариса жила на Мичуринском проспекте в квартире, которую купила на гонорар за «Гусарскую балладу». Так ей однажды в дверной замок спичек напихали. В бинокль смотрели, кто к ней приходит в гости.

У меня под окнами тоже сутками стояли, звонили через каждую минуту и дышали в трубку. Соседи по коммуналке с ума сходили. Одна пожилая армянка, в очередной раз подняв «молчащую» трубку, не выдержала и закричала: «Перестаньте звонить, здесь живут пенсионеры союзного значения!»

— Жизнь удалась, Федор Яковлевич?

— Знаешь, мне кто-то очень хорошо объяснил — все зависит

от того, от чего отсчитывать. Если я буду думать, что не сделал карьеру Чарли Чаплина, то останется пойти в туалет и повеситься. Самое главное — быть благодарным жизни.

Я категорически против фразы «непризнанный талант». Не бывает этого! Фаина Георгиевна Раневская говорила: «Талант — как прыщ, у любого вскочить может». И так и происходит — если не в восемнадцать, то в пятьдесят лет. Мария Владимировна Миронова говорила, что редко бывает актер, у которого одинаково благополучно складываются две половины жизни — успех бывает либо в молодости, либо в зрелости.

По отношению к себе должен быть юмор. Думаю, мне удается относиться к себе не очень серьезно. Иногда вспоминаю свое прошлое. Детство в Орле, учеба в Москве, атмосфера первой коммуналки, закулисье Малого театра, служба в Театре армии. Дерево я посадил. Дом, увы, не построил. И, уж точно, теперь не построю. Детей не родил, это не в нашей власти. Бог или дает их, или нет. Признаюсь, я очень хотел иметь семью. У меня могли быть дети, они должны были появиться на свет в 1961 году, сразу двойня, — так сказал врач. Им сейчас было бы по 46 лет, почти столько же, сколько я служу в театре. Не случилось. Почему? Так было, очевидно, угодно Богу.

# Счастливый классик. Писатель Чингиз Айтматов

Не каждому литератору выпадает счастье при жизни услышать в свой адрес — классик. Чингизу Айтматову повезло.

Он был одним из самых известных советских писателей, чьи произведения изучались в школе. Не знаю, как сегодня, а я по романам Айтматова писал сочинения.

Первое, что вспоминается, когда заходит речь о Чингизе Айтматове, это леденящуая душу история о манкуртах.

В своем первом романе «И дольше века длится день» (в качестве названия была взята строка из стихотворения Бориса Пастернака, а когда от цитирования опального поэта заставили избавиться, Айтматов озаглавил произведение «Буранный полустанок») он описал старинную тюркскую легенду о том, как людей лишали памяти. Взятому в плен обривали голову и водружали на нее шкуру недавно умерщвленного верблюда. Затем надевали на шею колоду, чтобы связанный пленник не мог никоим образом коснуться своей головы. Оставляли на несколько дней в пустыне, где изнывающий от зуда и жажды человек, волосы которого теперь врастали внутрь, либо погибал от боли, либо терял память и таким образом превращался в идеального раба.

Герой романа Айтматова по имени Жодаман был превращен в такого манкурта, который по приказу новых хозяев убил даже свою мать, в которой не узнал женщину, давшую ему жизнь.

Недаром говорят, что все мы родом из детства. В свое время с легендой о манкуртах маленького Чингиза познакомила бабушка.

Кто мог подумать, что старший сын врага народа Торекула Айтматова, живший в далеком киргизском ауле, станет знаменитым писателем? Но так случилось. Судьба? Наверное. Везение? Безусловно.

Произведения Айтматова были переведены на 176 (!!!) языков в 128 странах мира. И все это произошло при жизни самого автора. Чем не счастливчик?

Айтматов, кстати сказать, так к этому и относился. И называл себя счастливым человеком.

Даже в житейском плане Айтматов был, что называется, везунчик. Когда с развалом Советского Союза многие общественные деятели, в основном из бывших республик, остались не у дел, посол СССР в Люксембурге Чингиз Айтматов получил назначение, сначала от России, а затем родного

Кыргызстана, в страны Бенилюкса. И остался жить и работать в благополучном Брюсселе.

Но и в Москву продолжал приезжать регулярно. Во время одного из визитов Айтматова в Россию мне и довелось с ним познакомиться.

Писатель и дипломат остановился в гостинице «Москва», еще той, неразрушенной, возведенной по проекту великого Щусева.

Отправляясь на интервью, я предвкушал встречу сразу с двумя легендами — и литературы, и архитектуры. Кто-то сказал мне, что даже в гостиничных коридорах висят полотна великих художников. Так оно, кстати, и оказалось.

А вот номер самого Айтматова был довольно скромен. На стене, правда, висела картина, кажется, Шишкина. Но самым привлекательным было большое окно, выходящее на Исторический музей и Кремлевскую стену.

Чингиз Торекулович был в хорошем расположении духа и первый вопрос задал сам:

— И кто купил вашу газету? Я слышал, что все газеты у вас куплены.

— У нас независимая газета, может, одна из последних. А что вы слышали про нашу современную литературу?

— С ней я знаком более или менее. Знаю только ту, которая появляется за рубежом. В Бельгии приходится читать множество деловых бумаг, информационных сводок. Для души перечитываю какие-то старые издания или те, которые привожу отсюда. В целом же у меня есть представление о том, что у вас происходит.

— Вы уехали из Союза в самый тяжелый период. Вы, по-моему, очень удачливый человек.

— Что ж, можно сказать и так.

— Представляю, сколько у вас завистников и недоброжелателей.

— Жить в мире со всеми, к сожалению, нельзя. Мирное сосуществование в наши дни возможно лишь на книжной полке. Мои недоброжелатели, скажем так, не раз пытались как-то очернить меня. Однажды, например, совсем неожиданно я получил предложение занять дачу Пастернака, которая после смерти поэта пустовала. Мы с супругой съездили в Переделкино, посмотрели дом и отказались в него въезжать. Жена почувствовала, что наше согласие занять дом нобелевского лауреата будет иметь нежелательные последствия.

— Слышал, вам тоже Нобелевскую премию хотели дать.

— Мое имя уже несколько лет находится в списке претендентов на эту высокую награду. С моей стороны никаких инициатив по этому поводу, как вы понимаете, не было и быть не

могло. Но, к моему огромному сожалению, этот факт порой вызывает нездоровые суждения. Возможно, когда-нибудь это случится. А возможно, и нет.

— Вы близко к сердцу принимаете критику в свой адрес?

— Такова человеческая натура, что у каждого из нас есть свои друзья и недруги. На критику я стараюсь не обращать внимания, быть выше этого. Но мне неприятно наблюдать, как мои неудачи кому-то доставляют удовольствие.

Отец Айтматова Торекул был одним из первых коммунистов Киргизии. Но недаром говорят, что революция, как Сатурн, пожирает своих детей. В 1935 году Айтматова-старшего направили на учебу в Москву, а уже через два года все было кончено. В главной газете страны «Правде» была опубликована статья, в которой имя Торекула Айтматова фигурировало среди тех руководителей Советской Киргизии, кто обвинялся в буржуазном национализме.

Счет до неминуемого ареста пошел на дни. У главы семьи хватило мудрости отправить жену с четырьмя детьми обратно в Киргизию, в родовой аул Шекер. Где, кстати, маленький Чингиз оказался единственным, кто владел русским. Благодаря этому даже заработал первый гонорар. За перевод слов русского ветеринара получил кусок вареной говядины.

Отец мальчика на тот момент уже был расстрелян. Его могилу сын найдет только спустя полвека.

Айтматов-младший, снискавший мировую славу на ниве литературы, тоже не оказался в стороне от политики. Несколько лет являлся депутатом Верховного Совета СССР, затем — народным депутатом. Четыре года был советником Генерального секретаря ЦК КПСС и год — советником Президента СССР. Титулов и должностей у моего собеседника было более чем предостаточно.

— Вам не жалко тратить время на занятие политикой?

— Жалко не жалко, а деваться некуда. Кто из сегодняшних писателей может сказать, что он ничем не связан и занимается только тем, что сидит в башне из слоновой кости и пишет? Я таких не знаю.

— Но вы-то литературой сегодня занимаетесь? Помнится, обещали закончить роман «Богоматерь в снегах».

— Этот роман стал для меня почти несбыточной мечтой. Тяжелый случай, как говорится. Знаете, когда я сажусь за работу, меня ничто не должно отвлекать. Если же я начинаю параллельно заниматься еще чем-то, то потом вынужден переписывать начатый роман заново. А это очень непросто. Короче говоря, все сводится к дефициту времени.

— Может быть, вы просто устали? Ведь быть все время «живым классиком» и постоянно выдавать шедевры тяжело.

— Конечно, нелегко. Надо думать об уровне, на котором должны быть твои работы. Писать как попало и о чем попало я уже не имею права.

— В вашу бытность секретарем Союза кинематографистов Киргизии были экранизированы все ваши произведения. Складывалось впечатление, что республиканские кинематографисты ставят только произведения своего секретаря.

— Экранизировали не только меня. Но действительно по всем моим романам были поставлены фильмы. В этом тогда была большая заинтересованность, духовная необходимость, что ли. Сейчас по-другому. Я к этому отношусь спокойно. Ведь все меняется. И кино, и театр уже не те. В них интересуются совсем другими проблемами.

Над всем властвует, выражаясь по-русски, деньга. Привлекает только то, что дает прибыль и приносит выгоду. И такая ситуация везде. Все равно чем торговать. Ради денег готовы черта с рогами предложить.

— По-вашему, ситуация когда-нибудь изменится к лучшему?

— Мы слишком отклонились от нормальной жизни. Особенно современная молодежь.

Они стали равнодушными. Иногда их расчетливость переходит в цинизм, жестокость. Может, для бизнеса это и хорошо, но для души губительно.

— Ваши дети такие же?

— Они пока студенты: дочь учится в Америке, сын — в Бельгии. Назвать их самостоятельными я не могу. Какими они станут — тоже неизвестно. Я пытаюсь как-то влиять на них. Но удается, естественно, не все.

Дети у Чингиза Торекуловича выросли достойными людьми. Дочь, Ширин Айтматова, является депутатом парламента Кыргызстана, сын Аскар несколько лет возглавлял МИД страны.

Относительно недавно Ширин Айтматова сообщила сенсационную новость — в кабинете отца была обнаружена рукопись неопубликованного романа под названием «Земля и флейта».

Его герой — участник строительства Большого Чуйского канала, возведенного в Киргизии в 40-х годах прошлого века. Согласно замыслу автора, мужчина обнаруживает большую статую Чуйского Будды. Айтматов описывает жизнь своего уже постаревшего героя, которому остается только вспоминать — о молодости и девушке, которую встретил на той стройке.

По словам Ширин, роман не был опубликован, так как это

была «слишком раскрепощенная проза» для тех лет. Хочется верить, что придет время и мы сможем познакомиться с этой работой советского классика.

Не могу сказать, что Айтматов является моим любимым писателем. Мне, скорее, ближе сценарные работы писателя — многие его произведения были экранизированы. С «Первого учителя», например, началась кинокарьера режиссера Андрея Михалкова-Кончаловского.

Конечно же, направляясь на беседу со знаменитым писателем, я взял с собой книгу его повестей. Попросил подписать. И задал еще несколько вопросов.

— Чингиз Торекулович, можете назвать своих любимых писателей?

— Пожалуй, Эрнест Хемингуэй. Люблю Маркеса и Пруста. А из советской литературы мне очень дорог Фаз иль Искандер.

— На каком языке вы пишете? На русском?

— И на русском, и на киргизском.

— У вас никогда не появлялось желания как-то изменить свою жизнь?

— Трудно сказать. Мне уже немало лет, пора подводить итоги. Я доволен своей жизнью. Чего бы мне хотелось? Иметь хотя бы шесть месяцев в году для сосредоточенной работы над текстами.

— А вы как пишете, от руки?

— К сожалению. Сам себе обещаю, что настанет время, когда я наконец освою компьютер. Пока жеяс ним не то чтобы на «вы». Я кланяюсь ему как чему-то неизведанному.

— Вы человек верующий?

— В какой-то степени. У меня свое понимание религии, и слепого поклонения Богу я не разделяю. Все должно иметь разумную основу, объяснение. Знаете, меня за границей очень удивило отношение к церквям. Когда в них не проводится служба, храм может быть использован как зрительный или концертный зал. Однажды в Германии встречи с читателями происходили именно в церкви. Очень непривычно. Под конец одной из бесед ко мне подошел молодой человек и передал книгу: «Это ваши романы на сорбском языке». Я поблагодарил за подарок и сказал, что мне приятно иметь читателей в Сербии. «В Сорбии», — поправил меня юноша. Оказывается, есть такой народ — сорбы, немногочисленный, но со своим языком, культурой. Если мои книги доходят туда и обретают своих читателей, значит, жизнь прожита не зря. Думаю, судьба своей благосклонностью меня не обделила.

Мы проговорили не так долго. Чингиз Торекулович был

большим писателем, но отличался крайним немногословием.

На другой день Айтматов уезжал из Москвы. Опять к себе в Бельгию.

Прошли годы, приближался восьмидесятый день рождения классика. Об Айтматове снимали документальный фильм. Он принимал в съемках участие. И вдруг ушел.

Но его пребывание в этом мире не прошло бесследно.

Я помню не только его романы и повести. Но и пронзительное высказывание: «Среди всевозможных встреч и разлук хоть раз в жизни случается то, что не назовешь иначе, как встречей, ниспосланной Богом. Но как велик риск. Ведь исход встречи зависит уже не от Бога, а от самих людей».

# Часть пятая. Эпоха непонятых

# Изгнанник в муфте. Композитор Сергей Рахманинов

В августе 1932 года в Московском горкоме (МГК) партии состоялось необычное совещание. Пожалуй, впервые сюда вызвали всех мало-мальски значимых руководителей музыкальных организаций столицы.

В повестке дня значилось два вопроса:

1. Подготовка к новому учебному году

2. Разное.

Первый пункт обсудили сравнительно быстро.

Второй — еще быстрее.

— Есть мнение, — стоящий на трибуне один из секретарей МГК многозначительно поднял палец кверху, — пересмотреть программу обучения наших школьников и студентов, а также внести изменения в репертуар театров и филармоний. А именно — навсегда вычеркнуть из славного списка выдающихся социалистических, — тут докладчик запнулся, — ну и русских, то есть недостойных называться советскими, композиторов позорное имя Сергея Рахманинова, чье так называемое творчество есть отражение загнивающего мелкобуржуазного духа, особенно вредного в условиях острой борьбы на музыкальном фронте. На этом, товарищи, все. У кого вопросы? У вас?

— Да. Чайковского играть можно? Рахманинов же дружил с ним, называл своим учителем. Не пришло еще время и с ним разобраться? А то прямо засилье какое-то.

— По поводу товарища Чайковского никаких распоряжений не поступало. Его фамилии в «Нью-Йорк тайме» под призывом к Госдепартаменту США воздержаться от закупки советских товаров в знак протеста против якобы незаконных арестов, происходящих в СССР, кажется, не было. Но я прикажу еще раз перечитать письмо 110 эмигрантов.

Может, пропустили.

А в это время на веранде роскошной виллы «Сенар», названной по первым буквам имен хозяев (СЕргей и НАталья Рахманиновы), неподалеку от Люцерна, сидели двое.

— Сережа, ты знаешь, что тебя запретили исполнять в России? — спросила женщина.

Но собеседник — худой, коротко стриженный господин лет шестидесяти — кажется, не слушал ее. Сосредоточенно глядя на газетный лист, он отпивал маленькими глоточками свой любимый кофе со сливками и молчал. Наконец газета была

отложена в сторону.

— России больше нет, Наташа. Я, кажется, повторяю это тебе по тысяче раз на дню. Есть страна, которой правит кучка красных бандитов. И их мнение меня абсолютно не интересует. К тому же денег за исполнение моих произведений в России все равно не отчисляют.

— Ага, вот и проговорился. Ты сам назвал Советский Союз Россией. А мне выговариваешь.

— Прекрати ловить меня на слове. Я всегда делал, делаю и буду делать только то, что считаю нужным.

Женщина чуть заметно улыбнулась. Спорить с мужем она не собиралась. Тем более когда он вновь коснулся своей больной темы — денег.

— Понимаешь, Наташа, — говорил когда-то юной девушке ее симпатичный кузен. — У всех людей существует только три сорта дел: сердечные, денежные и служебные. Когда я с тобой, за первый сорт мне покойно. А вот за второй.

Со времени того разговора мало что изменилось. Вопрос денег всегда занимал Рахманинова чрезвычайно.

— Я только и думаю о том, как бы получить и где бы достать. И реже — как бы отдать, — признался однажды композитор своему другу Шаляпину.

С казначейскими билетами Рахманинов обращался чрезвычайно трепетно, единственный раз позволив себе сыграть в рулетку в Монте-Карло, когда семья оказалась в полном безденежье. Он взял тогда последние сто франков и поставил на цифры, соответствующие числам написания его Второго концерта. И выиграл несколько тысяч.

Другим болезненным для Сергея Васильевича был вопрос самостоятельности принимаемых им решений. Рахманинов свято верил, что делает все исключительно по собственной воле.

Но тут он, увы, заблуждался. За всю свою семидесятилетнюю жизнь композитор поступал по своему желанию всего несколько раз.

Ну, во-первых, бросил учиться. И хотя тот факт, что знаменитый композитор до двадцати лет писал с ошибками, не помешал его карьере, к достоинствам Рахманинова явно не относился. Как ни пыталась матушка Любовь Петровна убедить чадо в необходимости исправно посещать гимназию и училище, слова ее не имели ровным счетом никакого воздействия. Да и вечные споры с отцом Сергея — отставным офицером Василием Аркадьевичем, проводившим все дни то за карточным, то за обеденным столом, не способствовали созданию нормальной обстановки в семье.

— Завтра я обязательно выиграю двести тысяч, и мы все порешаем. — Вечная отговорка мужа-фантазера порядком раздражала медлительную, расчетливую и несколько холодноватую в общении Любовь Петровну.

Представить себе двух более неподходящих друг другу людей, чем родители Рахманинова, было сложно. И тем не менее даже мать иногда попадала в сети отцовского обаяния и, как и все, поверив в скорый выигрыш непременных двухсот тысяч («Никак не меньше!»), просила для мужа в долг у многочисленных знакомых.

Вторым серьезным поступком молодого Рахманинова стала женитьба на двоюродной сестре Наталье. Расплата за этот брак окажется страшной: больные дети, страдания которых были так ужасны, что, по воспоминаниям современников, «уж лучше бы они вообще не рождались».

И многочисленные романы Сергея Васильевича на стороне. Впрочем, его супруга нашла довольно оригинальное решение этой проблемы: всех приглянувшихся мужу женщин она немедленно делала своими подругами и вводила в семью. После пары-тройки совместных обедов пыл Рахманинова к ним заметно охладевал.

А вот на самый главный поступок его жизни — отъезд из России — Рахманинова побудили скорее обстоятельства, нежели собственная воля. Первый звонок — в буквальном смысле слова — прозвучал в марте 1917 года, когда в дверь квартиры Рахманиновых в доме Первой женской гимназии на Страстном бульваре позвонил вновь назначенный домоуправ и сообщил, что отныне в квартире музыканта появится новый жилец.

Им, а вернее, ею оказалась дородная украинка из Харькова Христина Пафнутьевна, которая с первых минут пребывания в доме почувствовала себя так вольготно, что хозяева для того, чтобы воспользоваться ванной, утюгом или пригласить гостей, стали интересоваться, не имеет ли она ничего против.

— Шо грыте? — переспрашивала каждый раз Христина Пафнутьевна, однако против гостей не возражала.

— Да гоните вы ее в шею! — как-то в сердцах посоветовал Рахманинову Федор Шаляпин.

— Не могу, Феденька, — ответил Сергей Васильевич. — Ее ведь временно подселили. Да и неудобно это — человека ни с того ни с сего за дверь выставлять.

Но вскоре соседство с гостьей из Харькова стало действовать композитору на нервы. Взаимоотношения обострились после того, как домоуправ предупредил жильцов, что туалеты в доме больше не работают и единственным близлежащим местом для

справления нужды отныне будет уборная на Ярославском вокзале. И если у Рахманиновых хватало сил ходить на вокзал, то Христина Пафнутьевна все свои дела предпочитала решать дома, прямо на паркетном полу коридора.

25 марта 1917 года Рахманинову предстоял очередной концерт в Москве. Как всегда в день выступления, он встал в восемь утра, выпил кофе со сливками, прошелся до Чистых прудов. В четыре часа семья вновь собралась за столом. Подали чай. Неожиданно глава семейства громко ударил чашечкой о фарфоровое блюдце.

— Я должен задать вам один вопрос. — Рахманинов поднялся из-за стола, вследствие чего и без того высокий и широкий в плечах показался домочадцам почти великаном, чей длинный нос с горбинкой в полумраке весеннего дня напоминал ветку дуба, не к месту проросшую на стройном стволе. — Как мы с вами живем? Живем мы так себе. Скорее скверно, чем хорошо. Да хорошо сейчас кто живет? Утешением служит тот факт, что и вся Москва сейчас почему-то находится в таком же положении. А посему я принял решение уехать на юг. Возражений нет? Тогда завтра начинаем сборы — и прочь из этого дома.

Известие о большевистском перевороте настигло Рахманиновых в дороге.

— Жить в стране, пока ею правит красная банда, я не собираюсь. Тем более что мы полностью готовы к путешествию. Вы ведь не забыли мою муфту? — На красиво очерченных губах музыканта появилась улыбка. — Недавно я придумал великолепный способ греть перед концертом руки: кладешь в муфту грелку, и — готово. Как думаешь, Наташа, может, патент на изобретение взять? — И Рахманинов заразительно рассмеялся.

Из России семейство, как ему казалось, уезжало на время.

P. S

Не стало великого композитора, зарабатывавшего последние годы на жизнь пианистом, в 1943 году. О возвращении на Родину он, скучавший по России безмерно, не хотел и слышать. А незадолго до смерти даже принял американское гражданство.

Похоронили Рахманинова на кладбище близ Нью-Йорка в цинковом гробу. Чтобы когда-нибудь перевезти прах в Россию.

# Игра с судьбой. Певец Марк Бернес

Поздней августовской ночью 1958 года в московскую квартиру на Малой Сухаревской улице, в которой вместе с пятилетней дочерью Наташей жил овдовевший Марк Бернес, позвонили. На пороге стоял невысокого роста мужчина.

— Вы ко мне? — удивился Бернес.

— К вам, товарищ артист. Вас… это. В карты вас проиграли.

Оказалось, что после выхода на экраны детективного фильма «Ночной патруль», в котором Бернес сыграл роль завязавшего с криминальным прошлым воровского авторитета Огонька, жизнь артиста действительно была поставлена на кон. Реальные воры приняли происходящее на экране за правду и решили наказать «предателя Огонька». К счастью, среди игравших оказался большой поклонник Бернеса, который и решил предупредить своего кумира. При этом он, правда, не выдал имени бандита, который должен был «разобраться» с артистом.

Рано утром следующего дня Бернес отправился к начальнику Московского уголовного розыска. На время, пока муровцы выслеживали бандита, к Бернесу была приставлена охрана. Сняли ее только после того, как преступник был нейтрализован.

Марк Бернес не раз становился героем моих публикаций. Писал я, основываясь на рассказах его друзей, коллег и знакомых. Ну и, конечно, статьях киноэнциклопедий и книгах. И однажды допустил ошибку.

На нее мне указала читательница, позвонившая в редакцию, где я тогда работал, и попросившая секретаря соединить с автором очерка о Бернесе. Я взял трубку и через несколько мгновений невольно встал со стула: на другом конце провода была Лилия Бодрова-Бернес, вдова моего героя.

— Почему вы не связались со мной, когда писали о Марке? — услышал я немного хрипловатый голос. — Думали, что меня уже нет? Зря. Если хотите узнать правду, то записывайте адрес и приходите. Кто же вам еще может рассказать о Бернесе?

В дом на Сухаревской улице, фасад которого украшает мемориальная доска в честь певца, я отправлялся с повинной. Но был принят по-дружески. И уходил, зная о Бернесе, кажется, все. Ну или почти все.

Он родился в небольшом украинском городке Нежине.

С детства носил фамилию Нейман. Театр стал местом его работы сразу после окончания школы — Марк Нейман продавал билеты.

Хотя родители хотели, чтобы сын стал бухгалтером, сам

юноша мечтал конечно же совсем о другой жизни. А потому, став Бернесом, поехал покорять Москву. Когда впоследствии его просили объяснить, почему он выбрал себе именно этот псевдоним, Марк Наумович только отшучивался.

Еще в поезде он узнал, что главные театры страны находятся на Театральной площади. Туда он и отправился, едва ступив на московскую землю. Самое удивительное, что молодого человека приняли сразу в два театра — Большой и Малый. Потом сам Бернес в шутку говорил, что таким образом судьба подсказала ему, что он будет и петь, и играть.

Хотя, если честно, петь в Большом театре Марку Бернесу не довелось. На прославленной сцене он изображал стражника в массовке. А вот в Малом ему действительно пару раз доверили произнести какие-то реплики.

Он не был большим певцом и великим актером. Но обладал особым талантом — быть искренним. И этого хватило, чтобы покорить многомиллионный зрительный зал Советского Союза.

Одна из самых известных ролей Бернеса — одессит Аркаша в фильме «Два бойца». Эта картина, снятая во время Великой Отечественной, была так же важна для победы, как добрый десяток новых танков. Потому, наверное, за работу в этом фильме Бернес был награжден боевым орденом Красной Звезды.

Песня «Темная ночь», которую с экрана пел герой Бернеса, жива и по сей день. Рассказывали, что во время производства пластинки с этой песней случилось непредвиденное. Сам Бернес быстро записал фонограмму. Но когда дошло непосредственно до изготовления пластинки, то дело неожиданно застопорилось.

Причина была в. слезах женщин, которые следили за выпуском. Они слушали Бернеса, плакали, а в итоге матрицу, на которой был записан голос, пришлось из-за попавших на нее слез отправлять в брак.

Но едва ли не более удивительно то, что никаких репрессий в адрес чувствительных слушательниц не последовало. Когда руководству завода грамзаписи и самому Бернесу стало известно о причинах брака, они отнеслись к этому совершенно спокойно. Марк Бернес сделал новую запись, и пластинка увидела свет. Песня «Темная ночь» зазвучала по всей стране.

Бернес умел так проговорить свои песни — а часто он именно таким образом исполнял музыкальное произведение, — что они почти мгновенно становились, говоря современным языком, настоящими шлягерами. «Шаланды полные кефали», «Я люблю тебя, жизнь», «С чего начинается Родина». Продолжать можно долго. Но достаточно назвать всего одну песню, чтобы понять, каким певцом был Марк Бернес.

Речь идет о «Журавлях» на стихи Расула Гамзатова. Кстати, самого Бернеса тоже можно считать автором слов. Изначально в стихотворении Гамзатова речь шла о джигитах, которые после смерти превращаются в гордых птиц. Марк Наумович предложил чуть изменить текст, и в итоге песня о солдатах, не пришедших с кровавых полей, стала таким же гимном памяти, как и знаменитая «День Победы», — без них уже невозможно представить себе 9 Мая.

Но для самого Бернеса «Журавли» стали не только данью ушедшим навсегда воинам. Но и песней-прощанием. Он сделал запись всего за несколько дней до своей смерти и попросил, чтобы именно «Журавли» звучали на его похоронах. Вдова актера Лилия Бодрова-Бернес не могла не выполнить посмертную волю мужа. На гражданской панихиде звучал голос Бернеса. Он сам отпевал конец своей земной жизни.

Супруги прожили вместе девять лет. Несмотря на солидную разницу в возрасте — их разделяло 18 лет, — это был очень счастливый брак. До женитьбы на Лилии Бодровой Бернес уже был один раз женат. Его первой избранницей стала московская красавица Паола Линецкая.

Актер обожал свою жену, но легенды о его новых победах на любовном фронте все равно то и дело будоражили Москву. Когда друзья спрашивали у Марка, что он говорит супруге, когда возвращается под утро домой, он отвечал, что произносит только одно слово «здравствуй», а дальше уже говорит сама жена.

При этом, как это часто бывает, слухи о романах Бернеса не всегда соответствовали действительности. Людмила Гурченко рассказывала мне, как страдала из-за разговоров о ее связи с женатым Бернесом. Одно время они жили в одном доме на Садово-Сухаревской улице, что давало лишний повод для сплетен.

В один из вечеров Гурченко зашла в лифт и вдруг услышала за своей спиной знакомый всей стране голос:

— Так вот, оказывается, какая у меня любовница.

Это стало первой встречей актрисы с ее якобы сожителем, который тоже спокойно возвращался домой.

Тогда же, в лифте, Бернес преподал молодой Гурченко важный урок: быть актером — значит постоянно находиться на виду и, чтобы выстоять, надо иметь толстую кожу и чаще закрывать уши.

Первая жена певца, Паола, скончалась от рака. Несколько лет Бернес жил один. Пока 1 сентября 1960 года, отведя в первый класс дочь, не познакомился с Лилией Бодровой. Та тоже пришла на торжественную линейку: в первый класс шел ее сын Жан. Имя

мальчику дал отец-француз, корреспондент журнала «Пари матч» в Москве.

Как вспоминала сама Бодрова-Бернес, поначалу она приняла Марка Наумовича за его коллегу, актера Николая Крючкова. Ее поправил первый супруг: «Ты что, это же Бернес».

Жана и Наташу посадили за одну парту. А вскоре на родительском собрании рядом оказались и Бернес с Бодровой. Спустя время Лилия Бодрова переехала в дом одноклассницы своего сына и стала Бодровой-Бернес.

Незадолго до смерти Лилия Михайловна вспоминала, что их совместная жизнь наладилась не сразу, все-таки оба родителя вошли в нее с собственными маленькими детьми.

— Но скандалов никогда не было, — рассказывала Лилия Бодрова-Бернес. — Марк всегда говорил: «Лилька научила меня красиво жить». Марк любил, чтобы все было чисто и красиво. Правда, по дому сам никогда ничего не делал: просто его голова была занята другими мыслями — работой, творчеством. Гвоздя в жизни не вбил. Хотя, если где-то что-то покосилось, обязательно увидит и скажет: «Лиль, поправь».

Марк Бернес прожил всего 57 лет. Почти три месяца он боролся с раком, но болезнь все-таки победила. Его вдова вспоминала, что о смерти мужа узнала, увидев в окне его палаты подушку, которую врачи выставили сушиться на солнце.

Лилия Михайловна поняла, что Марк ушел навсегда.

P. S.

Похоронили певца на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу — идиотская придумка властей, существующая и поныне, — ему полагалось только Ваганьковское.

Когда кто-то заметил, что у покойного нет обязательного для «чести» быть похороненным на главном погосте страны звания народного артиста СССР, один из чиновников заметил: «Значит, будет». И точно: через три дня вышел указ о присвоении Марку Бернесу высшего актерского звания. Который так и не вступил в силу.

# Герой не своего времени. Актер Олег Даль

В марте 1981 года по Москве поползли слухи: в Киеве покончил жизнь самоубийством Олег Даль. Смерть популярнейшего молодого — всего-то тридцать девять лет — актера стала потрясением для всех.

Через пару дней выяснили, что никакого суицида не было, у Даля отказало сердце. Сотрудники киевской гостиницы, в номере которой было обнаружено тело артиста, потом рассказывали, что на лице Даля застыло выражение какого-то блаженства. Словно он наконец достиг того, о чем мечтал.

Даль и в самом деле много говорил о смерти. Когда в 1980 году не стало Владимира Высоцкого, с которым его связывали не то чтобы дружба, а скорее взаимное поклонение таланту друг друга, Даль обронил на похоронах:

— Следующим буду я.

Эту же страшную фразу он произнес, когда в Малом театре ему выделили гримерную, принадлежавшую недавно скончавшемуся актеру Алексею Эйбоженко.

Даже в последний день своей земной жизни он сказал артисту Леониду Маркову, с которым снимался в одной картине:

— Ну, я пошел к себе. Умирать.

Он словно звал смерть. И она откликнулась на его зов.

Вообще у Олега Даля была завидная актерская судьба несмотря на то, что его мало снимали в кино, да ив театре он сыграл лишь полпроцента из того, что мог и был должен. Зато все работы Даля были, что называется, «отборными». И ни за одну из них, как говорила его жена Лиза, ему никогда не было стыдно.

Он снялся едва ли в пяти десятках картин. Но при этом имя Даля знакомо даже тем, кто родился годы спустя после его ухода.

Для кого-то он навсегда остался щеголем из комедии «Не может быть», для кого-то - солдатом из «Старой, старой сказки», для кого-то — Принцем из «Приключений принца Флоризеля». Его помнят. А не это ли мечта для каждого, кто посвятил жизнь лицедейству?

В детстве Олег Даль и не думал, что пойдет в театральный. Его мечтой было стать летчиком. Но проблемы с сердцем не позволили осуществить заветное.

Победить собственное сердце он не смог. Зато сумел преодолеть другой, казалось бы, смертельный для сцены дефект — он картавил. Даль сам занимался речью и в итоге начал говорить так, что никто и подумать не мог, что этот парень когда-то картавил.

Родители поначалу были категорически против того, чтобы сын становился артистом и «кривлялся». Когда же Олег все-таки поступил в театральное, отец с матерью мечтали, что сын станет играть директоров заводов и получит звание народного артиста. Но Далю был интересен Шекспир и сказки.

По крови он был прямым потомком того самого Даля, автора знаменитого словаря. Рассказывали, что, когда Олег пришел сдавать экзамены в театральное, один из педагогов посоветовал ему:

— Пойдите в Третьяковку, посмотрите, каким вы будете в старости.

Имелся в виду портрет Владимира Даля кисти Перова, выставленный в галерее.

Популярность Олегу принес первый же фильм, в котором он снялся, — «Мой младший брат», по знаменитой повести Василия Аксенова «Звездный билет». Но судьбоносным для Даля фильмом стал «Первый троллейбус», на съемках которого он впервые по-настоящему влюбился. Избранницей актера стала Нина Дорошина, с которой Даль играл в одном театре «Современник».

Дорошина была старше Олега на семь лет и меньше всего могла себе представить, чем для нее закончатся эти съемки. Она любила руководителя «Современника» Олега Ефремова, и именно о нем были все ее мысли.

Ефремов обещал приехать в Одессу на съемки, и Дорошина ждала его. Но Олег Николаевич отчего-то не приезжал.

В один из дней Нина отправилась купаться и вдруг почувствовала, что тонет. В тот момент она и загадала, что тот, кто спасет ее, станет ее мужем. Этим человеком оказался отдыхавший тут же на берегу Олег Даль.

Когда они вернулись в Москву, то на единственные в их почти семейном бюджете 15 рублей купили одно обручальное кольцо, которое было решено дать Олегу. В их паре именно жених мечтал о свадьбе.

Невеста, наоборот, делала все, чтобы бракосочетание не состоялось. Дорошина придумывала всевозможные предлоги, чтобы отменить торжество. Говорила, что вступила в кооператив и сможет получить квартиру только в том случае, если будет не замужем. В те времена действительно существовали дикие для сегодняшнего человека правила, и отговорка актрисы звучала весьма убедительно.

Но Даль не поверил. Потому что знал, что было реальной причиной их расстраивавшейся свадьбы. У этой причины было имя — Олег Ефремов.

Потом вся театральная Москва будет обсуждать поведение

худрука «Современника», который во время свадебного застолья — бракосочетание все-таки состоялось — посадил невесту к себе на колени и произнес во всеуслышание:

— А любишь ты все-таки меня, да, лапуля?

Даль, как и все, ставший свидетелем этой сцены, тут же ушел из квартиры, а затем и из жизни Дорошиной.

Но предательства не забыл. И когда много лет спустя они окажутся на одной сцене в спектакле «На дне», где Даль сыграл Ваську Пепла, одну из своих самых пронзительных ролей, Олег с такой силой швырнул Дорошину-Василису, что она отлетела за кулисы. Но из ее уст не вырвалось ни слова упрека.

Даль был очень красив, о его внешности говорили с придыханием. А его знаменитые вельветовые пиджаки и вовсе были притчей во языцех. Неудивительно, что следствием всего этого были десятки поклонниц во всех городах необъятного Союза.

Но самому Далю все это было совершенно не нужно. Однажды его так утомили восторги обступивших девушек и их признания в любви, что он бросился с тротуара в море прямо в одежде и так и доплыл до гостиницы.

Главной женщиной его жизни было суждено стать Лизе Апраксиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Король Лир» режиссера Григория Козинцева. Так уж совпало, что два самых важных человека его судьбы появились практически одновременно.

Великий Козинцев был, пожалуй, единственным режиссером, который сумел по-настоящему понять масштаб одаренности Олега. И почувствовать, что плата за него окажется чрезвычайно высока. Козинцев терпеть не мог актерских опозданий и уж тем более увлечения спиртным, но Далю прощал все. Говорил: «Мне его жалко, он — не жилец».

Лиза прожила с Далем десять лет. За которые ей пришлось испытать немало. Первые годы Олег жестоко пил, а когда бросил, то принялся срывать свое недовольство именно на жене.

На несколько лет в череде сменяющих друг друга запоев наступил перерыв. Марина Влади привезла из Парижа «торпеду», которая на пару лет положила конец возлияниям Высоцкого и Олега Даля. Но потом кто-то из «друзей» проболтался, что срок действия «торпеды» всего полгода и потом можно начинать по новой. И Высоцкий с Далем снова сорвались.

Спустя годы после кончины Даля его вдова рассказывала о личной жизни актера до их встречи:

— Когда Олег появился в театре, то почти сразу же женился на Нине Дорошиной. Они вместе снимались в фильме «Первый

троллейбус». Дорошина долгое время была возлюбленной Олега Ефремова. Когда они с Ниной стали любовниками, Даль даже испугался: «Что я делаю?! Я увожу женщину у своего кумира!» В самый разгар их свадьбы Ефремов, уже хорошо принявший, сказал: «Ну, Нинок, посиди-ка у меня на коленях». Она села. Собственно, на этом свадьба и кончилась. И началось его прикладывание к бутылке. К тому же в театре в ту пору все поголовно очень сильно пили. Они с Ниной прожили какое-то время, она несколько раз пыталась покончить с собой, он ее таскал в Склифосовского, потом женился на Тане Лавровой, но тоже неудачно. Как-то мама спросила у него о причине развода, он ответил кратко: «Она была злая». И все, о Тане больше ни слова. Он не был бабником, хотя в него влюблялись безумно.

Материальная жизнь семьи складывалась весьма непросто. Денег почти не было. А если случалась работа в кино, то Олег мог с легкостью отдать весь гонорар в долг, тут же забыв имя человека, которому только что вручил огромную сумму. Даже хоронить Даля пришлось на собранные друзьями деньги, гроб и венки покупали в складчину.

Он, безусловно, знал себе цену как актеру. Об этом свидетельствуют его дневники, которые он вел последние десять лет жизни. Отгородившись от всего мира в четырех стенах маленького кабинета в квартире на Садовом кольце, Даль на страницах дневника раскрывал свою душу.

Его записи остры, порой ядовиты, факты бьют по нервам, а сама летопись в своей основе довольно трагична. Как и вся жизнь, которая выпала автору.

Во время одной из творческих встреч его представили, как народного артиста. Даль вышел на сцену и поправил конферансье:

— Я не народный, я — инородный.

У него почти не было работы. На «Мосфильме» на Даля был наложен негласный запрет. Киноначальство не могло простить строптивому артисту регулярные отказы от съемок.

Даль действительно часто отказывался отзаведомо выигрышных ролей. Так, в свое время он отклонил предложение Эльдара Рязанова сыграть Женю Лукашина в «Иронии судьбы», а Александру Митте ответил отказом исполнить главную роль в ставшем затем культовом фильме «Экипаж».

Даль мог в последний момент фактически сбежать из театра, где репетировал сразу две главные роли. Именно так произошло с готовящимися к постановкам пьесами Эдварда Радзинского в Театре на Малой Бронной. Дошло до того, что драматург вместе с директором театра бросился домой к исполнителю главной роли.

Он умолял, чтобы Даль вернулся в театр. Оба спектакля обещали стать настоящим событием, недаром во время репетиций даже осветители забывали менять свет, все внимание было приковано к Олегу. Но он не вернулся.

Коды спустя Радзинский поставит ему диагноз — мания совершенства. И расшифрует: выйди Даль на сцену, он просто не смог бы долго выдержать заданного им самим уровня.

Правда, у Лизы Даль была иная версия — Олег горел работой, а все вокруг только тлели. А этого он ни понять, ни простить не мог.

Даль сам вызывал огонь на себя. И первый страдал от ударов чиновников.

— Они добили меня, — скажет он незадолго до смерти.

Но самое главное, что он никогда ни о чем не жалел.

Даль очень хорошо пел. Как-то оказался в одном гостиничном номере с американским актером и певцом Дином Ридом. Михаил Казаков, присутствовавший на тех посиделках, рассказывал, как Рид исполнил несколько своих песен под гитару и заметил, что является обладателем нескольких золотых дисков. Затем гитару взял Олег Даль и запел: «Эх, дороги.» Американец был столь впечатлен, что смог задать только один вопрос: сколько золотых дисков на счету его российского коллеги. Но Даль лишь усмехнулся в ответ.

Его кумиром был Михаил Лермонтов, ранняя смерть которого не казалась ему странной.

— В те времена я бы даже до двадцати не дожил, — говорил Даль. — Стрелялся бы через день.

P. S.

Так получилось, что я жил по соседству с Далем. Помню его вдову, Лизу Апраксину-Даль, которая выходила из их с Олегом высотного дома, чтобы купить продукты в магазинчике, расположенном в подземном переходе под Садовым кольцом.

Лиза была знаменитой красавицей. До встречи с Олегом побывала замужем за режиссером Леонидом Квинихидзе, автором популярного фильма «Небесные ласточки». Был влюблен в нее и Иосиф Бродский.

Лиза рассказывала:

— Однажды мои соседи, писатели Бакинские, папа с сыном, пригласили меня в гости. У них сидел Иосиф Бродский. Иосиф был уже очень известен в Ленинграде, но еще не во всем мире. Он сразу покорил меня тем, что спел в своем переводе «Лили Марлен», а потом пригласил танцевать. В ту пору мне было около тридцати, да и ему тоже. Кружа меня в танце, он как бы между

прочим сказал: «Я хочу назначить тебе свидание». Я, как в гипнозе, киваю. «Давай встретимся завтра в четыре на середине Кировского моста». На следующий день я удрала с работы, иду по мосту и думаю: «А где же середина?» И тут натыкаюсь на Осю — мы интуитивно шли по одной стороне моста. Он повел меня в Петропавловскую крепость, по дороге читал стихи, пел, все время что-то рассказывал.

Был такой смешной: рыжий, конопатый, но в джинсах, что в 60-х считалось очень престижным. Когда мы прощались, он витиевато заметил: «Я считаю, что самый лучший способ ухаживать за девушкой — это пригласить ее ночью покататься на велосипеде».

Ровно в полночь он стоял под моим окном с велосипедом. Я спустилась вниз и с большим трудом уговорила его подняться и выпить кофе, а не рисковать моей жизнью.

Мы затащили велосипед на четвертый этаж и расположились на балконе. Чудная белая ночь, крепкий кофе, тополь под окном. Бродский тут же стал громко читать свои стихи. Я замерла в ужасе: писательский дом, своих поэтов туча, сейчас непременно будет скандал. Но, слышу, окна открылись, и все молча слушают, внизу собралась небольшая кучка людей. Так мы просидели до утра: он все читал и читал, я сидела в благоговейном оцепенении и непрерывно варила кофе.

Потом у Лизы были недолгие отношения с Сергеем Довлатовым. Ну а затем в ее жизни появился Олег. И это была судьба.

Лиза вспоминала, как в день рождения Высоцкого, 25 января 1981 года, Даль вышел к завтраку со словами:

— Я видел во сне Володю, он ждет меня.

Жена попыталась отшутиться, что Высоцкий сможет и подождать. Но навстречу к нему торопился уже сам Даль. Меньше, чем через два месяца, его не стало.

Фильм «Отпуск в сентябре» по пьесе Вампилова «Утиная охота», в котором Даль сыграл главную роль, вышел на экраны лишь через несколько лет после смерти артиста.

И в этом был некий символ. Даля уже не было среди живых. Но он снова и снова приходил в дома своих зрителей. Как герой потерянного поколения, как столь любимый им Печорин XX века.

# Космонавт номер два. Танцовщик Рудольф Нуриев

Танцовщику Кировского театра оперы и балета Рудольфу Нуриеву было 23 года, и он до последнего дня не был уверен, что его возьмут на гастроли в Париж. И уж тем более не мог предположить, чем эта поездка для него закончится.

Но его взяли. И 17 июня 1961 года в парижском аэропорту Ле Бурже произошла поистине мировая сенсация: молодой советский артист обратился с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Планета еще не успела отойти от главного события тысячелетия — полета в космос первого человека, тоже обладавшего краснокожим паспортом с гербом СССР. И вот новое потрясение.

Нуриев мгновенно стал звездой номер один. Все газеты, за исключением конечно же советских, посвятили его поступку первые полосы. «Прыжок к свободе» — было написано на всех языках мира. Нуриева называли космонавтом номер два.

Да он и был вторым советским, после Гагарина, кто заставил мир быстро выучить свои сложные для восприятия имя и фамилию. Правда, имя ему быстро придумали новое — он стал просто Руди, и волна «рудимании» понеслась по континентам.

При этом большинство тех, кто восхищался смелостью новорожденной звезды, едва ли могли себе представить, что выбора у их героя просто не было. Для Нуриева вопрос звучал так: либо оставаться за границей, либо отправляться за решетку. Потому как проведенные в столице Франции дни и, главным образом, ночи навсегда возвели стену между Рудольфом и коллегами-приятелями. Даже когда за три года до смерти он сможет приехать в Советский Союз (но только в гости!), говорить они будут уже на разных языках.

Но все это произойдет потом. А пока всесильный, как было принято думать, председатель КГБ Александр Шелепин, которому поступали регулярные доносы о поведении советских артистов во время гастролей, докладывал в ЦК КПСС: «3 июня сего года из Парижа поступили данные о том, что Нуриев Рудольф Хамитович нарушает правила поведения советских граждан за границей, один уходит в город и возвращается в отель поздно ночью. Кроме того, он установил близкие отношения с французскими артистами, среди которых имелись гомосексуалисты. Несмотря на проведенные с ним беседы профилактического характера,

Нуриев не изменил своего поведения.»

Рудольф действительно вел себя вольно: гулял по городу, общался с французами, предпочитая их общество компании коллег. По нормам тех лет все это было не просто вызывающим, а тянуло на статью.

В итоге, кстати, Нуриев ее и получил. Уже после того, как он принял решение остаться в Париже, советский суд заочно приговорил его к семи годам исправительно-трудовых работ в лагере строгого режима. А как же, за измену родине.

Так что терять Нуриеву было нечего. Вернись он домой, его бы все равно осудили. По существующей в те годы статье за мужеложство его могли с легкостью отправить за решетку. Благо свидетель у властей был — молодой танцовщик Соловьев, который жил с Рудольфом в одном номере в Париже. Соловьев в СССР вернулся. И через несколько лет ушел из жизни. При так и не выясненных обстоятельствах.

В оказавшийся для него судьбоносным день от руководства театра Рудольф узнал о том, что ему необходимо вылететь в Москву на якобы правительственный концерт. Вся труппа летела в Лондон, где должны были продолжиться гастроли, уже был сдан багаж, и началась регистрация на рейс. Нуриеву пообещали, что он присоединиться к коллегам чуть позже.

Он все понял правильно. И, оттесняемый сотрудниками посольской спецслужбы в сторону границы, сумел совершить свой великий прыжок к свободе. Имея при этом в кармане всего 36 франков.

Когда спустя год миллионным тиражом была опубликована его «Автобиография», он так скажет на ее страницах о своем решении остаться за границей: «Я принял решение потому, что у меня не было другого выбора. И какие отрицательные последствия этого шага ни были бы, я не жалею об этом».

В специальной комнате аэропорта, где Нуриеву предстояло подписать бумагу о том, что он осознанно делает свой выбор и остается во Франции, к нему обратилась русская переводчица:

— Не делай глупости, уезжай! Ты умрешь здесь с голоду.

Но на Рудольфа ее предостережения не подействовали. Он ответил ей всего одним словом:

— Заткнись!

С Нуриевым тут же был заключен контракт труппой маркиза де Куэваса, и уже 23 июня он танцевал партию Голубой птицы в балете «Спящая красавица». Всего месяц назад он танцевал эту же партию вместе с родным Кировским театром на этой же сцене парижской Оперы.

Все вроде бы было по-прежнему. Ив тоже время все обстояло

совсем иначе. Да и «отрицательные последствия» не заставили себя ждать.

Не было привычных балетных классов, не было уверенности в том, что произойдет завтра, — контракт с ним заключили всего на три месяца.

Правда, Нуриева хотели взять в труппу на более долгий срок, но он сам определил — 90 дней! Он знал, чего хочет — отправиться в Данию, где танцевал великий Эрик Брюн.

Довольно самонадеянный поступок для молодого артиста, оказавшегося на Западе без денег и связей. Но на то он и был Нуриев, что верил в себя и свою звезду. И в Данию он в итоге поехал, и встреча с Брюном обернулась не только работой.

Это были, пожалуй, самые серьезные отношения в жизни «космонавта номер два».

Кстати, знакомство с Эриком могло состояться еще в Советском Союзе, куда датчанин приезжал со спектаклем. Но так получилось, что в тот момент сам Нуриев находился на своих первых зарубежных гастролях. Вернувшись с которых и услышав произносимое всюду с восхищением имя Брюна, он решил во что бы то ни стало с ним познакомиться. И сумел это сделать.

Знакомство Нуриева и Брюна состоялось в гостинице «Англетер» в Копенгагене благодаря балерине Марии Толчифф, с которой у Эрика были отношения.

Брюн оставил подробные воспоминания о дне своей встречи с Рудольфом, изменившем их жизни:

«День шел к концу, в номере было темно. Я поприветствовал Марию, рядом с которой находился этот молодой танцовщик, небрежно одетый в свитер и слаксы. Я сел, посмотрел на него внимательнее и увидел, что он весьма привлекателен. У него был определенный стиль, некий класс. Это нельзя назвать естественной элегантностью, но это производило впечатление. Он не слишком много говорил, может быть, потому, что еще не совсем хорошо владел английским. Ситуация была неловкой из-за моих отношений с Марией. Мы с ней пытались прикрыть это, слишком много и неестественно смеясь. Гораздо позже Рудик говорил, что ненавидит звук этого моего смеха».

Но все это случится через несколько недель. А пока, в первые дни «вольной парижской жизни», все было неясно.

К тому же Нуриева теперь всюду сопровождали двое детективов, которые должны были охранять его от возможных происков советских спецслужб.

Да и на душе наверняка было все более чем непросто.

От отца пришло письмо, в котором самыми мягкими словами были обвинения в предательстве. В свое время Хамит Нуриев

категорически возражал против того, чтобы сын становился танцовщиком.

Фронтовику-коммунисту подобная профессия казалось стыдной, он видел сына либо врачом, либо инженером. И неизвестно, как сложилась бы судьба мальчика, не повстречайся на его пути балерина Анна Удельцова, танцевавшая в свое время еще в труппе Сергея Дягилева. Именно она поддерживала Рудольфа в его стремлении овладеть искусством танца и поехать на учебу в Ленинград. Наверняка отец теперь сожалел о том, что не настоял на своем.

Телеграмма от матери и вовсе состояла всего из двух слов: «Возвращайся домой».

Однажды Фарида даже позвонила сыну и принялась уговаривать вернуться домой. Выслушав слова матери, Рудольф сказал ей:

— Мама, ты не задала мне главного вопроса: счастлив ли я. Так вот знай, я — счастлив!

Разговор был окончен. А спустя много лет в Советский Союз с визитом прибыла королева Иордании. К удивлению встречающих, Ее Величество попросила организовать ей поездку в Уфу. А там отправилась по записанному заранее адресу — к матери Нуриева.

Королева произнесла много добрых слов в адрес Рудольфа, с которым была дружна ее дочь и которым восхищалась сама. Собираясь покинуть дом Фариды Нуриевой, королева Иордании сказала, что женщина может гордиться своим сыном, как это делает весь мир. Но Фарида ответила, что ее гордость была бы настоящей только в том случае, если бы сын работал на благо их социалистической родины.

Карьера самого Нуриева на Западе развивалась не так стремительно, как ему хотелось. Но не для того он рисковал жизнью, чтобы сдаваться. И не прогадал. Он находился в Копенгагене у Брюна, когда услышал звонок из Лондона. Минуло всего пять месяцев новой жизни. И вот судьба уготовила ему встречу с легендарной Марго Фонтейн.

Самой, пожалуй, известной балерине мира было на тот момент 43 года, Рудольфу — 24.

Нуриев вспоминал о знакомстве с Марго: «С первой секунды я понял, что встретил друга. Это был самый светлый момент в моей жизни с того дня, как я оказался на Западе».

Потом он будет говорить, что они с Марго читали мысли друг друга. И даже признается, что именно Фонтейн была той единственной женщиной, на которой мог бы жениться.

А сама Марго в конце жизни вспоминала не только гениальный танец своего партнера, но и яркий ум Нуриева. Уже

во время первой пресс-конференции Рудольф, несмотря на свой скромный английский, сумел очаровать журналистов и с легкостью и юмором ответить на самые острые вопросы.

В Лондон Нуриев прилетел под именем Романа Джасмина. Но конечно же его быстро узнали. После выступления Руди и Марго в «Лебедином озере» их вызывали на сцену 89 раз!

Пришлось, правда, рабочим сцены платить двойной гонорар — они не успевали до утра разобрать декорации. Публика не хотела расходиться! Но о таких мелочах никто и не думал — на глазах рождался самый великий танцевальный дуэт XX века.

Невероятным успехом пользовалось их выступление в балете «Жизель». При том, что Марго первый раз танцевала этот спектакль за год до появления Рудольфа на свет.

Говорили, у Марго и Руди быстро завязался роман. Подобные разговоры подогревал балет «Маргарита и Арман» по роману «Дама с камелиями» Александра Дюма, который выдающийся хореограф Фредерик Аштон поставил специально для этой пары. Слишком уж чувственным было исполнение Марго и Рудольфа.

Они были правда великими артистами. На полном серьезе утверждали, что Фонтейн родила ему дочь. Но, скорее, это всего лишь один из мифов. Марго была уже не в том возрасте и не в том физическом состоянии, чтобы родить. Но матерью она благодаря Нуриеву все-таки стала — самому Рудольфу.

Между ними со временем действительно завязались самые трепетные отношения. Потом Рудольф не раз летал через океан проведать смертельно больную Марго.

А пока, после триумфального выступления с Марго Фонтейн, 24-летний Нуриев был тут же зачислен в труппу Королевского балета, его стали приглашать выступить перед членами королевской семьи.

Для него вообще больше не существовало границ — ни территориальных, ни человеческих. Его друзьями становились самые известные люди мира — от актеров до глав государств. Как-то Нуриев оказался в Овальном кабинете в Белом доме. Стоило Джону Кеннеди на минуту выйти из своего кабинета, как Рудольф уселся в президентское кресло и заявил своей подруге Джеки Кеннеди: «Я — властелин мира!»

И таким — знающим себе цену и не испытывающим страха перед самым неожиданным поступком — Нуриев был уже в балетном училище.

Его однокурсница, Чукуртма Гудиашвили, рассказывала мне:

— Никому и в голову не могло прийти, что Нуриев станет таким знаменитым танцовщиком. В училище Рудольф вообще не производил особого впечатления — обыкновенный прыщавый

подросток, который постоянно щипал нас, девчонок. Раскрываться он начал только на последнем курсе, когда в нем что-то словно прорвало.

Мужским классом он занимался у Александра Пушкина, но часто приходил и на женский класс и удивительно ловко проделывал все па, которые танцевали мы. Он был своевольным уже тогда.

Его после училища оставили в Ленинграде. Я через год опять приехала туда, мне хотелось встретиться с друзьями.

И на улице встретила Рудика. Он тогда танцевал в Кировском, ныне Мариинском театре. «Я сегодня танцую Принца в „Спящей красавице", - сказал он мне. — Приходи». Я не поверила, а Нуриев настаивал: «Приходи и поверишь». Я пришла и сразу увидела — он был первач в танце.

За границей Нуриев танцевал по 250 спектаклей в год, получая за каждый выход на сцену громадные гонорары. При этом в свое время великий Вацлав Нижинский, с которым сравнивали Рудольфа, за всю свою карьеру станцевал столько же спектаклей.

По сути, он стал первой суперзвездой от балета. Даже когда Нуриев уже болел СПИДом и не мог танцевать, как прежде, зал все равно ревел от восторга, зрители готовы были выкладывать какие угодно деньги за то, чтобы только взглянуть на живую легенду.

Легенда была рукотворная и создана самим Руди.

Откуда татарский юноша мог знать, как себя надо вести с прессой и телевидением? Но он знал и никогда не ошибался. Как-то умудрился, едва ли не единственный в истории, одновременно дать интервью двум конкурирующим журналам — Time и Newsweek. Издания, вместе с посвященными Рудольфу обложками, вышли одновременно тиражом в пять миллионов.

Нуриев вкладывал деньги в недвижимость, антиквариат и коллекцию картин. Прохожие по набережной Вольтера, что напротив Лувра, могли вечерами сквозь освещенные окна квартиры Нуриева видеть шедевры мировой живописи, которые по ценности иной раз давали фору своим собратьям из здания на другом берегу.

Нуриев покупал острова и скупал акции, каждый вечер созваниваясь со своими финансовыми директорами и требуя отчета.

Но вкусы при этом у него оставались прежними. Из еды он любил бифштекс и чай с лимоном. А любимым времяпрепровождением для него по-прежнему была работа.

Собственно, ради этой возможности реализовать себя он и

остался за границей. Свобода была нужна ему прежде всего для того, чтобы творить.

Уже в 26 лет он как хореограф поставил «Раймонду» и «Лебединое озеро». А затем уже премьеры следовали одна за другой — «Дон Кихот» и «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Буря».

Одной из его последних работ стала постановка балета «Ромео и Джульетта». Нуриев был уже серьезно болен, но то и дело говорил, что все его мысли только о новом балете.

И болезнь на время отступила.

Знаменитый хореограф Ролан Пети рассказывал мне, как однажды зашел в гримерную Нуриева. И увидел, что ноги танцовщика полностью заклеены пластырем. Когда Рудольф принялся снимать пластырь, то вены вываливались из-под него, словно налитые водой шланги.

Зрелище было ужасающим. Нуриев, поймав взгляд Пети, согласился, что работает на износ. Но при этом заметил, что смерти на сцене не боится. Наоборот, мечтает об этом.

В конце жизни он, окруженный сонмом поклонников, был одинок. Франсуаза Саган сочинила очерк о Рудольфе, в котором писала, что его дом — это сцена и самолет и этот грустный одинокий человек растерял друзей.

Эрик Брюн ушел первым. Их отношения были неровными. Гениальный танцовщик страдал серьезным недугом — он пил. Как-то, пребывая в не совсем адекватном состоянии, Эрик обвинил Рудольфа в том, что тот специально приехал из Советского Союза, чтобы убить его. Услышав эти слова, Нуриев заплакал.

Спустя пять лет не стало Марго Фонтейн. Ее последние дни были мучительны из-за рака. Именно Рудольф оплачивал больничные счета своей ближайшей подруги.

Его последним увлечением стал кутюрье Ив Сен Лоран, они всюду появлялись вместе. Но это уже все было не серьезно.

Но умер он в больничной палате. Успев перед смертью навестить в Уфе старую мать, которую советские власти так и не выпустили к сыну. Когда Нуриев переступил порог дома, где не был двадцать семь лет, слепая женщина прошептала: «Мой Рудольф вернулся!»

В Ленинграде Нуриев снова оказался только в 1989 году, спустя 28 лет после отъезда! Это уже был другой город. Да и самого Рудольфа снимали в основном зарубежные телекомпании. За окном свои последние годы доживала советская власть, и освещать приезд эмигранта, в свое время записанного в предатели родины, журналисты Ленинграда и Москвы опасались.

Само имя Рудольфа Нуриева в Советском Союзе тех лет было знакомо лишь профессионалам из мира балета. Черед восхищаться и зачитываться биографическими книгами о нем настанет только после его смерти.

У него уже не было физических возможностей танцевать самому. И тогда он стал дирижировать. А в 49 лет вдруг занялся уроками игры на фортепиано и овладел и этим мастерством.

Но все равно без балета он не мог. Всего за несколько недель до смерти его привозили в театр, и из ложи он смотрел спектакли, в которых танцевал.

Его последней постановкой стал балет «Баядерка», после премьерного показа которого на сцене Гранд-Опера Нуриеву вручили орден Почетного легиона. Кавалер уже не мог самостоятельно передвигаться, и на сцену, на которой он некогда блистал, его вывезли на кресле-каталке.

Когда стало возможно, в Париж к Рудольфу приехала сестра Роза. За окном были другие времена, и железного занавеса больше не существовало.

Гроб с телом Нуриева, облаченного во фрак и чалму, был установлен в парижской Опере, которой он руководил шесть лет.

Согласно воле самого Рудольфа, на пяти языках читали сочинения Пушкина, Байрона, Гете, Рембо и Микеланджело. Играла музыка Чайковского и Баха.

Собравшаяся на панихиду публика с удивлением смотрела на сидящую возле гроба женщину в черной одежде. Это была Роза Нуриева. Она так и не пустила в палату находящегося в беспамятстве брата никого из его ближайшего окружения.

P. S.

О том, что он болен СПИДом, Нуриев узнал в 1984 году. И девять лет пытался победить болезнь. При этом говорили, что смертельный вирус он получил не во время бесчисленных походов по злачным заведениям мира, а во время банального переливания крови.

Рудольфа Нуриева похоронили на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Его укрытая ковром из разноцветной мозаики могила находится рядом с памятником другому великому русскому танцовщику Сергею Лифарю.

Прыжок к свободе перерос в красивый полет и длился тридцать два года. Всего или целых, если подобные определения уместны к неуловимому очарованию легенды, которую оставил о себе 54-летний татарин с австрийским паспортом, покоривший весь мир.

# Часть шестая. Эпоха комет

# Бабочка и хулиган. Поэт Сергей Есенин

— Ну и кто был инициатором? Молчать будешь? Ну погоди. — Оперуполномоченный Хамовнического отделения милиции захлопнул железную дверь камеры предварительного заключения. — Ишь, как власть поносить — они первые. А как отвечать — так сразу: «В чем дело?» Да, измельчал нынче народ. Хотя. Что-то мне физиономия этого парня больно знакома. Слышь, Иван, — обратился милиционер к напарнику, — загляни в пятнадцатую. Кого-то мне этот задержанный напоминает. Контра, конечно. Но кто его знает. Что, уже сходил? Кто?! Есенин?! Этот парень — и есть тот самый крестьянский поэт Есенин?! Что же ты, дурья твоя башка, так спокойно об этом говоришь? Забыл, что ли, как его в «Правде» сам товарищ Троцкий хвалил? Иди извинись перед ним и немедленно отпусти.

Через тридцать минут после этого разговора около старинного особняка на Пречистенке остановилось авто. Вышедший из него молодой человек, в крылатке, с непокрытой, несмотря на декабрь, головой, изо всей силы захлопнул за собой дверцу машины и громко постучал в переднюю.

— Открывай, Ирма. Открывай живее.

— Сергей Александрович? Проходите. А мы вас обыскались — ушли на пару часов в издательство, а объявились только под утро. Мисс Дункан уже и в Кремль звонила, думала, с вами что случилось.

— Правильно думала. Всю ночь в камере просидел, как бандит какой. За что, за что. Рукопись мне в издательстве вернули. Требуют, чтобы я в стихах слово «Бог» заменил. Специальный декрет, оказывается, вышел, и теперь слово «Бог» употреблять запрещено. Как же, буду я подчиняться их идиотским декретам. Я этой рукописью управляющего по морде и отхлестал. Потом пообедал с друзьями и домой пошел. И надо же было, что перед самой Пречистенкой какие-то сволочи решили у меня документы проверить. Ну мы и сцепились.

Есенин дотронулся до затекшего глаза. Поморщившись, он встал и принялся возбужденно расхаживать по комнате.

— Ничего, Ирма, им все равно сильнее досталось. Не крикни я: «Бей коммунистов — спасай Россию!» — они бы так и остались ни с чем. А тут, как назло, какие-то дружинники проходили. Меня и арестовали. Ну да ладно, хватит об этом. Где Изадора? Она что, правда звонила в Кремль?

— Да, разговаривала с наркомом просвещения Луначарским. Он ее успокоил и настоятельно рекомендовал. выйти за вас

замуж. Тогда вы, может, перестанете впутываться в скандалы, да и защитить вас будет кому. Луначарский уже знает, что вы собираетесь в Америку, и беспокоится, что вас там обидят. Они же до сих пор не признали советскую власть. Да и райсовет, может, успокоится, если вы пропишетесь здесь. И перестанет требовать какие-то налоги с мисс Дункан за то, что она якобы сдает комнаты внаем.

— Вы так уговариваете меня жениться на вашей тетушке, что мне начинает казаться, что и вы не прочь стать моей супругой. Ладно-ладно, шучу. Вы уже завтракали? Хм, когда только успели. Хорошо, тогда давайте обедать. Я со вчерашнего дня ничего не ел.

— Как скажете, Сергей Александрович. Пойду только предупрежу Айседору — у нее занятия с ученицами.

Есенин прислушался — на втором этаже действительно играла музыка и слышался голос Дункан, пытавшейся по-английски объяснить девочкам, набранным из рабочих семей, которых она решила научить танцевать, как нужно двигаться, чтобы изобразить бабочку, перелетающую с цветка на цветок.

Из-за того, что по-русски Айседора знала лишь две фразы: «красный карандаш» и «зеленое яблоко», находить общий язык с ученицами было непросто.

Зачем ей все это нужно? Прославленная балерина, мировая знаменитость, наконец, просто богачка, бросив все, приехала в незнакомую страну, чтобы учить пролетарских детей танцам.

Все-таки правы, наверное, друзья, убеждающие его, что в Россию Дункан просто сбежала. Полные залы ничего не понимающей в танце публики помогают ей обманывать себя и верить, что ее время еще не ушло и искусство располневшей, приближающейся к пятидесяти годам балерины пока способно кого-то очаровывать.

Если это так, то ее расчет оправдался. На выступлениях — аншлаги, «браво» и неведомо откуда берущиеся в промозглой и нищей Москве цветы. Говорят, на ее концерте в Большом был даже Ленин, лично распорядившийся выделить Дункан особняк миллионщика Ушкова, знаменитый огромным зеркальным залом, который Ушков сделал для жены — балерины Большого театра Балашовой. Теперь в этом зале Дункан дает уроки своим ученицам.

Забавно, что Ушков, сбежавший после революции за границу, купил в Париже дом, ранее принадлежавший Айседоре. Когда во время очередного застолья Айседора узнала об этом от какого-то чекиста, долго смеялась: «Вот так кадриль!»

И потом с удовольствием рассказывала эту историю на бесконечных застольях (вино и еда бесплатно поставлялись на

Пречистенку из кремлевской столовой).

По Москве пошли гулять слухи, что заезжая знаменитость так широко живет на деньги, оставленные в тайнике бывшим хозяином дома. И в одну из ночей в особняк залезли воры. Через окно они проникли в комнату мирно спящих девочек, и, если бы не Есенин, услышавший непонятный шум и ворвавшийся в комнату с поленом в руках, неизвестно, какой бы у этой истории был конец.

Может, ему и правда жениться на Дункан? А что, звучит красиво: «Есенин — Дункан». Подумаешь, невеста на 18 лет старше жениха. Им же, в конце концов, не детей рожать.

К тому же они и так почти повенчаны. В первый же вечер их знакомства осенью 21 года Дункан пригласила Есенина к себе на Пречистенку. Наняли извозчика, и тот, заснув на козлах, несколько раз обвез их вокруг церкви св. Власия в Гагаринском переулке.

Есенин что-то рассказывал Айседоре, та внимательно слушала, и только переводчик заметил, что коляска кружит на одном месте.

«Ты что, венчаешь нас, что ли? — растолкал поэт извозчика. — Повенчал, повенчал. Слышишь, Изадора, нам теперь жениться надо», — засмеялся Есенин.

Наверное, это судьба. И завтра, в новогоднюю ночь, он ей об этом скажет.

P. S.

Совместная жизнь поэта и танцовщицы длилась с 1922 по 1924 год. Через год, 25 декабря 1925 года, тело Есенина было обнаружено в номере ленинградской гостиницы «Англетер».

Спустя еще два года для Айседоры тоже все будет кончено. 14 сентября 1927 года, находясь в Ницце, она отправится на прогулку в открытом автомобиле, и ее длинный шарф намотается на ось колеса.

По одной из легенд, последними словами Дункан была фраза: «Прощайте, я иду к своей любви».

# Одинокий влюбленный. Поэт Владимир Маяковский

За десять минут до смерти Маяковский смеялся. Тихо и нежно.

— Девочка, у тебя есть деньги на такси? — спросил он Веронику Полонскую, актрису МХАТа, с которой только-только закончил выяснять отношения. Поэт понял, что она никогда не будет ему принадлежать, хотя и клятвенно обещает в тот же день уйти от мужа, в будущем знаменитого актера Михаила Яншина, и навсегда перебраться к Маяковскому. — Нет? Ну так возьми двадцать рублей. А вечером я тебе позвоню.

Полонская положила деньги в сумочку и торопливо направилась к двери. Она и так опаздывала: в половине одиннадцатого у нее была назначена репетиция с Немировичем-Данченко, а на часах в коридоре было уже 10.15.

От Лубянки до Камергерского минут десять на машине. «Но если и опоздаю, Владимир Иванович поймет меня», — успокаивала себя актриса и вдруг вздрогнула: в комнате поэта раздался выстрел.

Через полчаса и квартира, и лестничные клетки, и весь двор дома в Лубянском проезде были заполнены чекистами.

В коридоре стояла заплаканная квартирная хозяйка, в который раз безуспешно пытаясь войти в комнату Маяковского.

— Обождите, гражданочка. Там сейчас занято. — Путь ей преграждал незнакомый мужчина в черном костюме.

— Как это занято? — непонимающе спрашивала она. — Там же покойник.

— Не покойник, а тело пролетарского поэта. И не до вас нам сейчас: подозреваемую в убийстве допрашивают. Подождите, придет и ваша очередь.

— Подозреваемую в убийстве. — повторила про себя женщина. — Уж не ту ли молодую красавицу, которую Маяковский этим утром привез к себе? Так, кроме нее, у него сегодня вроде никого и не было. Значит, эта змеюка и застрелила жильца. Хорошо еще, что сбежать не успела. Ну ничего, следователи ее выведут на чистую воду. От правосудия она не отвертится.

— От правосудия вы не отвертитесь, — грозно сказал сидящий напротив Полонской человек в форме. — В ваших же интересах рассказать нам всю правду.

— Правду о чем? — никак не могла сообразить, чего от нее

хотят, Полонская.

— О том, как вы. В общем, начните с самого начала. Как вы оказались в комнате Владимира Владимировича?

При этих словах следователь и Полонская одновременно посмотрели на кровать, на которой в огромных, подкованных железными пластинами ботинках лежал мертвый Маяковский. Голова с чуть растрепанными волосами повернута к стене, на кремовой рубашке с левой стороны небольшое кровавое пятнышко.

— Не отвлекайтесь, гражданка. Отвечайте на поставленный вопрос.

— Утром 14 апреля Владимир Владимирович в половине девятого заехал за мной на такси. Выглядел он очень плохо. Я пыталась как-то развеселить его: «Смотри, — говорю, — Володя, какое солнышко сегодня. Аты вчера о самоубийстве говорил. Давай забудем об этом?» А он отвечает: «Мне не до солнца сейчас. А глупости я бросил. Понял, что не смогу этого сделать из-за матери. А больше до меня никому дела нет».

— Гражданка Полонская, давайте без сантиментов! Так как вы оказались в этой комнате?

— Владимир Владимирович сам привез меня к себе. Он сказал, что нам надо серьезно поговорить. Когда я предупредила его, что у меня очень важная репетиция в театре, на которую я не могу опаздывать, Маяковский закричал: «Опять этот театр! Я ненавижу его, брось его к чертям! Я не могу так больше, я не пущу тебя на репетицию и вообще не выпущу из этой комнаты!» И действительно запер дверь, спрятал ключ в карман и принялся почти бегать по комнате. Требовал, чтобы я с этой же минуты, без всяких объяснений с Яншиным, осталась с ним здесь, в этой комнате. Ждать квартиры — нелепость, говорил он. Сегодня на репетицию мне идти не нужно. Он сам зайдет в театр и скажет, что я больше не приду. И с Яншиным он объяснится сам, а меня к нему больше не пустит. Маяковский убеждал, что своим отношением заставит меня забыть театр. Вся моя жизнь, начиная от самых серьезных сторон ее и кончая складкой на чулке, будет для него предметом неустанного внимания.

— А вы? — сбросив с себя казенную серьезность, с любопытством спросил следователь.

— Я ответила, что люблю его, буду с ним, но не могу остаться, ничего не сказав Яншину. Я по-человечески достаточно люблю и уважаю мужа и не могу поступить с ним так. И театра я не брошу и никогда не смогла бы бросить. Вот и на репетицию я должна и обязана пойти. «Значит, пойдешь на репетицию?» — спросил Володя. Я кивнула. «И с Яншиным увидишься?» —

«Да». — «Ах, так! Ну тогда уходи, уходи немедленно, сию же минуту!» На мою просьбу хотя бы проводить меня он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково: «Нет, девочка, иди одна. Будь за меня спокойна». Потом засмеялся чему-то, дал мне деньги на такси и закрыл за мной дверь. А через несколько мгновений раздался выстрел.

— Вы первая вошли в эту комнату? Сколько минут прошло между выстрелом и тем, как вы увидели тело?

— Когда я услышала выстрел, у меня подкосились ноги. Я кричала и металась по коридору, не могла заставить себя войти. Мне показалось, что прошло очень много времени, пока я решилась войти. Но, очевидно, я вошла через мгновение, так как в комнате еще стояло облачко дыма от выстрела. Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. Глаза у него были открыты, он смотрел прямо на меня и все силился приподнять голову. Лицо, шея были красные. Потом голова упала, и он стал постепенно бледнеть.

— Гражданка Полонская, что с вами? Гражд… Врача, скорее врача! — закричал следователь, испуганно глядя, как женщина, только что отвечающая на его вопросы, медленно сползает со стула на ковер, на котором меньше часа назад еще лежало тело поэта.

Когда Полонскую привели в чувство, на ее руке была кровь. Вначале подумали, что она порезалась. Но оказалось, что это была кровь Маяковского.

Маяковскому с женщинами и везло, и не везло одновременно. Он увлекался, влюблялся, однако полной взаимности чаще всего не встречал. Биографы поэта в один голос называют его самой большой любовью Лилю Брик.

Именно ей поэт писал: «Я люблю, люблю, несмотря ни на что, и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. Аминь». Именно ее он называл «Солнышко Самое Светлое».

А Лиля Юрьевна благополучно жила со своим мужем Осипом Бриком, называла Маяковского в письмах Щеником и просила «привезти ей из-за границы автомобильчик». Брик ценила гений своего обожателя, но любила всю жизнь только мужа Осипа.

После его смерти в 1945 году она скажет: «Когда застрелился Маяковский — умер великий поэт. А когда умер Осип — умерла я».

Примечательно и другое высказывание Лили Юрьевны. Узнав о самоубийстве Маяковского, Брик произнесла: «Хорошо, что он застрелился из большого пистолета. А то некрасиво бы получилось: такой поэт — и стреляется из маленького

браунинга».

Сам Маяковский о самоубийстве говорил: «Почему лошади не кончают с собой? Потому что не выясняют отношения».

Жил Маяковский в одной квартире с Бриками. Вся Москва с удовольствием обсуждала эту необычную «семью втроем». Однако «все сплетни о „любви втроем" совершенно непохожи на то, что было», — напишет Лиля Юрьевна. Незадолго до смерти, случившейся в 1978 году, она признается поэту Андрею Вознесенскому: «Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался к нам, царапался в дверь и плакал». Брик прекрасно сознавала, как мучается Маяковский. «Но ничего, — говорила она друзьям. — Страдать Володе полезно. Он помучается и напишет хорошие стихи».

Насколько правдивы были слова Лили или их цитирование Вознесенским — остается на совести Брик и Андрея Андреевича.

Но это были, конечно, уникальные отношения. Пасынок Брик Василий Катанян свидетельствовал: еще в 1925 году Брик написала Маяковскому, помня их уговор честно признаться, когда чувства охладеют: «Мне кажется, что и ты уже любишь меня много меньше и очень мучиться не будешь».

Но Маяковский страдал, мучился и. писал хорошие стихи. Одной из своих возлюбленных, Наталье Брюханенко, поэт признавался, что любит только Лилю: «Ко всем остальным я могу относиться только хорошо или очень хорошо, но любить я уж могу на втором месте».

Несмотря на «братско-сестринскую» любовь, Брик ревновала Маяковского (или славу его музы?) к другим женщинам. В Париже Владимир Владимирович познакомился с Татьяной Яковлевой, влюбился в нее и предложил стать его женой. Признанная красавица Яковлева работала манекенщицей в Доме моды Коко Шанель, ею был увлечен Федор Шаляпин.

Лиля Юрьевна сделала все, чтобы разрушить отношения поэта и Яковлевой. Однажды

она якобы случайно прочла в присутствии Маяковского письмо своей сестры Эльзы, жившей в Париже, о том, что Яковлева помолвлена с неким виконтом де Плесси. Поэт, услышав подобную «оговорку», в бешенстве выбежал из квартиры.

У него оставалась последняя возможность все поправить — съездить во Францию и лично увидеться с Яковлевой. Разрешения на поездку Маяковский не получил.

Сегодня раздаются мнения, что произошло это не без содействия Брик, у которой были влиятельные знакомые в ОГПУ. Мало того, теперь ни для кого не секрет, что Брики сотрудничали с ЧК. Не один раз Осип Эмильевич срывал с двери позорную

бумажку: «Здесь живет Брик — не исследователь стиха. Здесь живет Брик — следователь ЧК».

Татьяна Алексеевна хранила письма поэта до самой смерти. А вот ее письма к нему, увы, не сохранились. Став наследницей архива покойного поэта, Лиля Юрьевна уничтожила всю переписку Маяковского с другими женщинами. Да и имя Вероники Полонской, названной поэтом в посмертной записке членом своей семьи, тоже как-то затерялось в истории.

При этом — еще один парадокс — все возлюбленные Маяковского бывали в доме Брик. Конечно же после смерти поэта. Лиля Юрьевна принимала Полонскую, Брюханенко и даже Татьяну Яковлеву.

Думаю, не стоит делать из Лили Брик этакого злого гения. Именно благодаря ей Маяковский, стихи которого после смерти стали усиленно предаваться забвению, обрел второе рождение.

Брик через своего нового возлюбленного, заместителя командующего Ленинградским военным округом В. Примакова (с которым она сошлась через год после гибели поэта и стала жить, сохраняя при этом, правда, и тесные отношения с Осипом Бриком), передала письмо Сталину с просьбой защитить Маяковского от незаслуженной хулы и очернений.

В 1937 году Примакова вместе с Тухачевским и Якиром расстреляли, но письмо передать он успел. На нем вождь и начертал свое знаменитое: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

Можно много рассказывать о возлюбленных великого поэта, коих было немало. Время все равно расставит по своим местам.

В заключение стоит вспомнить еще одну женщину — дочь Маяковского. Профессор Нью-Йоркского университета Патриция Томпсон просит называть ее Еленой Владимировной.

Ее мать Элли Джонс влюбилась в Маяковского в Москве на одном из поэтических вечеров в 1923 году. Правда, тогда Элли звали Елизаветой Петровной Зиберт. Через год она вышла замуж за англичанина Джона Джонса, уехала с ним в Америку и там в 1925 году и встретилась с поэтом.

В результате той встречи родилась Патриция, видевшая отца всего раз в жизни — в 1928 году в Ницце. Русским языком Патриция не владеет, но стихи Маяковского очень любит, хотя и читает их в переводе.

Когда в 1991 году она приезжала в Москву, то отнесла на могилу отца горсть земли с захоронения матери. Вечером того же дня Елена Владимировна была приглашена на обед к Катанянам. Хозяева обратили внимание на руки гостьи — те были в земле.

Но дочь Маяковского отказалась от предложения пройти в

ванную. Она хотела как можно дольше, пусть даже так, чувствовать связь с отцом.

P. S.

В письменном столе покойного нашли посмертную записку, датированную 12 апреля 1930 г. Два дня Маяковский пытался побороть себя и найти силы жить дальше. В револьвере, из которого он застрелился, была всего одна пуля. Человека, который догадался бы вынуть эту пулю, рядом с поэтом не оказалось.

Во время похорон грузовик, везущий гроб на Новодевичье кладбище, из-за неопытности водителя ехал на слишком большой скорости и оторвался от толпы.

Маяковский снова остался один.

# Смерть на двоих. Актер Евгений Урбанский

Весна 1968 года выдалась холодной. Только под конец апреля окончательно сошел снег, появилось солнце, зазеленела трава. Москвичи с радостью подставляли лица первым почти по-летнему теплым солнечным лучам. Но был в Москве человек, которому до сюрпризов природы не было никакого дела.

Одинокая женщина с маленьким ребенком на руках стояла на перроне. Дзидра Ритенбергс, вдова знаменитого артиста Евгения Урбанского, навсегда уезжала из Москвы.

Знакомство двух кинознаменитостей — Дзидра к тому времени снялась в популярной ленте «Мальва» и даже стала лауреатом Венецианского фестиваля, а Евгения иначе как «коммунист», после успеха одноименного фильма, за глаза почти никто и не называл — состоялось летом 1960 года.

В Москве проходил Международный кинофестиваль, и Ритенбергс вместе с Впей Артмане представляли на нем Латвию.

«В один из дней, — вспоминала Дзидра, — в гостиничный номер вошел русый парень и направился ко мне. Никогда ни у одного человека я не видела такой потрясающей улыбки: доброй и ласковой.

— Евгений Урбанский, — представился он и сразу же сообщил, что наконец счастлив».

Буквально на следующий день Евгений сделал Дзидре предложение стать его женой. Но молодой актрисе предстояла серьезная операция на сердце, и она тактично попыталась объяснить Урбанскому, что в ее ситуации глупо строить планы на будущее.

— А мы подождем! — воскликнул кандидат в мужья. — Только уговор: из больницы — сразу же в ЗАГС.

За несколько дней до операции кто-то из знакомых сказал Урбанскому: стопроцентной гарантии, что все пройдет гладко, никто дать не может. Вот если бы Дзидру отправить в заграничную клинику. Евгений тут же бросился искать валюту, чтобы отправить любимую женщину за границу. Отговорить актера от подобной затеи удалось лишь главному врачу, заверившему, что все будет хорошо.

Операция действительно прошла удачно. И прямо из больницы Дзидра и Евгений отправились в ЗАГС и расписались.

Во время медового месяца молодые съездили в Ригу. «Староват, а так — ничего», — вынесли вердикт родственники Дзидры, познакомившись с молодым мужем. О том, что Евгений моложе жены на четыре года, знали лишь молодые. Тем более что

внешне разница в возрасте была незаметна.

Однако поклонницы Урбанского мириться с тем, что их кумир теперь человек семейный, не собирались. По словам Дзидры, дома то и дело раздавались телефонные звонки, в которых неизвестные дамы просили передать Жене, что они ждут его в условленном месте или что столик в ресторане уже зарезервирован.

А в один из вечеров зазвонил телефон. В трубке раздался голос известной актрисы:

— У меня, между прочим, растет внебрачный сын от Евгения Яковлевича.

— Ну что ж, привозите, — ответила Дзидра. — Будем воспитывать.

Ко всем этим звонкам она относилась спокойно. А сам Урбанский, если телефон звонил ночью, просил поклонниц:

— Девочки, ну дайте покоя! У меня утренняя репетиция!

Единственное, чего супруга не могла простить, — «посиделки» актера с друзьями.

Однажды она не выдержала: «Мы собирались на какой-то прием. Женя опаздывал, я нервничала. Наконец дверь открылась, и на пороге я увидела Женю. По его веселой улыбке мне сразу же стало понятно, что он уже с кем-то „посидел”. Ни слова не говоря, я сняла висевшую на стене красивую тарелку и разбила ее. В ответ Урбанский протянул мне вторую тарелку, которую постигла та же участь. Реакция Жени была довольно неожиданной: „Подумаешь, тарелки. Еще купим”».

В быту знаменитый артист был довольно неприхотлив. Что, впрочем, и неудивительно, так как все свое детство он провел в маленькой землянке в северном городе Инта, где отбывал ссылку его отец — репрессированный в 37 году второй секретарь ЦК Компартии Казахстана.

Женившись на Дзидре Ритенбергс, Урбанский привел молодую жену в свою шестиметровую комнату в общежитии. И только через два года семья перебралась в однокомнатную квартиру возле метро «Сокол».

Однако наслаждаться счастливой семейной жизнью актеру довелось чуть больше двух лет. В 1965 году Урбанского утвердили на главную роль в фильме «Директор».

Картина рассказывала о директоре крупного автомобильного завода. Натурные съемки проходили в Средней Азии, куда и была отправлена актерская экспедиция.

— Я была беременная нашей дочерью, — рассказывала Дзидра. — В тридцать семь лет это непросто. Поэтому мы и изменили нашей традиции — всегда быть вместе. Из-за тяжелого

климата я не поехала с Женей в Среднюю Азию. Самое удивительное, что и он совсем не рвался к работе в этом фильме. Может, поэтому и возникло какое-то недоброе предчувствие, ощущение надвигающейся беды. Помню, незадолго до отъезда я вернулась с репетиции домой. Женя лежал на диване с совершенно непривычным, испуганноозабоченным лицом. Он произнес фразу, от которой мне стало просто дурно: «Мне показалось сейчас, будто я умер. Такая пустота кругом!» Я начала его успокаивать: «Ну бог с ней, с этой ролью, с деньгами». Но, видимо, такова уж наша актерская натура — каждую роль воспринимаешь как последнюю. И Женя поехал.

А я отправилась в Ригу навестить родных. И однажды раздался телефонный звонок. Поднял трубку мой брат. Выслушал и с совершенно белым лицом сказал: «Сейчас к тебе придут друзья. Они все расскажут».

Из воспоминаний спортсмена Ю. Маркова, находившегося в одной машине с Урбанским: «На съемочную площадку, в сорока километрах от Бухары, мы выехали рано утром. Снимали проезд автоколонны по пескам. Согласно сценарию машина героя должна промчаться прямо через барханы, обогнать колонну и возглавить ее. Наиболее сложный кадр в этой сцене — прыжок машины с одного из барханов. Опасного в этом не было ничего, но мы все же предложили, чтобы снимался дублер. Женя подошел к кинокамере, посмотрел в глазок и сказал, что получится отличный крупный план и он его ни за что не уступит.

Первый дубль прошел нормально. Но второй режиссер, который вел в этот день съемку, предложил сделать еще один дубль. Машина легко рванула с места, промчалась по настилу, на миг повисла в воздухе и вдруг накренилась и стукнулась передними колесами о песок. В следующее мгновение меня оглушила тупая боль. Чьи-то руки тащили меня по песку. Когда я открыл глаза, увидел перевернутый „газик”, а под ним — Женю.»

P. S

Близкий друг Урбанского Юрий Никулин рассказывал, что подобный исход был вероятен в одном из тысячи случаев. Надо было, чтобы определенным образом совпали скорость движения, сила ветра, угол наклона, угол поворота, вес машины.

5 ноября 1965 года все совпало. Судьба догнала несостоявшегося студента дорожного института, ушедшего в актеры.

Через три месяца после гибели мужа Дзидра родила дочь. Девочку назвали Евгенией.

# Грустное солнце. Актер Фрунзик Мкртчян

В ту ночь постояльцы московской гостиницы «Россия» были удивлены странным шумом, доносившимся из гостиничного ресторана. Самые недовольные даже выходили из своих номеров с твердой решимостью разобраться, в чем дело, и навести порядок.

Однако, оказавшись в дверях ресторана, неожиданно начинали улыбаться и задерживались там до утра. Отгадка была проста — режиссер Георгий Данелия снимал свой новый фильм «Мимино».

По сценарию герой Вахтанга Кикабидзе приходил в ресторан на встречу с неуловимой Ларисой Ивановной и, не дождавшись ее, бросался в пляс, пытаясь перетанцевать товарища Хачикяна — своего соседа по номеру, которого играл Фрунзик Мкртчян.

Несмотря на то, что Фрунзик на момент съемок был уже не очень трезв, его танцы и попытки во время очередного па сесть на шпагат и поднять с пола носовой платок поражали всех.

Когда у окружающих уже не осталось сил на смех, а Фрунзик все никак не мог подхватить злополучную ткань, режиссер подозвал Кикабидзе и попросил выхватить у покрасневшего от усилий Мкртчяна платок. Актер выполнил волю режиссера. А Фрунзик, поняв, что его обхитрили, поднял голову и обвел собравшихся таким взглядом, что ресторан вновь зашелся от хохота.

В Армении Мкртчян — настоящий национальный герой. На одном из центральных проспектов Еревана стоит огромный портрет, с которого на прохожих с грустной улыбкой смотрит этот самый, пожалуй, известный и обожаемый всеми армянин. Кстати, сами армяне своего любимца называют иначе — Мгером.

Историю великого актера я решил написать, отправившись в столицу древней страны.

— Вообще-то родители назвали своего первенца Фрунзиком, — рассказывал мне брат актера Альберт Мкртчян. — Наверное, в честь советского военачальника Михаила Фрунзе.

В тридцатых годах армян обвиняли в национализме, вот они и стали давать детям странные имена. Появились Роберты, Альберты, Фрунзики. А когда много лет спустя Театр имени Сандукяна, в котором работал брат, гастролировал по Ливану, местные армяне назвали его Мгером. Это библейское имя, которое в переводе обозначает Солнце.

Сегодня брат Фрунзика Альберт Мушегович — художественный руководитель Ереванского театра имени Мгера Мкртчяна. На здании театра — мемориальная доска с барельефом

— профилем знаменитого артиста.

Фрунзик никогда не переживал из-за внешности. Тем более что ничего необычного в ней не видел. А о своем выдающемся во всех отношениях носе даже придумывал анекдоты. Когда Мкртчяна приглашали выступать за деньги на различных пирушках, он категорически отказывался, смеясь, по его собственным словам, прямо в нос приглашающему.

— Нет, брат никогда не стеснялся своей внешности, — с улыбкой говорил Альберт. — А глядя на тех, кого природа не наделила таким же носом, как у него, всегда удивлялся. А потом, у всех армян такие носы. У меня, что, не такой разве?

Мкртчян-младший пусть и не как две капли воды, но очень похож на Фрунзика. По профессии Альберт Мушегович — кинорежиссер, окончил ВГИК. Кстати, Альберт снял брата в своей дипломной работе.

— Фильм назывался «Фотография» и длился всего 15 минут, — говорит он. — Я дал ему роль отца, сын которого погиб на войне. Фрунзик сумел заставить зрителей первые 10 минут умирать от смеха, а последние пять — плакать.

Фрунзик Мкртчян стал легендой уже при жизни. Говорят, у артиста даже было два паспорта — один официальный, а другой — подарок друзей, в котором так и было написано — «Мгер Мкртчян».

Хотя паспорт народному кумиру был без надобности. Когда вместе с Вахтангом Кикабидзе и Георгием Данелия Фрунзик отправились в Кремль получать Государственную премию за фильм «Мимино», охранники потребовали у них предъявить документы. На что Мкртчян с укоризненной улыбкой ответил:

— Разве иностранные шпионы в Кремль без документов ходят?

Разумеется, лауреатов пропустили без досмотра.

А однажды вместе с друзьями Мкртчян захотел навестить арестованного товарища. Оставив друзей в ресторане, Фрунзик на несколько минут отлучился и появился уже. в компании арестованного и начальника СИЗО.

Не нуждался Мкртчян и в деньгах.

— Мне совсем недавно рассказали такую историю, — продолжает Альберт Мкртчян. — Как-то Фрунзику неожиданно пришла в голову идея слетать в Сочи. Он вообще был спонтанным человеком — мог сидеть-сидеть, а потом подхватиться и отправиться на другой конец Советского Союза. Так и в тот раз, взяв с собой друга, Фрунзик уже через несколько часов был в Сочи. В кармане у него была тысяча рублей. Отдохнув на курорте и погуляв в ресторанах, друзья вернулись в Ереван. В кармане у

Фрунзика по-прежнему лежала тысяча рублей.

Популярность у Мкртчяна была невероятная. Как-то, уже после выхода на экраны фильма Георгия Данелия «Мимино», Фрунзик на несколько дней прилетел в Москву. Вместе с братом они торопились на важную встречу, и Фрунзик предложил добраться на нее на метро.

— Мы еле-еле втиснулись в вагон, — вспоминает Альберт. — Народу — не протолкнуться: кто читает, кто дремлет. Однако уже через тридцать секунд после того, как Фрунзик оказался в вагоне, все принялись аплодировать. Брату стало неловко, и на следующей станции мы вышли. Его любили не только в Москве и городах Советского Союза. У меня хранится статья из газеты «Нью-Йорк тайме». «Пять минут молчания Мгера Мкртчяна» называется. Дело в том, что на одном из его выступлений в Америке больше половины зала составляли американцы, которые не говорили ни по-русски, ни по-армянски. Тогда брат вышел на авансцену и пять минут молча стоял и смотрел в зал. Публика от хохота сползала со своих кресел на пол. А Фрунзик еще раз окинул их взглядом, поклонился и ушел.

С детства Фрунзик прекрасно рисовал. Однако ни о какой другой профессии, кроме актерской, не думал.

Он родился в Ленинакане, родители — Мушег и Санам — работали на местном текстильном комбинате.

— Наши отец и мать были детьми геноцида, — рассказывал Альберт Мкртчян. — Им было по 5 лет, когда их нашли буквально на дороге и поместили в один детский дом. Они вместе выросли, поженились ив 1924 году, когда открылся один из крупнейших в Советском Союзе текстильных комбинатов, устроились туда на работу. При комбинате был клуб, в самодеятельном кружке которого играл Фрунзик.

Квартира Мкртчянов была на втором этаже. На лестничной клетке десятилетний Фрунзик вешал занавес и устраивал перед расположившейся на лестнице детворой моноспектакли.

Перед одним из представлений он с удивлением заметил, что публики стало больше — малолетние зрители сидели на коленях у своих родителей, которые самозабвенно аплодировали маленькому гению.

В том, что мальчик одарен чрезвычайно, уже тогда не сомневался никто. В Ереване до сих пор с восхищением рассказывают, как 17-летний Мкртчян играл роль 80-летнего старика и никто не мог узнать в согбенном старце парня с рабочей окраины.

— Театральный триумф начался у Фрунзика с его первых же ролей, — вспоминал Альберт Мкртчян. — Будучи студентом

второго курса театрального института, он получил приглашение в Театр имени Сандукяна на роль Эзопа, которую должен был играть в паре со своим педагогом. После первого спектакля учитель подошел к Фрунзику, поцеловал его и уступил роль.

Кого он потом только не играл в театре, начиная от царя Гвидона и заканчивая Сирано де Бержераком. Кино его тоже сразу полюбило.

Считал ли Фрунзик себя реализованным? Нет, конечно. Только дурак будет так думать.

Отец не дожил до славы сына. А вот мама успела. Она очень любила Фрунзика. Мы — я и наши две сестры — даже обижались на нее. Но мама говорила, что мы и без того боевые, а вот Фрунзик — беспомощный. Когда брат был уже очень популярен, он приезжал домой, вставал под душ и звал маму. Она приходила и мыла его. Была такая музыка матери и сына.

По-настоящему суперзвездой Фрунзик стал после роли водителя Хачикяна в фильме Георгия Данелия «Мимино». Кстати, массу смешных реплик, ставших поистине народными («Такие вопросы задаете, что неудобно отвечать даже», «О чем эти „Жигули" думают?», «Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь» и другие), Фрунзик придумал сам.

Сцена допроса свидетеля Хачикяна в суде — абсолютная импровизация актера. По предложению Мкртчяна режиссер снял эпизод, в котором герои Фрунзика и Кикабидзе оказывались в одном лифте вместе с двумя китайцами. И один китаец говорил другому: «Как же эти русские похожи друг на друга». По требованию цензуры эпизод из картины пришлось вырезать.

Запомнились съемки «Мимино» и неприятными моментами — Мкртчян начал сильно пить. Несколько раз съемки приходилось отменять. В конце концов Данелия поставил перед Фрунзиком жесткое условие — либо алкоголь, либо кино.

Несколько дней Мкртчян не притрагивался к спиртному. А потом пришел к режиссеру и грустно сказал:

— Я понял, почему миром правят бездарности. Они не пьют и с самого утра начинают заниматься своей карьерой.

Несмотря на всеобщее обожание, в личной жизни Фрунзик был несчастлив. После непродолжительного первого брака он встретил красивую студентку театрального института Дамиру. Как и все женщины, она не устояла перед обаянием Фрунзика и в скором времени стала его женой. У пары родилось двое детей — сын Вазген и дочь Нунэ. Артист их обожал, из каждой поездки привозил массу игрушек. Но чаще всего он тут же отнимал их у детей и начинал играть сам.

— Ему все было интересно, — рассказывал Альберт. — Как

устроены, например, игрушечные голуби, которые взлетают в небо и потом возвращаются к тебе в руки. Фрунзик разбирал их, пытаясь понять устройство механизма. И разумеется, потом не мог собрать обратно. Он до конца жизни чему-нибудь удивлялся. Не мог, например, понять, как работает телевизор. Как это фильм из Америки доходит до Еревана. Разбирал приемник, раскручивал все, а потом даже мастер не мог ничего починить.

Дамира всюду сопровождала мужа. В «Кавказской пленнице» она сыграла жену водителя товарища Саахова, которая печально рассказывает герою Юрия Никулина о местных обычаях — похищении невест.

Но с каждым днем поведение Дамиры становилось все более и более странным. Она устраивала мужу жуткие сцены ревности. Наконец Фрунзик не выдержал и по совету друзей обратился к врачам. Приговор медиков оказался страшным — шизофрения. Когда усилия местных специалистов оказались бессильны, Дамиру отправили в психиатрическую клинику во Франции.

Личная жизнь Фрунзика со временем вроде начала налаживаться. Он познакомился с очаровательной женщиной. Тамара была дочерью председателя Союза писателей Армении Оганесяна. Рассказывают, что, когда актер в очередной раз отправился в ЗАГС, один из друзей пожурил его, мол, не зачастил ли он в это учреждение.

На что Фрунзик со свойственным ему юмором ответил:

— Чаплин вообще раз восемь женился. Я что, хуже?

Увы, но и этот брак не принес Мкртчяну счастья.

— Был ли он замкнутым человеком? — рассуждал Альберт Мушегович. — Нет, он ведь жил среди людей. Ив тоже время жил один. Однажды его спросили, почему он один ходит по ночным улицам, Фрунзик удивился: «Почему один? Кошки ходят, собаки. Так что я не один».

Он был удивительно тонким и добрым человеком. Даже чересчур добрым. Все имели к нему претензии, аонник кому их не имел.

Фрунзик был настоящим народным депутатом, неофициальным, разумеется. Помог тысячам людей. Ему же никто не мог отказать.

Дочь Нунэ к этому времени вышла замуж и уехала с мужем в Аргентину. Смыслом жизни Фрунзика стал сын Вазген. Однако поведение юноши тоже стало настораживать отца.

Вазгена показывали лучшим врачам-психиатрам, которые, увы, ничего не могли сделать. Мальчику по наследству передалась психическая болезнь матери. Рассказывают, что, когда Вазгена на какое-то время поместили в ту же французскую

клинику, где находилась Дамира, они даже не узнали друг друга.

В последние годы жизни Фрунзик отказался от кино, сосредоточив все силы на создании своего театра.

— 28 декабря 1993 года я весь день провел у него дома, — вспоминал брат актера Альберт.

— Мы сидели, разговаривали об искусстве. Фрунзика интересовало только это. Помню, он в очередной раз поставил кассету с «Адажио» Альбионе, которое собирался использовать в своем следующем спектакле.

Потом я уложил его спать и на несколько часов поехал домой. Было пять вечера. Добравшись до дома, я тут же принялся названивать Фрунзику — у меня было какое-то недоброе предчувствие.

Мы вообще с ним очень чувствовали друг друга. Помню, я как-то в четыре утра вдруг проснулся и тут же набрал номер брата. Он тогда был в Москве, снимался в «Мимино». После первого же гудка он поднял трубку. «Ты чего не спишь?» — спрашиваю. «Какое там, — отвечает, — рядом со мной только что человек умер».

Так и в тот день я пытался дозвониться до него. Хотя и понимал, что это невозможно: телефон Фрунзика был неисправен и с него можно было только звонить, а не принимать звонки.

А в семь вечера мне позвонили и сказали, что Фрунзика больше нет. Ему стало плохо, и «Скорая» уже ничего не могла сделать. Инфаркт.

Сейчас из брата начинают делать легенду, рассказывая то, чего не было. Говорят, что его здоровье подорвала гибель в автокатастрофе дочери. На самом деле Нунэ умерла через пять лет после того, как не стало Фрунзика. У нее была опухоль матки, ей сделали удачную операцию. Нунэ сидела в своей палате вместе с мужем, и у нее оторвался тромб. Вазгена после смерти брата я усыновил. Но и его тоже не стало. Цирроз печени. 33 года ему было.

P. S.

Фрунзик ушел, когда ему было 63 года. Ночью наступал Новый год. Поначалу правительство хотело перенести похороны на 2 января. Но брат не согласился. И в итоге Армения прощалась со своим великим актером 31 декабря. До пантеона, где находится его могила, за гробом шли тысячи людей.

Мы сидели в кабинете Альберта Мкртчяна, я записывал его воспоминания и ловил себя на двойственном чувстве — хотелось смеяться, глядя на фото Фрунзика и вспоминая его роли, и плакать, слушая рассказ о его жизни.

— Трагичная ли была у Фрунзика жизнь? — задумался Альберт. — А у какого большого художника жизнь не трагична? Это, наверное, плата за тот талант, которым их наградил Господь.

Фрунзик, конечно, понимал, какой он артист. Но никогда не показывал это. Потому что он был Человек с большой буквы, как писал обожаемый им Горький.

Кто после него остался? Народ, который его обожает.

Я остался, наша младшая сестра, наши внуки. Так что род Мкртчянов продолжается. Кто-нибудь из него обязательно будет таким же талантливым, как Фрунзик.